ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ

ИВАН СОЛОНЕВИЧ

ДВЕ СИЛЫ

РОМАН ИЗ СОВЕТСКОЙ ЖИЗНИ

БОРЬБА ЗА АТОМНОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО НАД МИРОМ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Издание журнала
„СВОБОДНОЕ СЛОВО КАРПАТСКОЙ РУСИ"
С.Ш.А., Нью Иорк, 1968.

Адрес Издательства:
"F R E E W O R D"
P. O. Box 992.
Newark, N. J. 07101, U.S.A.

PRINTED BY· EAST SIDE PRESS. 166 FIRST AVENUE NEW YORK 9. N. Y

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В переживаемое нами время издание русских книг в эмиграции — чрезвычайно трудная задача. Но, несмотря на все материальные трудности, стоящие перед Издательством в данное время (и впереди), — мы решили выпустить отдельной книгой роман Ивана Солоневича „ДВЕ СИЛЫ" — по нашему искреннему мнению — самый лучший роман о советской жизни, вышедший когда либо в эмиграции. Преодолев ряд юридических, технических и материальных затруднений, мы пошли на этот риск в полной уверенности, что те, кто любят Россию и хотят знать о страданиях русского народа — широко поддержат этот роман.

Основная идея романа — барьба двух сил: Бога и дьявола, добра и зла, свободы и рабства. Практическая же тема романа — борьба за атомное владычество (и, следовательно, политическое) над миром.

Как известно, автор романа больше десяти лет тому назад умер в Уругвае при чрезвычайно таинственных обстоятельствах. Роман раньше печатался отрывками в газете „Наша Страна", издающейся и поныне в Аргентине, и за-за смерти автора не был полностью закончен. С дружеской помощью брата покойного автора, Бориса, хорошо знакомого со стилем и тенденциями Ивана, роман удалось закончить и предложить читателям (он, надеемся, проникнет и в Россию).

Иван Солоневич до войны выпустил замечательный „рапорт о Советской России — „Россия в концлагере", который навсегда останется в истории русской печати. „ДВЕ СИЛЫ" — его единственный роман, который может с полным правом занять самое почетное место в списке книг о России.

Выпуском этого романа Издательство „Свободного Слова Карпатской Руси" преследует две цели: ударить по полувековой коммунистической тирании и создать своего рода нерукотворный памятник исключительно талантливому писателю и политическому деятелю, отдавшему свою жизнь в борьбе за Россию.

Большой размер романа вынудил нас издать его в двух частях, но мы глубоко уверены, что каждый русский читатель, прочтя первую часть, с жадным интересом будет ждать и ускорит появление в свет этой второй части предварительной подпиской и пожертвованиями.

Издательство пошло на большие жертвы и риск, печатая этот роман, но появление его на книжном рынке не пресле-

дует никаких коммерческих целей. Тут — только чувство русского долга и вера в то, что хорошее нужное дело всегда найдет поддержку в русских сердцах . . .



Во второй части будет дано краткое содержание первой и подробная биография с портретом самого автора романа, оставившего такой глубокий след в истории нашей борьбы за освобождение страдающего Отечества.

„СВОБОДНОЕ СЛОВО КАРПАТСКОЙ РУСИ".
Нью Иорк, 1968.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОЯВЛЕНИЕ НАУЧНОГО РАБОТНИКА

На ст. Лысково Забайкальской железной дороги скорые поезда останавливались редко, только по специальному заказу мимоезжей администрации. Когда-то, во времена одноколейного пути, здесь был разъезд, и здесь поезда простаивали часами, иногда и сутками, ожидая своих встречных товарищей, застрявших где-то в заносах, обвалах, наводнениях, лесных пожарах и прочих разновидностях таежного пути. С прокладкой второго пути разъезд был упразднен, и станция заглохла.

В виду этого, остановка скорого поезда Иркутск-Чита произвела на станции некоторую сенсацию. Белобрысый телеграфист Васька высунул половину своего туловища из окна, начальник станции тов. Лизайко вышел на перрон во всеоружии своих флажков, и даже начальник ж.-д. охраны тов. Жучкин шагал взад-вперед по тому же перрону, растирая шершавыми ладонями свое заспанное меднокрасное лицо.

Больше на станции не было никого. Звания начальника станции и начальника ж.-д. охраны были просто пережитком одноколейного прошлого: ни тов. Лизайко, ни тов. Жучкин не начальствовали ни над кем; в их персонах концентрировалась вся администрация и вся охрана недоросшего железнодорожного узла.

Поезд подошел, и, лязгнув тормозами, остановился. Из вагона первого класса показалась тыловая часть чьего-то туловища, потом по вагонным ступенькам спустились чьи-то ноги, потом кто-то из вагона помог вытолкнуть на перрон довольно странного вида багаж, в котором опытный глаз мог бы опознать седло и конские вьюки. Новоприбывший пожал чьи-то услужливые руки, повернулся к голове поезда и махнул рукой, — каковой жест был понят, как сигнал к отправке. Тов. Лизайко поднял свой традиционный флажок, и поезд мягко, как по сливочному маслу, уплыл в туманную даль таежных хребтов. Начальник ж.-д. охраны поправил свой пояс и мужественно зашагал навстречу новоприбывшему и его багажу.

На ходу опытный глаз начальника железно-дорожной охраны внимательно рассмотрел и новоприбывшего и его багаж. Новоприбывший оказался довольно высоким человеком, лет тридцати пяти, одетым во что-то вроде походной формы и, видимо, довольно жилистым. Подойдя ближе, тов. Жучкин увидал, что новоприбывший обладает небольшой русой бородкой и спокойными серыми глазами, уголки которых как будто чуть-чуть усмехались. Смысла этой усмешки тов. Жучкин понять не мог.

Новоприбивший оставил свой багаж и зашагал навстречу начальнику охраны.

— Начальник охраны, если не ошибаюсь?...

— Точно так. — Тов. Жучкин на всякий случай щелкнул каблуками и поднес руку к козырьку.

— Так позвольте познакомиться, — моя фамилия — Светлов, а, впрочем, вот вам мое удостоверение...

На небольшой плотной бумаге стоял штамп Академии Наук СССР, снизу были подпись и печать, а в тексте было сказано, что научный работник, член Академии Наук СССР, тов. Валерий Михайлович Светлов, отправляется по поручению Академии и Совнаркома СССР вдогонку такой-то геодезической экспедиции, каковую он обязан снабдить инструментами, из перечисления которых тов. Жучкин не понял ровно ничего. Дальше было сказано, что тов. Светлов выполняет поручение исключительно важного оборонного характера, что встречные и поперечные члены партии, чины администрации, военные власти и прочие и прочие и прочие обязаны оказывать тов. Светлову всяческое содействие и не имеют права разглашать что-нибудь, касающееся путешествия тов. Светлова в виду указанного оборонного характера путешествия тов. Светлова.

Прочтя это удостоверение, тов. Жучкин щелкнул каблуками еще раз и вернул удостоверение тов. Светлову.

— К вашим услугам, — сказал он дипломатически...

— Так вот что, товарищ...

— Жучкин....

— Так вот что, товарищ Жучкин, мне нужны кони, один верховой, другой — под вьюк. За наличный рассчет. Цена безразлична. Но очень важно — время. Желательно, как можно скорей.

Жучкин еще раз осмотрел Светлова и его багаж. Тов. Светлов производил впечатление человека, видавшего разные виды и разные ландшафты. Багаж был, повидимому, тяжел, но вполне под силу крепким сибирским коням. Ружье было,

повидимому, снабжено оптическим прицелом — такие прицелы тов. Жучкин издали видел в Москве, в зените своей охранной карьеры. Упоминание о наличном рассчете и о безразличности цены оставило приятный след на душе тов. Жучкина.

— Ежели за наличный рассчет — так можно сразу. Дороговато, конечно, выйдет, — ежели чрез правление колхоза . . .

— Нет, уж, товарищ Жучкин, лучше без правления колхоза. Мне надо выехать часа через два, а еще лучше — через час; с правлением мы тут будем канителиться . . .

— Оно, конечно, ежели через правление , то уж тут бюрократизм происходит . . . дня два уйдет . . .

— Давайте — без бюрократизма. Есть у вас на виду что-нибудь подходящее?

— Это — найдем. А вы, товарищ Светлов, может быть пока что — чайку бы у меня испили?

Научный работник согласился на чаек. Седло и вьюки были оставлены на перроне („тут никто не тронет", заверил тов. Жучкин), ружье было взято подмышку, и новые знакомцы зашагали к квартире начальника охраны. По дороге тов. Жучкин представил научного работника начальнику станции: „член академии советских наук", — сказал он туманно, — „сегодня же отбывают дальше" . . .

Телеграфист Васька был послан за каким-то мужиком. Из окна квартиры начальника охраны выглянуло замечательно круглое женское лицо, которому тов. Жучкин крикнул еще с дороги:

— Дунька! Самовар и яичницу — живо!

Лицо спряталось. Жучкин и Светлов вошли в чисто прибранную комнату, наполненную запахом табака, настурции, жареного лука и спирта. Впрочем, запах спирта принес, может быть, начальник охраны: на перроне на ветру этот запах был мало заметен, комнату же он наполнил сразу. Научный работник слегка повел носом. Начальник охраны решил перейти в стратегическое наступление:

— Яичница будет сейчас — водченки, не соблаговолите?

— Водченки — это можно соблаговолить, — согласился научный работник. Жучкин понял, что лед сломан, и что лошади за наличный рассчет могут оправдать самые розовые надежды. Жена начальника охраны вкатилась в комнату, держа в руках скатерть и посуду. Тов. Жучкин великосветски представил ее своему гостю:

— Это жена моя, Авдотья Еремеевна, позвольте предста-

вить... А это профессор советских наук товарищ Светлов...

Тов. Светлов протянул руку. Авдотья Еремеевна сгрузила посуду на стол, вытерла свои руки о передник и слегка покраснела. Внешним видом она напоминала ряд хорошо подрумяненных сдобных булочек, наклеенных одна на другую. Самая круглая и крупная находилась посередине, другие были налеплены сверху, с боков, спереди и даже сзади. Все это были очень веселые и жизнерадостные булочки, готовые хихикать по первому же подвернувшемуся поводу.

— Ужасно приятно, — сказала Авдотья Еремеевна, после чего скатерть, тарелки, стопочки и прочее как-то сами собой разместились на столе. Потом появилась яичница, водка, соленые огурцы, кислая капуста, грибы, сало — а в кухне начас поспевать самовар.

— Как, значит, поручение ваше секретно, сказал начальник охраны, то я и спрашивать не смею. А, вот, позвольте полюбопытствовать — что это за ружьецо у вас, занятное какое-то, с апетическим прицелом, что ли?

— Да, с оптическим, сказал тов. Светлов, вынул ружье из чехла и протянул его Жучкину. Ни такого ружья, ни такого прицела тов. Жучкин не видал еще никогда. С военно-охотницким интересом он рассматривал это оружие, производившее впечатление точного хирургического инструмента. Прикинул его в руках, прицелился в окно...

— Десятизарядный автомат Ремингтона, пояснил Светлов. Вероятно, самая точная винтовка современности. На версту хороший стрелок положит в головную мишень из десяти пуль — скажем, все десять...

— Вот это — да! восторженно сказал Жучкин. В Божий свет, как в копеечку, вот что значит передовая техника!

— Ничего, товарищ Жучкин, успокоительно сказал Светлов — и догоним и перегоним.

Выпили по стопочке. От второй тов. Светлов отказался. Тов. Жучкин с сожалением отодвинул и свою стопочку, вышел в кухню, и проглотил там полбутылки. Авдотья Еремеевна доложила о приходе Васьки с мужиком и с лошадьми. Жучкин на минутку исчез и снова появился в сопровождении коренастого мужиченки, глаза и нос которого с трудом разыскали три незаросших проталинки, все остальное утопало в чаще бороды. Мужик привел двух неказистых, но таких же коренастых, как и он сам, сибирских коньков. Вышли, осмотрели. Научный работник оказался весьма сведущим человеком: осмотрел зубы и бабки, пощупал шею и произвел еще ряд манипуляций. По вопросу о цене — мужик заломил со-

вершенно несусветимую цифру, так что у Жучкина даже дыханье перехватило: сорвет, сукин сын, всю коммерцию. Но научный работник не проявил к цене решительно никакого интереса, вытащил из своей походной сумки пачку кредиток, отсчитал требуемое количество и попросил присутствующих помочь оседлать коней.

— Сейчас, тов. Светлов, — сказал Жучкин — вот только расписку приготовим.

— Мне она не нужна, сказал Светлов, а вам — если нужна — расписывайтесь. По душе тов. Жучкина проползло сожаление: эх, еще бы тысченку можно было бы подработать — сглупили мы...

Багаж был принесен с перрона, кони были навьючены, пожелания счастливого пути были сказаны, Светлов сел на одного коня, ведя в поводу другого, обитатели станции Лысково остались у себя дома. Жучкин вручил мужику половину полученых кредиток, а другую оставил себе, мужик пошел в Госспирт. Тов. Жучкин хлопнул еще полбутылки, а научный работник тов. Светлов исчез за поворотом дороги.

Дорога шла таежными перелесками, и товарищ Светлов трусил, не обнаруживая никаких признаков торопливости. В верстах двадцати от Лыскова лес кончился, и на протяжении версты полторы шла кочковатая голая низинка, полого спускавшаяся к речке. Противоположный берег речки зарос тальником, ивняком и прочей такой ерундой. Научный работник товарищ Светлов проявил искренний интерес к этому нехитрому пейзажу, — осмотрел низинку, из которой только что выехал на берег небольшой речушки. Переправившись через речку, тов. Светлов стал осматриваться еще внимательнее. Слез с коня, выискал место, которое ему очевидно показалось наиболее удобным, посмотрел на небо и на часы, привязал коней к дереву, вынул из чехла и очень внимательно осмотрел свою винтовку, сел, прислонясь спиной к дереву, закурил трубку и предался размышлениям, о которых мы не знаем ровно ничего.

РАЗОЧАРОВАНИЯ ТОВ. ЖУЧКИНА

— Вот, дура, что значит образованный человек, сказал тов. Жучкин, пряча под подушку кредитки...

Авдотья хихикнула:

— Чтоб деньги швырять — какая тут образованность? А, вот, водку — не то, что ты — ведрами...

— Не твоего бабьего ума дело, отрезал Жучкин — пошла вон!

Авдотья Еремеевна хихикнула еще раз и скрылась. Жучкин постоял в нерешительности посредине комнаты, потом открыл буфет, взял оттуда свежую полбутылку, для чего-то посмотрел на свет, выбил пробку, выпил, крякнул и пошел спать в сад.

Сон тов. Жучкина был прерван телеграфистом Васькой. Васька тряс и тормошил могучее тело начальника охраны, но ничего, кроме нечленораздельных звуков, вытрясти не мог. Отчаявшись, Васька заорал над самым ухом:

— Товарищ Жучкин, по прямому проводу из Неелова, вставайте скорей!

Неелово было той станцией к востоку от Лыскова, куда направлялся скорый поезд Иркутск-Чита, и где был отдел НКВД, которому был подчинен и товарищ Жучкин. Прямого же провода не было никакого — был просто телефон. Но прямой провод звучал как-то особенно внушительно. Он, видимо, сказал свое действие. Товарищ Жучкин приподнялся, посмотрел на Ваську осоловевшими глазами и издал первые членораздельные звуки:

— Ась? Что? А?

Васька повторил свою сентенцию. Жучкин выругался длинно и образно: спать и то, черти, не дают. Однако на его лице проступило некоторое беспокойство: он не любил иметь дела с начальством — в особенности, по инициативе этого последнего. Оправляя на ходу штаны и прочее, Жучкин направился к телефону.

— У телефона Жучкин, начальник охраны ст. Лысково.

Трубка разговаривала кратко и неутешительно.

— Кто это у вас слез со скорого № 67?

— Научный работник советских наук товарищ Светлов . . .

— А где он теперь?

— Так что я, согласно удостоверению, достал им лошадей и они отправились дальше, в тайгу . . .

Трубка сказала внятно и раздельно: И-д-и-о-т . . .

— Не могу знать — член академии наук . . .

— Да не он, а ты идиот . . .

— Это то-есть как же прикажите понимать? . . .

— Да вот так и понимай: идиот и больше ничего. Проспал птицу . . .

— Позвольте, да я по удостоверению . . .

Трубка изрыгнула мат. Жучкин решил промолчать. На его лбу проступили капельки раствора спирта в поту.

— Так что вот, товарищ Жучкин, сказала трубка официально. С товарным поездом №. 46 приедет конный взвод — ловить вот этого самого научного работника. Ты тоже поедешь. Не поймают — твой ответ.

— Да я же, товарищ начальник, согласно удостоверения Совнаркома . . .

Трубка снова изрыгнула мат и замолчала окончательно. Жучкин вытер со лба спиртовый раствор и ничего не мог сообразить: почему идиот, что такое с научным работником и вообще в чем тут дело.

Он вернулся домой, вылил на свою голову несколько ведер воды, потом, решив, что этого недостаточно, разделся и стал поливать себя с ног до головы. Авдотья Еремеевна почувствовала, что тут что-то неладно. Но мрачный вид тов. Жучкина ни к каким расспросам не предрасполагал.



Товарный поезд №. 46, скрипя тормозами и лязгая буферами, бесконечной лентой растянулся вдоль платформы, но платформа оказалась короче его. Товарный вагон с конным взводом так и не доехал до платформы — а без нее лошадей выгрузить было нельзя. Начальник станции, стоявший приблизительно по середине поезда, играл роль передаточного звена между паровозом и конным взводом: с обоих концов несся обоюдный мат — и начальник станции переправлял его по назначению. Конный взвод требовал подать поезд вперед, машинист боялся вывести поезд за пределы станционных путей. В результате длительного обмена непечатными нотами, конный вагон был отцеплен и подан вручную к задней грузовой платформе. Товарищ Жучкин молча и мрачно упирался в буфер своей мощной спиной и не проявлял никакой жизнерадостности. Для молчания у него, впрочем, были и другие основания: рот был забит кирпичным чаем, который по сибирскому поверью отшибает спиртной дух. Тов. Жучкин жевал чай, и в его голове ворочались тревожные мысли.

Наконец, взвод был выгружен, и тревожные мысли тов. Жучкина были прерваны начальственным криком:

— А Жучкин где же? Куда его черти засунули?

На платформе высился полковник войск НКВД, тов. Заборин, весь опоясанный ремнями, кобурами, сумками, биноклем и чем-то еще. Рядом с ним находился командир взвода. Тов. Жучкин выплюнул чай.

— Так что я — здесь, товарищ полковник.

Заборин посмотрел на Жучкина иронически — Жучкину показалось что-то удавье в заборинской физиономии.

— Ну, что-ж, товарищ Жучкин — давайте хвастаться, как это вы н а у ч н о г о работника проворонили.

Жучкин вкратце и держа приличную дистанцию доложил. Задорин слегка понюхал воздух, но никак не мог определить, откуда идет спиртной дух: от Жучкина или, может быть, собственный перегар дает себя чувствовать. В виду сомнений, от всяких коментариев Заборин воздержался. Закончив свой доклад, Жучкин остановился, как бы спрашивая: так в чем тут дело. Но никаких разъяснений не последовало. Тов. Задорин посмотрел на небо, на часы, еще раз обозвал Жучкина шляпой, и приказал двигаться в погоню за научным работником. Жучкин, проклиная всех и вся, взгромоздился на седло и десяток всадников нестройной гурьбой покинули гостеприимные пределы станции Лысково.

Впереди группы трусили двое пограничников, выполнявших смешанную роль Следопытов и Пинкертонов. Их привычные глаза бежали по следам, оставленным конями тов. Светлова, — следы эти, впрочем, были видны и без всякого следопытства. За следопытами двигалось начальство и рядом с начальством тов. Жучкин, проклинавший и научного работника и полковника Задорина и свою охранную службу и даже академию наук СССР. Так двигался взвод, пока не выбрался на ту полянку, которую так старательно осматривал научный работник.

Полянка оказала на Жучкина отрезвляющее влияние — еще больше, чем кирпичный чай.

— Мать твою, так он тут нас, как рябчиков, перехлопает — в Божий свет, как в копеечку... Жучкин вспомнил и „аппетический" прицел винтовки научного работника и его серые чему то усмехавшиеся глаза... Товарищ Жучкин вообще говоря трусом не был, но посмертный орден за храбрость его интересовал очень мало. Мысли товарища Жучкина приобрели стремительность и ясность. Он вдавил левую шпору в бок коня, конь взвился штопором, Жучкин разразился матом и незаметно, но изо всех сил, потянул левый повод. Конь стал крутиться волчком, и пока Жучкин ругался — взвод успел проехать мимо него...

— Эй ты, телячий кавалерист, подтяни хвост потуже — зубоскалили проезжавшие мимо пограничники.

— Тут такие слепни, что слона прокусят, ответил Жучкин и, нагнувшись, стал поправлять подпругу — взвод за это время успел проехать еще десятка два метров вперед...

Собственно, Жучкину следовало бы предупредить полк, Заборина о винтовке Ремингтона и телескопическом прицеле и о том, что научный работник производил впечатление очень уж бывалого во всяких передрягах человека. Но товарищ Жучкин был зол, да и было уже поздно: взвод, растянувшись гуськом, проскакал уже полполянки . . .

Тов. Жучкин как-то не расслышал первого выстрела — только от головы взвода донеслась чья-то ругань, один из всадников скосился в сторону, мешком свалился с седла, конь рванулся в другую строну, и — сухо, четко, раздельно и неторопливо стали щелкать выстрелы.

Товарищ Жучкин и думать перестал, скатился с седла, вжался в какую-то рытвину, и старался, по мере возможности, не шевелиться: — „за версту — в голову, мать твоя Пресвятая Богородица, батюшка мой Николай Угодник, чтоб тебя тут разорвало". — Мысли товарища Жучкина были довольно бессвязны, но они сравнительно точно выражали его душевное настроение. Жучкину опротивело все: и охранная служба и товарищ Заборин и научный работник и даже винтовка научного работника. Вот, поймают этого академика, — так все награды перепадут Задорину. Не поймают — все кары свалятся на Жучкина. Пускай Заборин сам и выкручивается.

Жучкин еще плотнее вдавился в землю, кое-как достал из за спины винтовку, дослал патрон, но стрелять было вовсе некуда, если бы даже Жучкин рискнул высунуть голову из рытвины: не такой он дурак, этот научный работник, чтобы не суметь спрятаться в кустарнике, а они, охранники, все как на ладошке.

— Стреляй, сукин сын, я тебе говорю! . . .

Жучкин повернул голову. В рытвину, согнувшись вчетверо, полз товарищ Задорин, в руке у него был бесполезный пистолет, — что с ним поделаешь за полверсты?

— Стреляй ты, саботажник, трус, сукин сын, — Задорин поднял свой пистолет по направлению к товарищу Жучкину, но в это время голова его как-то странно метнулась в сторону, весь он осел, приткнулся к боку рытвины, и товарищ Жучкин со странной смесью физического ужаса и морального удовлетворения констатировал, что от задней части задоринского черепа не осталось вовсе ничего: лицо было, как лицо, а сзади за лицом была кровавая пустота . . .

— Вот тебе и саботажник, — несколько злорадно подумал Жучкин. Выстрелов больше слышно не было. Кто-то где-то еще стонал, кто-то изрыгал предсмертные ругательства. Был

слышен топот коней — но, как по слуху определил Жучкин — уже без всадников. Капельки холодного пота, смешанного с сивухой, падали на влажную землю...

Жучкин лежал и время от времени посматривал на небо: скоро ли потемнеет? Солнце уже заходило, от влажной земли подымался пар, Жучкин пока порылся в карманах Задорина, обнаружил там бумажник с деньгами и документами — сунул его в свой карман. Нашел гребешок и зеркальце — гребешок выкинул вон, а зеркальце приноровил в виде перископа и осмотрел полянку: по дну ее стлался туман, берег научного работника был почти не виден. Можно было, по крайней мере, поднять голову.

Товарищ Жучкин поднял голову. По бокам тропинки лежали убитые люди. Н и к т о не шевелился и никто не стонал. Несколько коней паслись на опушке тайги. Других видно не было. Может быть, научный работник переправился на этот берег, чтобы раздобыть себе пару запасных? При этой экскурсии он мог натолкнуться на Жучкина — Жучкин сел на землю и натужно стал прислушиваться к всякому шороху — но ничего особенного слышно не было.

Стемнело. Жучкин поднялся на четвереньки. Нет, теперь можно и совсем встать: туман и сумерки заволокли всю полянку, да и времени прошло много, научный работник, вероятно, успел протрусить уже верст двадцать подальше в тайгу. Разминая свои члены, Жучкин обошел убитых: да, разрывные пули, тут без никаких, чистая работа: попала в голову — головы нет, попала в живот — одни клочья остаются. Научная техника: тут с трехлинейным винтом никак не угонишься... Жучкин еще раз нагнулся к трупу тов. Задорина: какой был важный, а теперь вовсе без мозгов лежит. Жучкин еще раз ощупал убитого, взял бинокль, пистолет, часы, обошел таким же порядком еще нескольких убитых, поймал двух коней — получше, сел на одного и с другим на поводу тронулся в путь.

ЭВАКУАЦИЯ.

Авдотья Еремеевна спала плохо. Все ей как-то не нравилось. И собачья служба товарища Жучкина, и станция Лысково — не говоря уже об инциденте с научным работником. В простоте своего бабьего сердца она желала научному работнику всякого добра — хорошую жену, например. И не желала никакого добра товарищу Заборину: проклятый крючок, и че-

го он за людей цепляется? Сама она уже давно мечтала о далекой заимке на отрогах Алтая, да чтоб хозяйство, да чтоб детишки, да чтоб муж был дома, а не шатался бы по розыскам, да командировкам, да чтобы в дому были иконы, заместо этой азиатской сталинской рожи, да чтоб ульи были, а не в кооперативе сахар красть, да потом всякие там акты подписывать — словом, мысли у Авдотьи Еремеевны были мелко-буржуазные.

Раздался стук в окно. Накинув платок на голову, Авдотья Еремеевна высунулась в окно. У окна в темноте стоял, конечно, товарищ Жучкин — Авдотья Еремеевна узнала его по запаху. Голос у Жучкина был сух и деловит.

— Дунька, уложи весь скарб. Через час приду. Не забудь: деньги под стрехой, спирт в огороде. Чтоб все было увязано — слышишь?

— Слышу, Потап Матвеевич, куда ж это мы?

— Не твоего ума дело. К тестю, может. На вот, возьми еще...

Жучкин протянул Авдотье Еремеевне часы, пару пистолетов и что-то еще. Авдотье Еремеевне стало и жутко и радостно: неужели, в самом деле, к папаше в тайгу? Избу свою срубить, пчел развести, в красном углу иконы повесить... Жучкин исчез во тьме, а Авдотья Еремеевна тщательно закрыла ставни, занавесила окна, и лихорадочно стала укладываться.

Несмотря на кромешную тьму, Жучкин шагал уверенно и прямо: село он знал наизусть и даже в пьяном виде не путал никогда. Пройдя по каким то невидимым во тьме тропинкам, огородам, канавам, Жучкин постучал в одну из изб. Дверь открыла заспанная старуха.

— Степаныч дома?

— Дома, спит.

Жучкин прошел в комнату заведующего кооперативом Ивана Степановича Булькина. Булькин спал, в комнате было темно. Жучкин чиркнул спичку, зажег стоящую на столе свечу: — Степаныч, товарищ Булькин — вставайте!

— А? — сказал Булькин, продирая пьяные глаза.

— Приказ об аресте — по прямому проводу. Забирай вещи...

Булькин сел и уставился на Жучкина. По своей должности заведующего кооперативом, он попадал под арест два, три раза в год. Обычно эти аресты вызывались плохим состоянием рынка в центре, в Неелове. Нееловские чиновники, изголодавшись на советском пайке, отправлялись „на кормле-

ние" по сельским кооперативам, предварительно давая приказ об аресте заведующих по обвинению в растрате священной социалистической собственности. Вот тогда-то заведующие и попадали в тюрьму. Приезжали контролеры из Неелова, производили следствие, выпивали, закусывали, составляли акты, из которых явствовали всякие стихийные бедствия, уничтожившие часть кооперативных запасов, снабжались, чем было можно — и уезжали восвояси. Так как стихийные бедствия не могли быть запротоколированы без согласия завкоопа — то снабжался и он. В общем, все кончалось не только мирно, но даже и прибыльно. Правда, Булькин предлагал обставлять все это без арестов — но булькинское предложение противоречило всем лучшим традициям советской кооперации, да и не давало достаточного повода для административных налетов из центра. В виду этих обстоятельств, Булькин никакого волнения не проявил. Жучкин стоял равнодушным столбом и смотрел, как Булькин, ругаясь, одевался.

— Вот, сволочи, даже и выспаться не датут, — сказал Булькин.

— С жиру бесятся, — сочувственно подтвердил Жучкин. Булькин оделся, полез рукой под кровать, достал оттуда одну полную и одну полупустую бутылку водки, рассовал обе по карманам, прихватил мыло, полотенце и еще кое-что.

— Ну, что-ж, айда!

В темноте оба пришли в правление сельского исполкома. Здесь Жучкин разбудил сторожа:

— Арестованного привел — распишись.

Сторож расписался в записной книжке тов. Жучкина. Булькин направился в давно знакомую каталажку и стал там устраиваться для дальнейших сновидений.

— А ключи сюда давай, — сказал ему Жучкин.

Булькин достал ключи от кооператива.

— Вот, смотри, будь свидетелем — сказал он сторожу — ключи я при тебе товарищу Жучкину передал — понял?

— Что уж тут понимать? — буркнул сторож.

— Ну, пока, — сказал Жучкин.

— Пока, ответил Булькин, ложась на кровать и не без удовольствия думая о том, что ключи от кооператива переданы товарищу Жучкину, причем никакой описи наличных товаров произведено не было и что уж там останется, на то воля Божия — всего Жучкин пропить все равно не успеет, а с него, Булькина, взятки теперь гладки. На этом Булькин и уснул.

Шагая дальше во тьме, Жучкин направился к колхозной

конюшне. Очередной заведующий вышел на стук и проявил крайнюю степень недовольства: чего ты тут по ночам шатаешься?

— Пару коней и воз — кратко приказал Жучкин.

— С ума ты спятил, ночь на дворе, завтра жито возить...

— Не жито, а убитых...

— Каких таких убитых? — тревожным голосом спросил зав.

— А вот-таких. Сражение вчера было. С контрой. Контров человек пять выбыло, да наших трое, нужно в Лысково перевезти, приказ из Неелова.

Зав молча запряг двух лошадей — по выбору Жучкина. Жучкин влез на воз и тронулся дальше. Зав посмотрел ему вслед и пожалел о том, что и Жучкина черти не уволокли.

Отъехав с полсела, Жучкин подъехал к кооперативу. Слез с воза, открыл тяжелую, окованную жестью, дверь и принялся за перегрузку: с полок магазина — на воз. Здесь, в магазине, ему был знаком каждый уголок: вот тут — спирт, тут мануфактура, тут сахар, тут всякие охотничьи принадлежности. Мешки, тюки и ящики легко переплывали с полок магазина на жучкинский воз. Жучкин учитывал еще и свой домашний скарб и боялся переоценить свои транспортные возможности. Так что возникали тяжкие вопросы: что брать, мануфактуру или спирт, сахар или селедки — вопросы эти Жучкин решил в порядке компромисса.

— Это ты тут, Булькин? — спросил чей-то голос из темноты.

У Жучкина на одну секунду упало сердце, а рука потянулась к пистолету...

— Это я, сторож Софрон, — сказал тот же голос в несколько заговорщицком тоне.

— А, Фроня, катись сюда, — обрадовался Жучкин. Ночной сторож, плюгавый и никчемный мужиченко, воровато вошел в магазин.

— Ликвидацию производите, Потап Матвеич? — хихикнул он.

— Ликвидацию ко всем чертям...

— Так вы, Потап Матвеич, когда кончите, ключик-то уж оставьте мне, я уж тут подмету, хи-хи... А вы, я вижу, смываться прицелились?

— Смываться ко всем чертям — пусть тут без меня ревизуют...

— Так вы ключик-то, значит, оставьте, я уж тут порядочек наведу...

***

К дому Жучкин подвел коней под уздцы. Авдотья Еремеевна молча начала перетаскивать на подводу узлы, сундуки, кульки и всякое домашнее имущество. Жучкин помогал могущественно и так же молча. Когда все было нагружено, Авдотья Еремеевна вскарабкалась на верх повозки. Жучкин сел на козлы, посмотрел на небо, — до рассвета было еще далеко, — снял фуражку и молча перекрестился, вспоминая свои юные годы и забывая позднейшую атеистическую учебу. Авдотья Еремеевна крестилась мелко и быстро.

— Ну, с Богом, — сказал Жучкин и тронул коней.

— Господи Иисусе, — сказала Авдотья Еремеевна.

***

Научный работник, выпустив свой последний патрон, взял бинокль и сквозь ветки кустарника самым внимательным образом осмотрел полянку. Все там было в полном порядке. Десяток охранников лежали каждый на своем месте, только этот красноrожий товарищ Жучкин залез в какую-то щель, — ну, и Бог с ним! Научный работник проливал кровь только в случае и в пределах крайней необходимости. Кровь товарища Жучкина не казалась ему необходимой. После этого осмотра, научный работник перезарядил, протер свою винтовку, сел на коня и двинулся дальше.

СТЕПКА КУРАЖИТСЯ

— Это, как кому счастье, — сказал бродяга. Ежели кому фарт, так из своих соплей золото намоет. А кому не везет, — так вот . . . Я в запрошлом году вот такой самородок откопал — бродяга сжал свой грязный кулак и продемонстрировал размер прошлогоднего самородка.

— Ну, и что?

— Пропил. Да еще и три зуба выбили. Вот тебе и самородок. Кому какое счастье.

— Это верно, — сказал Степка. — Я, вот, смотри, сколько годов старательствую, а как был в онучах, — так и хожу . . .

Степка, казалось, состоял вообще из одних лохмотьев. Он был небольшого роста, но, видимо, весьма жилист. Вместо шапки на голове его красовалась копна нечесанных волос. Бородка напоминала сбившийся войлок и, очевидно, никогда не знала бритвы. Нос задорно торчал кверху, а голубые плутов-

ские глаза глядели на Божий мир вызывающе и весело. Трое его спутников выглядели никак не лучше. Это была кампания таежных бродяг, промышлявших всем, что попадется под руку: охотой, золотоискательством, кражей, чужими головами с риском потерять свою собственную. Они брели на запад приблизительно параллельно железной дороге и друг друга знали так же мало, как знала бы о них любая полиция мира.

— А, вот тебе, кажись, и фарт, — сказал первый бродяга, — смотри: кони.

На полянке, действительно, паслись кони.

— Никак — красноармейские, — сказал Степка. Все четверо сразу нырнули в тайгу: красноармейские кони могли обозначать близость солдат, следовательно, власти, следовательно, неприятности. Четыре пары зорких бродяжьих глаз ощупали всю полянку. В траве лежали люди, видимо, убитые, — над ними уже кружились вороны. Кони паслись лениво, со съехавшими на бок седлами, со спутанными уздечками. Бродяги поползли к трупам. Они ни о чем не сговаривались, но все вышло как-то само собой: бродяги охватили полянку кольцом, как загонщики на охоте, осмотрели прилегающую к полянке опушку тайги, ничего подозрительного там не обнаружили и принялись за убитых. Молча и быстро были выпотрошены все карманы, седельные сумки и прочее, были сняты сапоги и шинели, все что могло представлять какую бы то ни было ценность, вплоть до белья, — конечно, и оружие. Бродяги имели все основания не питать друг к другу решительно никакого доверия, каждый сваливал свою добычу в свою собственную кучу, подозрительно оглядываясь на соседей и не выпуская оружия из рук. Пока Степка ободрал свой участок полянки, его компаньоны успели исчезнуть: при наличии такого фарта лучше было не рисковать дальнейшим дорожным товариществом.

Степка оказался один одиношенек. Он навалил свою добычу на пойманного тут же коня и предался размышлениям. Привычная бродяжья осторожность боролась с желанием выпить. Победило желание. Степка двинулся по единственной дороге, которая, очевидно, куда-то вела,— это была дорога на Лысково. Итти по дороге, ведя на поводу лошадь с ворованными вещами, было слишком рискованно. Степка свернул в тайгу, выискал там подходящее место, запрятал свою добычу в заросли кустарника, привязал лошадь к дереву и отправился пешком навстречу сияющей перспективе ближайшего кабака.

**
*

На довольно большом, но старом и покосившемся доме красовалась вывеска:

„Трактир Красный Закусон — распивочно и на вынос".

Степка поднялся по скрипучим ступенькам крыльца и вошел в трактир.

— Ну, товарищ, изобрази: половинку и закусон, красный или какой уж там — дело шешнадцатое.

Заведующий Красным Закусоном посмотрел на Степку подозрительно:

— А платить-то ты чем будешь?

Степка показал свою наличность — ее было 37 рублей и 50 копеек. На столе перед Степкой возникла пол-литровка и блюдо, наполненное всякой травой: капустой, клюквой, грибами и чем-то еще. Степка покосился на блюдо:

— А нет ли у вас какого-нибудь вещества?

— Какого тебе вещества?

— А, так, чтобы съесть, как полагается, — я ж тебе не корова. Ну, мяса там, что ли?

Мяса не оказалось. Степка принялся за невещественную закуску. С каждой стопкой, переливавшейся из бутылки в Степку, степкин язык начинал приобретать все большую и большую самостоятельность.

— Места тут у вас, можно сказать, гиблые, — сказал он заведующему Закусоном, — мертвяки по дорогам валяются...

— Какие такие мертвяки? — насторожился зав.

— Голые. В чем мать родила. Ты не смотри, что Степка сейчас не при своих, Степка всю тайгу наскрозь знает, вот пофартит, так я твой трактир с кишками закуплю...

— Ты это брось, — сказал зав, — чего ты треплешься, какие такие мертвяки? — спрашиваю тебя.

— Обыкновенные мертвяки. Голые. В чем мать родила.

— Где?

— У речки там, — Степка ткнул рукой в сторону, — верстов с двадцать отсюда будет. И хоронить некому, тоже, кооперация тут у вас...

— Ты про кооперацию брось, — сказал зав внушительно, тут может уголовное дело.

— А мне — что? Мое дело сторона. Я — птица вольная. Вот — намыл Степка золота — Степка и сыт и пьян, в твой паршивый трактир и носа не покажу, виданное ли это дело — травой людей кормить...

Степка начинал молоть вздор. Где то под спудом алкоголя

еще мелькала мысль о том, что лучше бы молчать, а то станут таскать по милициям и охранам. Но язык завоевывал все большую и большую самостоятельность...

— Я все наскрозь знаю. И какие такие мертвяки — тоже знаю. Красноармейцами были, покойнички. Штук с десять. Лежат, родимые. В чем мать родила. А дай-ка, паря, еще поллитровочку.

Зав сказал „сейчас" — вышел на кухню, шепнул там что-то трактирному мальцу, малец куда-то скрылся, а на столе перед Степкой очутилась свежая поллитровка.

⁂

Когда в трактир прибежал секретарь партийной ячейки, товарищ Гололобов, человек с хроническим административным выражением лица, от Степки уже трудно было добиться чего-либо путного. Он что-то молол о золоте, о каких-то Иванах, укравших его, степкин, самородок и о чем-то еще. Товарищ Гололобов сказал заву:

— Ты его придержи, а я сейчас.

Держать Степку не было никакой надобности — он и сам едва на ногах держался. Гололобов побежал в правление сельсовета. Жучкина там не было. Сторож, со скуки читавший какие-то объявления, расклеенные на стене, ответил кратко:

— Был ночью. Арестовал Булькина.

— Как Булькина? За что Булькина?

— А этого я не могу знать — Булькин тут сидит, под замком.

Гололобов пошел к Булькину. Тот спал сном праведника, и рядом с нарами стояли две пустые бутылки. Ни на какие вопросы Булькин не отвечал. Гололобов взял его под мышки и привел в сидячее положение.

— Чего ты тут сидишь, сказывай...

Но Булькин даже и в сидячем положении шатался из стороны в сторону, и как только Гололобов лишил его своей поддержки, тело Булькина осело на нары, как ком сырого теста. Гололобов позвал сторожа. Оба они, ухватив Булькина за все четыре его конечности, выволокли полумертвое тело на двор.

— Тащи ведро воды, — сказал Гололобов сторожу.

Сторож принес ведро воды, которое и было вылито на голову Булькина. Булькин самостоятельно пришел в сидячее положение. Отфыркиваясь и отирая руками воду с головы и лица, — он начал ругаться.

— Ты эту волынку брось, — внушительно сказал Гололобов. Говори толком: по какой-такой причине тебя Жучкин сюда посадил?

— Дай водки, — сказал Булькин, — а то я простудиться могу; тоже промфинплан, человеку на голову воду лить, что я тебе — огород?

— Принеси водки, — сказал Гололобов сторожу.

Водка была принесена. Булькин старательно вылакал стакан, крякнул и сказал неутешительно:

— Ничего не знаю. Пришел ночью, приволок сюда, сказал, что приказ по прямому проводу, да еще и ключи от коопа отобрал, — вот сторож свидетель. Я теперь за наличность не отвечаю...

— Действительно, — подтвердил сторож. — Ключи от коопа товарищ Жучкин забравши и ушедши...

Гололобов свиснул. Дело начинало принимать запутанный характер. Бросив Булькина, Гололобов, через заборы и огороды, направился прямым путем к жучкинской избе. Изба стояла молчаливо и неприветливо, двери были закрыты, ставни были закрыты, дыма из трубы видно не было. Гололобов постучал в дверь, — никакого отклика. Гололобов обошел избу с тыла, со двора, во дворе чуть было не провалился в яму, из которой только что было выкопано — то ли ящик, то ли сундук. Подозрения начали сгущаться. Гололобов достал нож, просунул его в щель ставни, открыл окно и увидел:

Комнаты были в полном безпорядке. Ящики комода валялись, пустые, на полу. Кровать стояла тоже пустая, без постели, даже ковер со стены был содран. Гололобов быстро и решительно направился на станцию.

— Васька, давай прямой провод на Неелово, штаб охраны.

Веснущатое лицо Васьки загорелось любопытством, но когда связь была получена, Гололобов выгнал его вон: тут разговор будет секретный, проваливай.

С одним из начальствующих лиц штаба, товарищем Кривоносовым, у Гололобова когда-то были истинно товарищеские отношения: оба воевали в рядах партизанских красных отрядов, оба голодали и оба верили в будущее. Сейчас это будущее оказалось несколько неодинаковым — Кривоносов сделал карьеру и сейчас был в чине полковника НКВД. Гололобов застрял на уровне сельского партработника и никак не мог понять, почему это так вышло. Но, несмотря на разницу социального положения, некоторые дружественные отношения между старыми партизанами все-таки остались.

— Вот что, Кривоносище, — сказал Гололобов, — тут у нас темные дела.

— А что такое? Поймали вы этого Светлова?

— Какого Светлова? — В первый раз слышу.

— Академика. Мы за ним целый взвод послали.

— Вот тут-то и оно. Взвод, кажись, весь перебит, — тут в трактире какой-то пьяный бродяга, — говорит, у речки десять убитых лежит...

Кривоносов протяжно свиснул.

— А может — врет?

— Непохоже. И, опять-же, — Жучкин смылся.

— Куда смылся?

— Неизвестно. Ночью вернулся один, без взвода, арестовал завкоопа, забрал у него ключи и смылся с женой. Надо полагать — и кооп выпотрошил, потому — забрал в колхозе двух коней и подводу. Бродягу я приказал задержать. А в коопе еще не был.

— К чорту твой кооп. Тут дело хуже. Тут очень большие неприятности могут быть, — вот, чорт его раздери...

— А в чем тут дело, с этим академиком?

— Ну, это после. Ты пока что пошли кого-нибудь на речку, посмотреть, как и что — да парней потолковее. А я на дрезине приеду — часа, значит, через два. Ты там уже как-нибудь себя прояви, а то и тебе влететь может!

— А я-то тут при чем

— Ну, это — как сказать. Сам, ведь, знаешь... Ну, пока. Я прямо к тебе приеду...

СТЕПКА НА ДОПРОСЕ

Часа через два Кривоносов со своим помощником вкатили на дрезине в Лысково. Гололобов встретил их на перроне. Вид у всех трех был деловой и озабоченный. Гололобов, кроме того, не понимал решительно ничего. Он побывал уже в кооперативе, чтобы хоть там как-нибудь себя проявить и хоть какие-нибудь следы нащупать. Но в кооперативе даже и следов не осталось, все было подметено вчистую.

Из сообщения Гололобова Кривоносов вывел только то заключение, что, значит, у Жучкина были какие-то сообщники: один и на одном возу он всего коопа увезти не мог. Заключение показалось Гололобову правильным и простым: как это он сам не догадался?

К квартире товарища Гололобова вело высокое деревянное

крыльцо, на ступеньках которого сидел Степка, переживавший двойное похмелье: и голова трещала и проболтался зря: вот, теперь начнут таскать по милициям, Степка этого очень не любил. Степку охраняли два комсомольца.

— Веди его в помещение, — сказал Кривоносов.

Трое представителей власти уселись за обеденным столом. Степка стоял перед столом, взъерошенный, оборванный, грязный и злой. На столе в качестве вещественного доказательства неизвестно чего, лежало все степкино имущество, обнаруженное при обыске: старая берданка, десятка два дробовых патронов, нож, лопатка, молоток, вашгерд, топорик, пачка махорки, котелок, спички, и все такое. Лежала и вся его наличность: 37 рублей 50 копеек: подозрительного ровно ничего.

— Имя, фамилия, профессия? — грозно спросил Кривоносов.

— Степан Иванов, старатель — вот тут же у вас лежит удостоверение . . .

— Это ты убитых видал?

— Так точно — я.

— Ты что это сразу не доложил?

— Так я сразу и доложил.

— Это в трактире то?

— А куда я больше пойду. Село незнакомое, а в горле пересохши. Вот и сейчас, — чем орать тут на меня, — дали бы для ради прояснения половинку. А то — без половинки ничего вспомнить никак невозможно.

— Вот — я тебе еще покажу половинку, пьяная ты рожа!

— С показу — какой толк. Мне — чтоб выпить. Потому — выпивши и не проспавши — ничего вспомнить вовсе невозможно.

Все трое посмотрели на Степку понимающими взорами.

— Дай ему, что ли, стаканчик, — сказал Кривоносов.

Гололобов достал из шкафа бутылку и стал наливать стакан.

— Да ты полный, полный лей, — сказал Степка, — все равно на казенный счет всю бутылку запишешь, дорожному человеку лишней капли жалеют.

— А ты помалкивай.

— Помалкивать я и в тайге могу. Если помалкивать — какая вам с меня польза?

Степка медленно и со смаком вытянул стакан. Посмотрел на бутылку умилительным взором, — там еще стакана полтора осталось, но Кривоносов был неумолим: „Напьешся, так тоже пользы никакой не будет, ну, рассказывай . . ."

Степка, сидя на ступеньках крыльца, уже кое-как успел обдумать свое показание.

— Так что шли мы вчетвером с Беловодских разработок, я и еще трое.

— А кто эти трое?

— Не могу знать, все на Ивана отзываются. Только давеча встретились, тоже вроде старателей, а, может, и нет. Неизвестные мне люди.

— Где они теперь?

— А это — чорт их знает. Должно быть — в тайге.

— Ну, мели дальше.

— Так что идем и видим: лежат мертвяки. Голые. В чем мать родила. Опять же: и кони тут пасутся. Добыча, значит, — фарт. Ну, те трое мне и говорят: ты, Степка, нам тут не племянница, ступай ты к чортовой матери — мы тут и без тебя обойдемся. Они, значит, чтоб все себе. Ну, — их трое, а я один, тут и пулю в пуп недолго получить. Я, значит, пошел около, кругом — вот на это самое село, а в горле пересохши...

— А сколько их — убитых?

— Ну, на это я не бухгалтер, должно быть с десяток.

— А Жучкин где? — сразу выпалил Кривоносов и попытался пронизать Степку своим испытующим взором. Но Степка оказался непроницаемым.

— Никаких Жучкиных не знаю.

— Не знаешь?! — Кривоносов перегнулся через стол.

— И слыхом не слыхал...

На дворе раздался конский топот, и в комнату вошло трое комсомольцев, посланных Гололобовым на речку. Вид у комсомольцев был растерянный и сенсационный: действительно, у речки лежат десять убитых красноармейцев, совсем голые, кони и оружие пропали...

Кривоносов посмотрел в окно. Уже спускалась ночь. Сегодня ехать на речку самому — уже поздно. Он отпустил комсомольцев и снова принялся за Степку. Но Степка был прозрачен, как бутылка, и на своем стоял твердо: что знает, о том и доложил.

— А что — в трактире, так где я тут милицию найду — село незнакомое. Я, вот, значит, заведующему и сказал: пойди, значит, и доложи, кому следует. А что я — рваный, так это кому какой фарт. Хотел бы — с мертвяков френч снял бы, был бы не хуже тебя...

— Как это снял бы: сам говоришь — голые?...

— Так это потом голые, пока я полянку обходил. Огля-

нулся — ни коней, ни граждан — ничего — одна срамота торчит...

— Тьфу ты, пьяная рожа, — не выдержал Кривоносов.

— Так ты пей — сам пьян будешь и завидовать будет нечего. — Степка чувствовал все бо́льшую и бо́льшую неуверенность в ногах и все бо́льшую и бо́льшую смелость на языке.

— А что я в тайге, может, месяц и ни маковой росинки — так этого никто не видит... А для кого я, спрашивается, заявлять пришел? Для советской власти. Ежели бы не Степка — сгнили бы ваши мертвяки ко всем чертям...

— Пошел вон, — сказал Кривоносов...

— Так я и пойду, мне чего тут торчать, ежели прохожему человеку стакана водки жалеют. Мне можно сказать, медаль бы нужно дать, а тут и горло промочить, так...

— Пошел вон, — еще раз сказал Кривоносов, — забирай свое барахло...

Степка молча собрал со стола все свое имущество — и из денежного своего запаса протянул пятерку Гололобову:

— Дай, браток, еще стаканчик. Сам понимаешь — ночь, а в горле пересохши. Кривоносов понимающе усмехнулся. Гололобов налил бродяге еще стакан, и Степка, — уже с берданкой в руке и с мешком за спиной, даже и слезу пустил:

— Вот это я понимаю, наша родная советская власть, не то, что вошь какая, понимает, значит, трудящего человека...

— Ну, катись, катись, — сказал Кривоносов — и пятерку свою забирай.

Степка выпил стакан, хотел еще что-то сказать, но прослезился, махнул рукой и вышел на крыльцо.

На дворе стояла черная кромешная ночь, и даже звезд не было видно. Места были незнакомые. В степкином сердце переливались слезы: куда теперь пойдешь? Степка решил, что итти некуда и незачем. Нащупывая ногой ступеньки крыльца, он спустился пониже, присел, осел, уселся и заснул сном пьяного праведника.

ЗАСЕДАНИЕ

Как только Степка вышел, жена Гололобова поставила на стол всякую еду. Кривоносов сидел мрачно. Гололобов полез в шкаф и достал бутылку.

— Да, дело, можно сказать, такое, что ни черта не поймешь.

Гололобов недоуменно развел руками и, сведя их, — в правой была бутылка — замечательно ловко выбил пробку. Кривоносов и его помощник молча протянули стаканы. Так же молча Гололобов налил. Кривоносов подул на поверхность водки — посмотрел на стакан справа и слева, выпил и сказал:

— Да-аа! Налей еще.

Молча выпили и молча закусили. Кривоносов был мрачно задумчив. Остальные двое не решались нарушать ход его, видимо, очень неприятных мыслей. Только на перегоне третьей бутылки, Гололобов не выдержал.

— А в чем тут дело — ты бы сказал, люди тут свои, сам знаешь...

Кривоносов передернул плечами:

— В конечном счете — чорт его знает. Этот академик ехал на Неелово — был приказ арестовать его при прибытии. С ним из Иркутска ехали двое филеров — обоих нашли на полотне дороги — под колеса, значит, попали. А академик высадился здесь. Вот — теперь из Иркутска, а, может, и из Москвы, будет чистка. Им, в центре, что? — Вот телеграфировали, чтобы этого академика взять живьем, „без телесных повреждений" — вот пойди, возьми: это по телеграфу легко... А отвечать, ясное дело, мы будем. И, товарищ Гололобов — и ты — тоже.

— А я то тут причем?

— Это — как сказать? Ясное дело — какой-то заговор был тут, в Лыскове. Тут нужно понимать — высадился в Лыскове, лошадей достал сразу, Жучкин завел взвод в западню, кооператив ограбил, сам смылся. Взвод перебит, Задорин тоже, документы следственные были у него — пропали. А тут еще и бродяги какие-то...

— Зря этого выпустили.

— Нет, он непричем, сразу видно. А вот те трое? Где они? Опять же кооператив: один Жучкин на одном возу всего увезти не мог. Кто тут с Жучкиным и с академиком в стачке был? Ты посмотри в общем и целом, видишь, какая тут неувязка получается. Пиво у тебя есть?

— Пиво тоже есть, — сказал Гололобов. — Ежели объективно — получается дело дрянь. И Жучкин — вот сволочь, кто бы мог подумать...

— Думать всякий может, — сказал помощник.

— Тут пакет запечатанный есть, — Кривоносов показал на свой портфель, с приказом вскрыть в случае непоимки. Ну, там и другие документы...

— Так ты вскрой.

— Лучше завтра — утро вечера мудренее — а то тут сало на столе, замажем только бумаги, айда спать, завтра посмотрим....

ПРОИСШЕСТВИЕ

В результате водки, а еще больше — пива, Кривоносов проснулся ночью, чиркнул спичку и, расстегивая на ходу свое обмундирование, направился к выходу. На дворе стояла кромешно черная ночь. Кривоносов нащупал перила крыльца, спустился вниз и наступил ногой на что-то мягкое и живое. Что-то мягкое и живое завопило благим матом, и собачьи зубы вцепились в голую икру начальника секретного отделения. Кривоносов схватил всеми двумя пятернями какую-то собачью шерсть, пытаясь оторвать зубы от икры и, рыча от боли, скатился куда-то вниз, во тьму.

Гололобов и помощник проснулись от дикого вопля на дворе. Гололобов, лучше знавший местную обстановку, выскочил первым. Чиркнув спичку, он увидел на земле какой-то воющий и перекатывающийся ком. Из кома временами мелькали чьи-то ноги — в одной из них он опознал кривоносовскую. Бросив спичку, он ухватился за нее и с предельным напряжением воли и мышц выдернул кого-то из кучи. Фонарь, принесенный мадам Гололобовой, осветил такую картину.

На земле с одной стороны крыльца сидел Степка, скрючившись в три погибели и оглашая двор нечленораздельным воем. С другой, — тоже на земле и тоже скрючившись, сидел товарищ Кривоносов, держался за икру и оглашал двор нечленораздельным матом. Лицо товарища Кривоносова было в крови. Обмундирование, вследствие неожиданности, было мокрое. Помощник одним прыжком очутился у Степки и схватил его за шиворот. Оба Гололобовы ринулись на поддержку товарища Кривоносова, причем мадам старалась не слишком внимательно смотреть на кривоносовское дезабилье. Кривоносов был введен, а Степка был втащен в дом.

— Ты что это, сукин сын, — орал помощник.

— А кто это — сукин сын? Виданное ли дело, на живого человека ступают, что я тебе — плитуар, что ли? — Степка взвыл снова: — Света Божьего не взвидел, на живого человека, как на плитуар, прямо на подмикитки!...

Кривоносов даже и не ругался. Подолом рубахи он вытирал кровь с лица. Мадам Гололобова чувствовала, что больше не выдержит и что получится скандал. Затыкая рот пе-

реднюом, она выбежала из комнаты и только в спальне вытащила передник изо рта: „ой, батюшки, не могу, ой, уморили!"

— Ты где был? — спросил помощник Степку, — сказывай, где ты, сукин сын, был?

— Что, спать человеку нельзя? Нет такого закону, чтобы человеку спать нельзя было. А где это видано, чтобы с пьяных глаз по живым людям ходить, да — смотри, я весь мокрый, а? Что это — в законе писано?

Помощник швырнул Степку в угол.

— Сиди здесь, — приказал он.

Кривоносов нуждался в скорой помощи: икра была прокушена, лоб был разбит, нос был расквашен вдребезги. Гололобов принес из кухни таз с водой, зажег лампу, потушил фонарь, и при свете лампы оба стали обозревать потери, понесенные товарищем Кривоносовым в тяжком ночном бою с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности. Потери были неприятные. Кривоносов наклонился над тазом и стал смывать с лица кровь. Помощник его и Гололобов старательно вытирали лицо полотенцем. В этот момент неслышно и неожиданно потухла лампа, и пока Голобов, ругаясь, чиркал спичкой, обжег руку о раскаленное стекло и оглянул комнату, то в ней не оказалось — ни Степки, ни кое-чего еще — чего, — сразу было трудно определить. Гололобов пробкой выскочил во двор, но там стояла черная кромешная ночь, и бродяга растворился в ней, как рюмка водки в водах Тихого океана. Как потом выяснилось — вместе со Степкой там же растворились — френч, бинокль, пистолет и, что самое странное, — также и портфель товарища Кривоносова. Заговор на станции Лысково охватил администрацию поистине железным кольцом.

СТЕПКА ДЕЙСТВУЕТ

Лампа, зажженная мадам Гололобовой осветила картину по настроению очень близкую к последней сцене „Ревизора". Кривоносов стоял в центре, прижимая к голым чреслам мокрое и окровавленное полотенце. Мадам Гололобова стыдливо отвернулась к стене. Помощник держал в руках таз с водой, а Гололобов, обнаруживший исчезновение портфеля и прочего, вопросительно смотрел на Кривоносова. Несколько мгновений малчали все. Первый взрыв раздался из кривоносовской глотки:

— Чего же вы стоите, держать его, сукиного сына! Гололобов, возьми фонарь из моего кармана, беги за этой сволочью, документы в портфеле!

Гололобов стал шарить по карманам кривоносовской шинели — попадая не туда, куда надо и соображая, что выскочить с фонарем на крыльцо — это значит: изобразить собою нечто вроде светящейся мишени: у бродяги берданка, и бродяга, конечно, умел стрелять. Кривоносов же только то и делал, что слизывал сливки с его гололобовских и прочих подвигов — пусть теперь, буржуй, сам и расхлебывает. Кроме того, Гололобов своим партийным опытом ощущал и некоторые другие возможности — довольно неприятные. Помощник делал вид, что не знает, куда поставить таз — вообще произошла, как говорится, минута замешательства. Кривоносов не выдержал. Обругав соплей Гололобова, он, выхватив из кармана шинели электрический фонарь, бросился на крыльцо — Гололобов посмотрел ему вслед, и саркастическая улыбка осветила его административную физиономию. С крыльца раздался истошный крик: „держи, держи", почти в тот же момент грохнул раскатистый выстрел берданки, посыпались разбитые стекла окна, и незаконченное „и" в крике „держи" сменилось законченным матом. Мадам Гололобова деловито нагнулась над столом и задула лампу. Помощник уронил таз на пол. С крыльца продолжал доноситься приближающийся мат: Кривоносов оставил свои поиски и возвращался вспять. Гололобов крикнул: „сюда, сюда, товарищ Кривоносов", хотел было чиркнуть спичкой, но раздумал: теперь уже торопиться и вовсе не к чему.

Кривоносов, ругаясь, нащупал путь в комнату и невидный во тьме, кричал что-то о саботаже и о предательстве. Гололобов, наконец, чиркнул спичку и постарался снова зажечь лампу; мадам Гололобова успела за это время закрыть ставни.

Кривоносов оказался вполне живым. Степка, отбежав во тьме шагов на тридцать, сообразил, что за ним могут погнаться с фонарем — догонят — не догонят, а стрелять будут. Лучше стрелять самому. Держа в зубах все свое вновь благоприобретенное имущество, он зарядил берданку и стал ждать. Как только Кривоносов со своим фонариком появился на крыльце, Степка бабахнул в светящееся пятно — но попал не очень точно. Дальнейшее исследование обнаружило дюжины две мелких дробинок, продырявивших кожные покровы товарища Кривоносова — центр заряда угодил в стену.

Итак, Степка, с ним портфель и все остальное пропали бесповоротно. Кривоносов, прикрывая свою наготу электри-

ческим фонариком, опустился на стул. Он чувствовал себя убитым — и морально и огнестрельно: портфель с секретными бумагами был утащен из-под самого носу, а о размерах своего ранения Кривоносов мог только догадываться, сейчас они ему казались почти смертельными. И как потом объяснить ранение в голом виде? И что скажут и что предпримут в центре?

Примерно такие же мысли бушевали в головах Гололобова и помощника. Проблема, которая встала перед всеми тремя, могла бы быть сформулирована так: кто теперь первым успеет подвести остальных двух?

В самом беспомощном положении был, конечно, Гололобов, — мелкий деревенский партработник, на которого, конечно, свалятся все шишки: это именно он стоял во главе того лысковского заговора, который снабдил научного работника лошадьми, перебил взвод охраны, ограбил кооператив, произвел покушение на жизнь начальника секретного отделения и, наконец, похитил портфель с секретными документами. Было бы наивно доказывать какому бы то ни было центру, что Степка спер портфель вовсе не потому, что там были или там не было секретных документов, а потому, что из портфеля можно было бы выкроить пару великолепных голенищ. А остальные события, в частности, побег Жучкина — поддавались объяснению еще меньше. Наиболее портативное объяснение давала теория заговора, и во главе угла этой теории неизбежно должен был стоять товарищ Гололобов — если и не как соучастник, то как укрыватель или, по крайней мере, как ротозей.

Это было ясно для всех трех представителей администрации. Несколько туманно это ощущала даже и товарищ — она же мадам — Гололобова: товарищ — она же мадам Гололобова страдала рядом мелко-буржуазных заболеваний и любила, чтобы ее называли не товарищем, а мадам. Гололобов предполагал — может быть, и не без некоторого основания, что мелко-буржуазные срывы его жены не остались без влияния и на его собственную административную карьеру. Как бы то ни было, предыдущий партийно-супружеский опыт товарища-мадам оставил в ее душе горький осадок несбывшихся мечтаний, кислое разочарование в талантах ее супруга и едкое недоверие к партийным добродетелям окружающего ее мира. Этот мир обещал так много и дал так мало: мадам Гололобова не поднялась ни на одну социальную ступень. Правда, обещания данные партийным миром товарищу и мадам Гололобовой, были плодом мечтаний, а не результатом

каких бы то ни было обязательств. Партийный мир не оценил ни талантов товарища Гололобова, ни того великосветского обращения, которое внесла бы в этот мир мадам Гололобова — если бы ее об этом попросили, и если бы она об этом имела хоть какое бы то ни было представление. Но ее не просили и представления она не имела никакого. Горькая обида на партийный мир перемешивались с подсознательным или, по крайней мере, даже внутренне невысказанным подозрением, что ее муж, товарищ Гололобов, есть просто шляпа и дурак: другие — вот куда позабирались, а он тыкался, тыкался, да вот так и засел на должности завалящего сельского партработника. Товарищ, она же мадам Гололобова была коренастой, толстой, проныpливой женщиной с вечно поджатыми губами и с голодом ненасыщенного снобизма в глазах. Дурацкая история с бродягой как-то сразу сдула с окружающего ее мира и ту тонкую пелену человеческого приличия, которая все-таки обволакивала обычную жизнь, партийную повседневность. Бродяга исчез, портфель исчез, какие-то там документы исчезли, товарищ Кривоносов сидит на стуле голый и окровавленный, Гололобов нелепо тыкается куда не надо, а помощник, — мадам Гололобова готова была даже поклясться в этом — помощник даже и хихикнул в темноте. Было ясно: все трое попали в какую-то яму. И все трое будут из нее карабкаться, топча друг друга почем зря. Как ни низка была социальная ступенька, на которой пребывала мадам Гололобова — даже и эта нищая ступенька начинала трещать.

Тягостную растерянность прервал помощник:

— Вам, товарищ Кривоносов, надо обратно в Неелово, в госпиталь.

Кривоносов только выругался в ответ.

— Я пойду дрезину приготовить. Вам бы пока — одеться.

Кривоносов согласился: здесь пока делать нечего. Но во что одеться?

— Серафима, — сказал Гололобов жене, — принеси товарищу Кривоносову что из моего белья...

Мадам Гололобова заелась. Гололобов посмотрел на нее мельком, но достаточно выразительно. Мадам Гололобова исчезла в другую комнату. Кривоносов продолжал сидеть — голый, с бесполезным электрическим фонариком на чреслах, помощник осматривал его раны. „Ерунда, дробинки... но, вот на животе кожа пробита — дробинки могли и глубже пройти..." Кривоносов нагнулся и посмотрел на свой живот:

— Да, надо в Неелово, — прохрипел он, — пойдите, разыщите шофера.

— Я пойду, — сказал Гололобов, — товарищ тут в темноте не найдет . .

— Все равно, — сказал Кривоносов, — я пока оденусь.

Но мадам Гололобовой не было, не было и белья. Гололобов прошел в соседнюю комнату, где мадам Гололобова свирепо переворачивала содержимое комода.

— Тоже — всякую сволочь одевать, — прошипела она.

— Молчи, — таким же шипом ответил Гололобов, — посмотри там, что по-старее . . . И — живо.

— Вот он тебя оденет . . . в петлю всунет, вот помяни мое слово, сволочь на сволочи сидит, сволочью погоняет, а ты им давай последнее . . .

— Цыц, — сказал Гололобов, — а то вот я с тобой разделаюсь . . .

Мадам Гололобова, всхлипывая, вручила супругу пару заштопованных нижних одеяний. Гололобов передал их помощнику, пошел на станцию, разбудил шоффера дрезины, кое-что шепнул дежурному Ваське и вернулся домой. Кривоносов уже сидел одетый и бледный. Воображение рисовало ему и партийное дознание, и его собственные кишки, пробитые дробинками и всякие такие вещи в том же роде. Поддерживаемый — справа Гололобовым и слева помощником, не попрощавшись даже с мадам Гололобовой, Кривоносов заковылял на станцию.

ПО ДОРОГЕ

На рельсах, стуча мотором, уже стояла дрезина. Невыспав шийся шоффер с неодобрительным удовольствием посмотрел на печальное трио: „Еще одну сволочь подковали", — подумал он.

Кривоносов с помощником уселись на заднюю скамейку дрезины.

— Вы, товарищ Гололобов, позвоните в отдел, что я еду, — сказал Кривоносов. И подумал о том, что, собственно, надо бы выработать общий план показаний: такой чепухе, какая произошла в реальности, все равно никто не поверит. Но потом даже сам себя обозвал ослом — что с товарищем Кривоносовым случалось сравнительно редко, — все равно, и помощник, и оба Гололобовы будут тянуть свою линию — только, вот, какую?

Мысли у Кривоносова работали плохо— голова болела, ныл выбитый зуб, горела простреленная кожа, и Кривоносов

чувствовал, как рубашка намокает от капелек крови. Тут нужно бы думать во всю, а вот... Он пытался было собрать свои мысли в железный кулак — но мысли разбегались, перед закрытыми глазами вставала бродяжкина рожа, нарисованная на желтой коже портфеля, бродяга щелкал портфельным замком и из портфеля сыпались выстрелы берданки.

„Что я? Брежу, что ли?" — спохватился Кривоносов и никак не мог разобрать, от чего собственно, болела голова — от ранения или от похмелья?

— Вы, товарищ Кривоносов, положите голову сюда, ко мне на колени, так удобнее, — материнским тоном сказал помощник.

Кривоносов покорно улегся на коленях своего помощника. Помощник прикрыл его голову полой своей шинели, дрезина, стуча мотором и подпрыгивая на стыках рельс, мчалась со скоростью 60 — 70 километров, и предрассветный ветер начал пронизывать насквозь. Помощник бережно держал на коленях кривоносовскую голову и тщательно обдумывал планы использования простреленного кривоносовского живота в качестве ступеньки к дальнейшей карьере.

Помощник, собственно говоря, назывался Ивановым и был в чине майора. Но он умел себя держать как-то незаметно, что даже сослуживцы звали его то Петровым, то Сидоровым, и он отзывался на все имена, даже не внося поправок. И наружность его как нельзя лучше подходила ко всякой незаметной роли: нос — обыкновенный, глаза — обыкновенные, особых примет не имеется, — как свидетельствовали в старинных паспортах и в новейших удостоверениях. Только внимательный наблюдатель мог бы отметить вечную бдительность в глазах и вечную осторожность в движениях.

Товарищ Иванов как-то не мог проницать взором дали, но свое ближайшее окружение он прощупывал молча, незаметно и чрзвычайно внимательно. Следуя примеру великого вождя, где-то в недоступных для обыска палестинах, товарищ Иванов имел книжку, где были занесены все партийные и непартийные грехи его партийных и непартийных сотоварищей. Каждый грех имел отметки — по пятибальной системе — от единицы до пяти: это обозначало степень достоверности. Были и другие отметки — буквами, цифрами и всякими другими значками. Если бы их расшифровать, то, например, посвященная товарищу Кривоносову глава книжки указала бы на партийные связи, с именами и по возможности биографическими данными соответствующих лиц, на его доходы, на его привычки, на его любовные похождения, а также и на

нелойяльные выражения, которые товарищ Кривоносов допускал в присутствии таких-то и таких-то лиц — об этих лицах тоже были соответствующие записи, странички и даже главы. Это было "Who's Who"*), приноровленного для доноса в любой день в любом направлении. Книжка обеспечивала товарищу Иванову огромные маневренные возможности.

Сидя на дрезине, держа от холода и пестуя раненого сотоварища, Иванов перелистывал страницы, посвященные Кривоносову. И строил некоторые планы, касавшиеся будущего: и его собственного, и кривоносовского.

ЕЩЕ ПРЯМОЙ ПРОВОД

Гололобов же, проводив глазами удалявшийся во тьме красный фонарик дрезины, пошел в контору станции, выгнал оттуда Ваську и сел за телефон. Через минут десять всяческих стараний сонный грузинский голос откликнулся из трубки — голос был недоволен и раздражен.

— Чего тут дело? Пачему ночью звонить?

— Это я, товарищ Чикваидзе, Гололобов, секретарь лысковской партячейки.

— Так это не основание ночью людей будить.

— Основание , товарищ Чикваидзе, есть — я уж битый час в отдел звоню, да там не отвечают — спят, должно быть.

— Так в чем дело?

— Товарищ Кривоносов тут ранен.

— Ага, — сказал грузинский голос с нескрываемым интересом, — сильно ранен . . .?"

— Неизвестно, дробью.

— То-есть, почему это — дробью? — удивился грузинский голос.

— Так, дробью, я думаю, по пьяной лавочке.

У Гололобова никакого плана не было. И не так просто было его выдумать. Но можно было заложить некий фундамент, на котором — в зависимости от обстоятельств и размышлений — мог быть построен план.

— Дело какое-то темное, товарищ Чикваидзе, — продолжал Гололобов, я тут, можно сказать, не в курсе, товарищ Кривоносов вам сам расскажет, он с помощником только что выехали, будут часам к шести.

— Так кто же его ранил?

*) Английский сборник биографий выдающихся людей современности.

— Бродяга какой-то, и документ, кажется, спер, что в портфеле были.

Трубка свистнула протяжно и веско. — А этого Светлова поймали?

— Я о Светлове ничего не знаю, какой Светлов?

— А этот — который у вас там взвод перестрелял.

— Ах, — так это он — Светлов?

Грузинский голос выругался по-русски, — что это за кабак, тут такое дело, а партийная организация ни черта не знает.

— Партийной организации ничего сообщено не было.

— Что ж это? Кривоносов на свой страх действовал?

— Он сам расскажет. Я полагаю, товарищ Чикваидзе, что об этом не совсем удобно говорить по телефону.

— Совсем странно, — сказала трубка.

— Именно. Я, товарищ Чикваидзе, поэтому именно вам и позвонил. Обратите, пожалуйста, внимание — товарищ Кривоносов ранен в голом виде.

— То-есть как это: в голом виде?

— То-есть, будучи раздевши, как мать родила.

— Что же это? В бане или где его ранили?

— Очень дело запутанное, товарищ Чикваидзе, — должен сказать официально — ни черта не понять.

— Хорошо, — сказал Чикваидзе, — я приеду сам, посмотрю.

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА

Кривоносов и Иванов ушли, даже не попрощавшись с Серафимой Павловной. На столе остались недоеденный ужин, недопитая водка, пол был залит водой и кровью, в разбитые стекла дул холодный ночной ветер. Мадам Гололобова еще поджала губы, готовые разъехаться в истерический плач: вот на всю остальную ночь работы, как кухарка или там горничная, даже руки на прощанье не подали, тоже — аристократия. Вспомнились заискивающие манеры Гололобова, барственный, — свысока, — взгляд Кривоносова и издевательская усмешка Иванова. Тоже — новое дворянство, еще раз подумала мадам Гололобова и сразу же, как-то особенно резко и четко почувствовала, что даже и в это дворянство ни ей, ни мужу никакого хода нет. Что годы и годы усилий, унижений, натужных попыток пролезть куда-то вверх, хоть как-нибудь пролезть, что все это пошло прахом, что сидит

она, мадам Гололобова, на положении, пожалуй, хуже домработницы. Потому что, если что-нибудь стрясется с ее мужем — то куда деться ей, мадам Гололобовой? Растерянно она подошла к зеркалу, как к последнему прибежищу. Прибежище было неутешительно: из рамки на мадам Гололобову смотрело расплывающееся, огрубевшее лицо, от глаз бежали гусиные лапки, от подбородка спускались складки кожи. — Кому я, такая, нужна? — всхлипнула мадам Гололобова и вспомнила те надежды, какие когда-то подавал молодцеватый командир красного партизанского отряда товарищ Гололобов — вот именно с ним мадам Гололобова мечтала вскарабкаться в тот свет, где можно будет показать . . . Что можно будет показать? Ну, там было бы видно. Ну, настоящее обращение, вот, как в романах пишется . . . А обращение получилось вот какое: мужичья изба, и даже руки не подают. Да и изба-то не своя . . . Вот пришьют теперь Гололобову какую-то там неувязку . . .

При мысли о неувязке у мадам Гололобовой даже холодно на сердце стало. За эти годы она уже навидалась кое-чего. Не нужно было особенно воспаленного воображения, чтобы представить себе все дальнейшее: следствие, партийную проверку, невинные доходы от кооперативов и мужиков, перебитый взвод, Степку, научного работника — узел над станцией Лысково завязывался крепко — а кто за станцию отвечает? — отвечает Гололобов.

Отвращение и озлобление схватили за горло мадам Гололобову — ох, дурак! Господи, ох, дурак, подлец, шляпа, погубил мою молодость — а теперь что? Давно нужно было к кому другому перебраться, вот эта стерва Кривоносов — смотри, как высоко забрался . . . „Я — честный коммунист" — передразнила Гололобова своего мужа — в невинность, дурак, играет — кому нужна его дурацкая невинность? И еще белье этой сволочи сказал отдать, а теперь вот эти помои за этими дворянами убирай; небось, жена Кривоносова сама полов не моет. Куда я теперь с такими руками? Гололобова посмотрела на свои грязные руки . . . Другие жены маникюры там всякие заводят, а тут, как в свинарнике. Неужто уже совсем, совсем поздно?

Мадам Гололобова побежала в спальню, судорожно разрыла комод и достала блузку — ту самую, какую года три тому назад она достала у одной ссыльной. Блузка не помогла: тучные телеса мадам Гололобовой грозили порвать все швы. „Декольте нужно перешить", решила мадам Гололобова — но сама же поняла, что это только самоутешение — никакие

декольте уже ничему не помогут: молодость прошла. Съел товарищ Гололобов ее молодость, съел и даже не подавился, проклятый! Проклятый, проклятый, дурак, дурак — ну и пусть теперь сядет — вот только куда же ей, мадам Гололобовой деться?

На крыльце послышались шаги мужа. Мадам Гололобова быстро села на стул и дрожащими пальцами перебирала ненужную, запоздавшую блузку...

— Что ж ты ничего не убрала? — сказал Гололобов — вишь, какой свинарник тут.

— Убирайте сами, дорогой гражданчик — я вам тут не дом-работница.

— Это что еще значит? — недоуменно возразил Гололобов.

— А вот то и значит — довольно на мне ездили, дорогой гражданчик, ищите себе другую такую дуру, как я: хватит. Ищите себе честную коммунистку, чтобы она за вашим начальством подтирала...

Гололобов и так шел домой в состоянии удрученности и растерянности. А тут еще и Серафима?

— Ты, что, с ума сошла?

— Мне есть с чего сходить, а вам, гражданчик, и сходить не с чего — шляпа, — пришпилила она злобно... — Шляпа, дурак, за родную советскую власть — вот теперь тебя в петлю всунут, так тебе, дураку и надо!

Дальнейший шип Серафимы перешел в непечатную форму...

Супружеские ссоры случались у Гололобовых не в первый раз, но сейчас Гололобов понял: сейчас что-то прорвало, что именно — он еще не успел сообразить. Серафима сидела с перекошенным от злобы лицом и продолжала непечатно шипеть. Пьяна она, что ли? подумал Гололобов, но Серафима развеяла его сомнения:

— Давно нужно была на тебя, проклятого дурака, плюнуть. Ты потому сюда меня и заманил, чтобы я тут одно мужичье видала, чтоб от тебя, калеки, уйти не к кому было — а то бы давно ушла. У-ууу, гад, гадюка, на животе перед барами ползаешь, и хочешь, чтобы и я ползала — туда тебе, гадина, и надо!...

Гололобов понял, что это не водка, что это — конец. Перекошенная физиономия Серафимы открыла ему новые горизонты — он чувствовал их и раньше, но не хотел их видеть. Теперь — не видеть их было нельзя.

— Замолчи ты, стерва, — выдохнул он.

Но мадам Гололобову прорвало окончательно, и она сама

чувствовала, что это уже окончательно. Всю остервенелую злобу на все свои несбывшиеся мечты она швыряла в лицо Гололобову.

— Замолчи ты, стерва, — еще раз крикнул Гололобов.

— Уж молчала, сколько лет молчала, а теперь уж ты помолчи. Умник, в люди выбился, комиссаром стал. Ежели я, интеллигентная женщина, женщина с понятиями, за тебя, дурака, замуж пошла, так не для того, чтобы твою паршивую ворованную водку пить, в свинарнике сидеть и полы подметать, хам, холуй, сопля проклятая . . .

Гололобов изловчился дать Серафиме по уху, но она извернулась вьюном, и кулак попал как-то по затылку. С диким воем мадам Гололобова свалилась на пол, потом вскочила и схватила кухонный нож:

— Ну, подойди, подойди, стерва, соплявая, подойди, я тебе говорю. Я все твои хабары на стол выложу, я твоему начальству все расскажу, как это ты об товарище Сталине выражался; ты меня в свинарник загнал, — я тебя в гроб загоню . . .

Заметив дальнейшее наступательное движение со стороны товарища Гололобова, мадам юркнула в дверь и исчезла. Откуда-то со двора донесся ее истошный вопль: — Караул — убивают! — Потом замолк и он.

Гололобов постоял в растерянности посреди комнаты. Машинально налил себе стакан и также машинально выпил его и все происшествия этого дня суммировал в одном вопросе:

— Ну, и что теперь?

Ответа на вопрос не было никакого. Со стены сардонически ухмылялся товарищ Сталин — вот тот самый. В разбитое окно пробивались осенний ветер и утренний свет, комната являла картину Мамаева побоища, делать здесь товарищу Гололобову было совершенно нечего. Вопрос был только в том, где именно и что именно делать товарищу Гололобову вообще?

В спальне были выворочены ящики комода; на стене, над кроватью, висела охотничая двустволка. Гололобов почти механически снял ее с гвоздя, взял ягдташ, положил в него хлеба, сала, бутылку водки, потоптался бездумно по дому — и вышел во двор.

КОНЕЦ СЕМЕЙНОЙ ДРАМЫ

Было уже почти светло. Единственная дорога, отходившая от Лысково в тайгу, вдаль, в дичь, вилась между плетнями

и пропадала в лесу. Глаза Гололобова обнаружили валявшуюся на траве стреляную гильзу — это Степка стрелял в Кривоносова, стаи ворон, вившихся над соснами, но мадам Гололобовой видно не было — да и не было никакой охоты видать ее: сегодняшний день надо было как-то передумать. И найти из него какой-то выход — вот только какой?

Гололобов двинулся дальше, в тайгу. Вспомнил о том, что на Березовой Пади появились тетеревиные выводки, но без собаки трудно было их достать. „Ну, все равно . . ." Гололобов зашагал дальше, пытаясь в пустой голове собрать разъезжавшиеся мысли о научном работнике, о Степке, о Кривоносове и, наконец, о своей жене. Все мысли были неутешительные. Было ясно, что вся эта история даром не пройдет — будут таскать по допросам, снимут с работы, отправлят то ли „на производство", то ли в лагерь. В лагере — дело, конечно, ясное: крышка. Но что делать — на производстве? „Эх, давно надо было уйти из партии . . . Давно надо было . . ."

Но только сейчас, в это хмурое и трагическое утро Гололобов почувствовал, что уйти было некуда. Ну, куда он теперь годен? Специальности никакой. Другие, вот, поумнее, могут хоть мосты там строить или что еще. Но он, Гололобов, если отнять от него низовую партийную работу — что больше он знает и что еще он умеет? — Простой партийный аппаратчик! Когда-то можно было хоть в тайгу, на промысел уйти, белку там промышлять или золото промывать. А теперь — куда? Вот сидел сиднем все эти годы и высидел шиш с маслом. Даже и выдвинуться не удалось . . . Сукин сын, Кривоносов, — когда-то корешками были, из одного котла кашу хлебали, а теперь вот как нос дерет. Забюрократился, сволочь! А кто не забюрократился? Гололобов стал перебирать в памяти своих товарищей по партии и, перебрав, горько усмехнулся: одни попали в господа, это верно. Зато другие попали в подвал — это тоже верно. Он пока что сидит на жердочке между господами и между подвалом, — впрочем, какая уж тут жердочка? Если до сих пор в господа не вышел, когда легко можно было, то куда уж теперь?

Тайга давно сомкнулась за спиной товарища Гололобова. Березовая Падь с ее тетеревами осталась где-то в стороне. Стал накрапывать дождик. Гололобов посмотрел на небо — его заволакивала черная осенняя туча. В сущности, Гололобову было все равно — мокнуть или не мокнуть, но, почти инстинктивно, думая все ту же несложную и безвыходную думу, — он нашел вырванную бурей лиственницу, корни которой образовали навес — там можно будет переждать дождь.

Под корнями было мягко и даже тепло. Гололобов положил двустволку и снял ягдташ. Снимая, прощупал рукой бутылку — отхлебнул, и снова стал думать:

„Ну, конечно, если ходить по людям, как по мостовой, можно было куда-то протиснуться, — в областные работники, может быть. Эх, прошляпал! И Серафиму прошляпал. Это тоже верно. А как же это с Серафимой?"

Когда-то потянула интеллигентность Серафимы — она это так здорово иностранные слова говорила и опять же ногти красила. Думал, что вот она его на культурную ступень, так сказать, подымет — вот тебе и культурная ступень; раньше, по крайней мере, по матери не ругалась . . . Постепенно в памяти Гололобова, как на экране в кино, разорванные буквы стали сливаться в очень ясное слово: сволочь Серафима и никогда ничем иным не была. Сволочь и . . . и больше ничего. Думала по его гололобовской спине куда-то в красные дворянки попасть, не попала и теперь уже не спустит — это, уж — да! Ох, и сволочи, все сволочи! Все, как есть! Гололобов вспомнил, как делал карьеру Кривоносов — одного продал, другого выдал, грыз людей, как собака. И, с опозданием в несколько лет, понял товарищ Гололобов, что ничего этого он не мог бы сделать — если бы и хотел. Не мог бы. Рука бы не поднялась, и язык не повернулся бы . . . А Серафима — что Серафима? В ее бабских глазах всяк, кто не вор, — тот и дурак. Но, конечно, без воровства и он, Гололобов, не прожил, а все-таки . . .

На душе становилось совсем мутно: вот так и прошла жизнь. В монастырь бы — так теперь и монастырей нет. Из партии уйти? И поздно, и некуда. Гололобов хлебнул еще и постарался устроиться поудобнее. Дождь начинал бить по кустам черемухи, осинника. Гололобов поджал ноги, и чтобы удобнее сидеть, вынул из заднего кармана свой тяжелый кольт. Вид пистолета принес ему какое-то утешение: вот, так, вложить ствол в рот — раз! и никаких тебе ни вопросов, ни ответов, — прямо на лоно Авраама, Исаака и Карла Маркса . . . Гололобов хлебнул еще. Да, крышка, в угол загнали, как волка на облаве. В тайгу бы — да стар для тайги. Гололобов повертел в руке кольт, вложил для пробы ствол в рот, провел языком по шершавой насечке прицельной рейки . . . И потом все сразу перестало быть . . .

Если у товарища Гололобова была душа, то, покидая его партийное тело и партийную книжку, она, вероятно, никак не могла сообразить — так что же, собственно, случилось: самоубийство? Неосторожное движение указательным паль-

цем? Или, просто, с пьяных глаз? Душа посмотрела на распростертое тело, махнула рукой и поплыла дальше — по всем законам небесной механики.

ШЕРЛОК ХОЛМС

С пассажирского поезда 6.22 слез кавказского вида гражданин в приватной одежде, с портфелем в руках и с видом человека, приехавшего в командировку и потому располагающего неограниченным запасом свободного времени. Начальник ст. Лысково оглядел его только мельком: вот такого вида дяди наезжали время от времени скупать рога или копыта, инспектировать кооператив, или организовать сбор дохлых кошек для нужд индустриализации Сибири — много таких шаталось. Гражданин посмотрел на хмурое небо, поднял воротник своего пальто и зашагал в деревню. По тому, как он шагал и осматривался — можно было заметить, что в Лыскове он — в первый раз. Более внимательный и стрелянный наблюдатель мог бы опознать в гражданине переодетого сыщика, изо всех сил старающегося сохранить инкогнито.

Поколесив по деревне, гражданин обнаружил уже известный нам трактир „Красный Закусон", тот самый, в котором начал свою литературную карьеру товарищ Степка. Гражданин бодрым шагом поднялся по скрипучим ступеням крыльца и вошел в трактир — место, с которого начинают свои изыскания все начинающие сыщики. В трактире он был встречен пузатым дядей, который, оглядев приезжего с головы до ног, спросил лаконически:

— Ну, что?

— Из этого вопроса приезжий установил, что деликатное обслуживание посетителей не входило в задачи данного учреждения.

— Есть у вас чего поесть? — спросил гражданин.

— Рано еще.

— А позже будет?

— И позже — не будет.

— Так чем же вы торгуете? — спросил гражданин.

— Есть водка и кипяток, — ответил пузатый дядя.

— Что же, водку, значит, пить и кипятком закусывать? — сиронизировать гражданин . . .

— А по мне — хоть подошвой, — сказал пузатый дядя и посмотрел на гражданина пронизывающе.

— Ну, что же, хоть водки дайте, — сказал гражданин и сел за столик.

Пузатый дядя принес полбутылки, выбил пробку, поставил посудину на стол:

— Деньги вперед и за посуду залог, пятьдесят пять копеек, — сказал он.

Гражданин вынул кошелек и безропотно вручил пятерку. Пузатый дядя не производил особенно общительного впечатления, но никого другого для разговора в трактире не было.

— Что у вас за дела делаются? — вступительным тоном начал гражданин. — Тут, говорят, красноармейцев каких-то перебили?

— Красноармейцев? — переспросил пузатый дядя. — Ты что это за разговоры разговаривать начинаешь? Никакой тебе водки нету! И пузатый дядя убрал бутылку обратно — пятерки, впрочем, не вернул.

— Эй, вы, давайте бутылку! — запротестовал гражданин.

— Никакой тебе бутылки. Учреждение закрывается — пшел вон!

Граждани вскочил на ноги, но пузатый дядя напер на него всем своим животом, и гражданину показалось, что он, как муравей перед дорожным катком — вот вот накатится и раздавит.

— Эй, Митька, — заорал пузатый дядя благим матом, — закрывай заведение!

Техника закрытия заведения была выработана, повидимому, давно. На крылце раздался топот босых ног, захлопнулись ставни одного окна, потому другого, и в трактире наступила полная тьма — так что даже живота пузатого дяди не было видно. Гражданин почти инстинктивно, пробрался к светлой полосе у двери — и дальнейшее было закончено животом пузатого дяди: гражданин как-то очутился за дверью, дверь захлопнулась за его спиной, и за дверью раздался грохот закрываемых засовов. Гражданин вышел на улицу, еще раз осмотрел вывеску с красным закусоном, плюнул и пошел дальше — в поисках дальнейших источников информации.

Очередной источник информации гнал полдюжины полудохлых коров и, казалось, был заинтересован появлением на таежной улице нового лица.

— Селям алейкюм, — шутливо сказал ему гражданин.

— Пошел к чортовой матери! — серьезно ответил источник информации.

— Почему ты лаешься? — спросил гражданин.

— Заворачивай направо, — ответил источник.

— Почему направо? — спросил гражданин.

— А тут, направо, у нас бараний водопой, как раз для тебя.

Гражданин поколебался между профессиональным долгом сбора дальнейшей информации и индивидуальным желанием дать источнику по морде. Но выбрал компромиссный путь.

— Скажи, а где живет товарищ Гололобов?

Источник ткнул кнутом:

— Вот, тама, по тропке до забора, потом через забор, по огороду, а там на пригорке и дом стоит.

— Так почему же по огороду? — спросил гражданин.

— Да огород-то колхозный, не обходить же его?

Гражданин пошел по направлению, указанному кнутом. Тропка, действительно, проводила к забору, за забором был, действительно, огород, и огород был действительно колхозным: из девственной чащи лопухов, репейника и прочего кое-где пробивались круглые рожи подсолнухов и торчали пустые хворостины фасоли. Через огород, действительно, вела тропка и гражданин пошел по ней, не без некоторых укоров партийной совести, впрочем.

**
*

Мадам Гололобова открыла дверь и увидела стройного дядю, лет этак тридцати пяти, широкого в плечах и узкого в талии, — брюнета по всем статьям.

— Здесь живет товарищ Гололобов?

— Здесь, — неуверенно ответила мадам Гололобова.

— А можно его видеть?

— Нельзя, — ответила мадам Гололобова.

— То-есть, как же это так? — удивился гражданин. — Я вчера с ним по телефону сговорился, что я сам к нему приеду, моя фамилия Чикваидзе. Он должен был меня ждать.

— На охоту ушел, — сказала мадам Гололобова.

— То-есть, как же это на охоту, если я ему сам сказал, что я сам приеду? А скоро он вернется?

Мадам Гололобова еще раз осмотрела товарища Чикваидзе. У того был аристократически орлиный нос, и интеллигентное выражение маслянистых глаз и вообще темперамент. „Может быть, тут как раз судьба моя", подумала мадам Гололобова.

— Зайдите, товарищ Чикваидзе, — сказала она, — может, товарищ Гололобов скоро вернется, конечно, раз вы сами ему сказали . . . Только у нас тут беспорядок, вчерась тут товарищи из центра были.

— Кривоносов, — сказал Чикваидзе. — Это я знаю.

Он вошел в комнату, пол которой был кое-как прибран, но на столе еще стояли всякие вещи.

— Заходите, товарищ Чикваидзе, — еще раз сказала мадам Гололобова, — может быть, закусить не побрезгуете.

— Спасибо, товарищ Гололобова, чайку я бы выпил.

Чикваидзе выпил бы и водки, но—восемь утра в начале дня, посвященного поискам информации — нет, лучше чайку. Гололобова исчезла в кухню. Чикваидзе снял пальто, сел на стул и испытующим оком осмотрел комнату. Никаких вещественных доказательств, кроме недопитых бутылок, он тут не нашел.

Мадам Гололобова скоро вернулась с чайником и со стаканами, но уже в каком-то новом одеянии и с подкрашенными наспех губами. Товарищ Чикваидзе произвел глазомерную оценку женских достоинств мадам Гололобовой; оценка дала невысокий результат. У Гололобовой был вид интеллигентной женщины, только что пережившей душевную драму и мечтающей по меньшей мере о монастыре. Интеллигентный вид никакого впечатления на товарища Чикваидзе не произвел. Он поболтал ложечкой в стакане, отхлебнул, обжигаясь, глоток, и недоуменно сказал еще раз:

— Савсем странна. А товарищ Гололобов часто на охоту ходит?

— Часто, — сказала мадам Гололобова удрученным тоном. В такой глуши — что делать? Вот — сижу здесь, как, можно сказать, усыпальница . . . .

— Как вы сказали — усыпальница?

— Ну, да, как та принцесса, которая все спит. Так та, по крайней мере, спала, а я тут безо всякого образованного общества, одни мужики, никакого обращения. В кину, да и в ту за сто верст ехать надо . . .

— Да, места, так сказать, отдаленные, — согласился Чикваидзе.

— А приезжают люди из центра, так только и знают, что водку пить, — сказала Гололобова и сейчас же пожалела, как бы Чикваидзе и на свой счет не принял. — Я не к тому, чтобы без водки, — поправилась она — по мужским делам, известно, без водки никак нельзя, а только ежели все водка и водка и никаких вам интеллигентных понятиев, там о книгах, или о Моссельпроме, скажем, так разве это для интеллигентной женщины?. . . .

— Да, конечно, — согласился Чикваидзе. — Но только здесь, кажется, вчера особенно скучно не было? Совсем, как в кино — даже и со стрельбой . . .

— Ах, и не говорите, — сказала Гололобова, — а все это Дунька проклятая.

— Какая Дунька? Почему Дунька?

— Известно, Дунька. Как говорится, — шиши ля фамм.

— Как это вы сказали?

— Я говорю — шиши ля фамм.

— Ага. Тут только — шиши — не шиши, а ни шиша не выпишешь. — Чикваидзе даже сам удивился своему каламбуру. — А какая Дунька? — спросил он.

— Эта самая: Жучкина. Из-за нее все и загорелось.

„Вот тебе и раз!" — подумал Чикваидзе — может быть, Гололобова по бабьему делу разболтает и то, о чем сам Гололобов промолчал бы"?

— Это очень интересно, товарищ Гололобова, сказал он, — конечно, вы правы. Как это говорится: любовь и голод правят миром? А?

— Вот я и говорю: накрутит такая вертихвостка, то ей то, то ей другое, — по целому ряду причин мадам Гололобова питала роковую ненависть к Авдотье Еремеевне. Кроме того, печальное уединение, не дававшее исхода прирожденному инстинкту сплетни, построило в голове мадам Гололобовой целую теорию о научном работнике и о всех передрягах, с ним связанных.

Чикваидзе почувствовал, что пока там явится Гололобов, кое-что можно будет вынюхать. Гололобов же едва ли явится скоро: на дворе начинался дождь. На столе же стояла недоеденная колбаса, недопитая водка, рыжики маринованные и копченый омуль — чай застревал поперек горла товарища Чикваидзе. По лицу же мадам Гололобовой было ясно видно, что если накопленная на ее душе информация не найдет прорыва наружу — может произойти катастрофа. Товарищ Чикваидзе покосился на водку.

— А то, может быть, выкушали бы, товарищ Чикваидзе, поди, промерзли, ночи теперь холодные!

— А вы сами, товарищ Гололобова? — деликатно спросил Чикваидзе.

— Я — водки, ах, нет! Разве так, для компании и то — наливочки.

— Ну, чтож, — давайте — я водки, а вы — наливочки.

Мадам Гололобова достала из шкафа бутылку вишневки.

— Ах, нет, я только рюмочкой, — сказала она, когда Чикваидзе пододвинул ей стопку. — Я сейчас.

Мадам Гололобова исчезла на минутку в кухню, но бутылку захватила с собой. Вернулась с рюмкой, но пинкерто-

новский взгляд Чикваидзе уловил значительную разницу в состоянии уровня бутылки.

Косой дождь начал стегать по окнам, покрывать лужи пузырями и бульбочками, уютно и настойчиво барабанить по крыше. Разыскные инстинкты начали ослабевать в кавказской душе товарища Чикваидзе. Но по лицу мадам Гололобовой было видно, что сконструированная ею теория рвется к свету.

— А все, конечно, Дунька! Этот самый научный работник ее спер.

— То есть, как это спер?

— Ну, похитил. Пока там Жучкин болтался по коням — они уж там сговорились. Недаром Дунька все бегала по соседям и все стрекотала: ах, какой он интеллигентный, ах, какой он образованный... (мадам Гололобова была глубоко обижена, что Светлов не зашел к ней и что никакой информации ей не перепало). — Ну, потом Светлов уехал, а она за ним. Ясно. Жучкин вернулся, а жены и след простыл.

— Ну, а Светлову чего тут делать?

— Золото нашел. Ясно. Вот и сманил Дуньку золотом. То-же нашел сокровище, пудов пять в ней, корове, будет. Ну, там и другие старатели — потому и взвод перехлопали, чтобы секрета своего не открывать. Теперь подались куда-то в тайгу, будут золото мыть, Дунька будет им борщ варить и поцелуи распределять.

— А зачем здесь этот бродяга околачивался?

— Ну, этого я уже не знаю, это уж вам виднее, — вы лицо юридическое.

— То-есть, почему же это — юридическое?

— Ну, вы там всякое образование кончили, по судебным делам, значит.

– Ага, только я, товарищ Гололобова, лицо не юридическое, а физическое....

— Ну, да это тоже, конечно. Ах, вы знаете, у нас там, в Тамбове, был раз чемпионат, всемирный чемпионат борьбы, там тоже вот был такой вроде вас; вы, вероятно, ужасно сильный, товарищ Чикваидзе...

— Н... да. Могу, — сказал Чикваидзе и посмотрел на Гололобову. Та раскраснелась, и глаза ее были подернуты влагой и наливкой. Дождь на дворе лил сплошной полосой. Товарища Гололобова не предвиделось. Чикваидзе еще раз перевел глаза на пышные телесные залежи товарища Гололобовой.

— Знаете что, товарищ Гололобова, — как вас по имени-отчеству?

— Серафима Павловна.
— Так вот что, Серафима Павловна, идем-ка мы в спальню.
— То-есть, зачем это — в спальню?
— Там видно будет, идем . . .
— Ах, что вы, товарищ Чикваидзе, муж скоро вернется!
— Не вернется, — смотри, какой дождь . . .

ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ

Жучкин ехал осторожно и тихо. Стояла тьма, дорога, впрочем, была знакомая, но лучше было не гнать лошадей. Оба молчали. Жучкин с тревогой посматривал на небо. До рассвета надо бы верст хотя бы двадцать сделать. За эти двадцать верст будут три перекрестка — погоня разделится. Но Жучкин рассчитывал не на перекрестки.

Жена не расспрашивала ни о чем. В глубине своего сердца она очень уважала ум Потапа Матвеича — еще больше, чем его кулаки. Он уж как-то вывезет — как именно — ее касалось мало, это уж мужское, а не бабье дело.

Стало светать. Дорога ковыляла с горы на горку, по ложбинках протекали речки — сейчас, в конце лета, более или менее пересохшие, в каменистом и сухом ложе. В одну из таких речек въехал Жучкин, свернул по руслу и проехал с версту, вернулся пешком назад и тщательно привел в порядок все, что могло показаться следом телеги. Так, по руслу они поехали дальше. Жучкин шел впереди, ощупывая дно и обходя омутки. Авдотья правила лошадьми и думала почему-то о научном работнике — ей как-то его было жалко — как за волком, за человеком гоняются, — происшествия со взводом она еще не знала.

Спускаясь вниз по речке, Жучкин держал в руках винтовку на взводе и старательно смотрел по сторонам. Еще версты через три в речку впадал полупересохший приток — Жучкин свернул туда. Местность он, повидимому, знал хорошо. И знал, куда направляется: еще выше по руслу отходила охотничья тропа, по которой воз мог бы пройти без особых неприятностей. Солнце уже поднялось к полудню, и коням нужно было дать отдых. Жучкин прикидывал в уме: до утра никто ничего хватиться не мог. Хватятся — вот так, к полудню. Позвонят в Неелово. Конная охрана может прибыть из Неелова только на завтра, раньше поездов нет. Разве что пустят не по расписанию — так, вероятно, и паровоза свободного не найдется. Жучкин никогда не читал даже и Шерлока Холмса, но ох-

ранную рутину знал довольно хорошо — по собственному опыту. Его, жучкинское дело, пришьют, конечно, к светловскому. И пойдут по их общим следам. А общие следы — только верст на пять — потом Жучкин свернул вправо. В этом месте — никаких следов не осталось — дорога шла по лесным корневищам. Если, скажем, пришлют полэскадрона. Доедут до полянки. Дальше что? Нет, матушка тайга — она не выдаст, тут, как иголка в стогу сена.

— Давай, Дуняша, распрягать, — сказал Жучкин.

Распрягли и пустили пастись лошадей, и колхозных и тех, красноармейских, которых взял с собой Жучкин. Выгрузили кое-что из съестного. Дуняша привычными руками зажгла костер. Жучкин расположился рядом, поставив винтовку у сосны: она была хотя и без „аппетического прицела", но тоже спуску не даст. Жучкин растянулся на траве, подложил руки под голову и стал смотреть на небо.

— Господи Боже мой, здравствуйте, товарищ! — весело вскричала Авдотья Еремеевна. Жучкин вскочил пробкой и увидел:

Шагах в сорока, на той же охотницкой тропе, со своей „аппетической" винтовкой поперек седла, был товарищ научный работник: сидел верхом и смотрел на идиллистическую семейную картину. Жучкин хотел было рвануться к своей винтовке, но сообразил — не успеет. Он остался стоять под сосной и не знал, куда девать руки: то ли к винтовке, все-таки, то ли к козырьку. Но научный работник сделал свободной рукой приветствующий жест и стал подъезжать. Жучкин стоял, и лицо его, так сказать, дергалось то вперед — к научному работнику, то назад — к винтовке. В душе Жучкин ругался кощунственно: так проспать, так проворонить! Правда, чего тут было ждать в тайге? Сейчас ни охоты, ни орехов, верст тридцать от ближайшего жилья.

Научный работник подъехал ближе, и Жучкин радостно убедился, что на его лице никаких враждебных намерений выписано не было. Светлов казался и изумленным — как и сам Жучкин — и даже довольным — довольным Жучкин никак не был.

— Так что смылись, товарищ Жучкин? — сказал он тонко.

— Ко всем чертям. Я им тут не собака людей грызть... А за вас, товарищ Светлов, век буду Бога молить.

— А молить-то за что? — спросила Дуня.

— Много ты, баба, понимаешь, — сказал Жучкин, — сходите, товарищ Светлов, вместе закусим, чем Бог послал.

— Это можно, — сказал Светлов. Слез с седла. Поставил

винтовку рядом с жучкиной, поздоровался за руку — и с Жучкиным и с Дуней.

— Бога молить, Авдотья Еремеевна, есть за что. Только не за меня, а за вашего мужа — башковитый у вас мужик . . .

Дуня не понимала ничего и только переводила глаза то с Жучкина на Светлова, то обратно.

— Если бы вы, товарищ Жучкин, не сманеврировали бы с вашем конем — что мне было бы делать?

— Это так — сказал Жучкин, — лежал бы я там рядышком . . .

— Да что же тут такое, Господи Ты, Боже мой, — не выдержала, наконец, Авдотья.

— Дело темное, — сказал Жучкин, — вот послали за товарищем целый взвод, а товарищ весь взвод и ухлопал — из вот этого самого ружьеца . . .

Авдотья Еремеевна побледнела и опустила руки . . .

— Ах Ты, Господи, вот страхи-то какие, вот жизнь пошла — говорила тебе я: едем в тайгу, на заимку, к папаше, тут рано ли, поздно ли — на тот свет отправят. Ах Ты, Господи Боже, вот колбаса подгорела, а я тут — Дуня ринулась к костру и успела спасти остатки колбасы — остатков было много.

— Вы, товарищ . . .

— Валерий Михайлович, — подсказал Светлов.

— Так вы, Валерий Михайлович, садитесь вот туда, а я сейчас огурчиков достану, ах Ты Боже, бьют люди друг друга, как зайцев, или белок. И чего они-то к вам пристали, своей сволочи у них мало, что ли? Вы рюмочку, Валерий Михайлович, выкушайте, поди, проголодались; мы еще и чайку поставим, от такой жизни прямо в монастырь итти, али к чорту на рога. Я моему Матвеичу уже сколько лет говорю-говорю-говорю, брось ты эту полицию, добра тут мало, народ озверел, есть нечего, Бога люди забыли, на-те вам ножик,так руки замажете, ах, Ты, Господи . . .

У Жучкина окончательно отлегло на сердце. Светлов, смеясь одними глазами, смотрел на Авдотью Еремеевну, сел у разостланной на земле скатерти и тоже почувствовал странное облегчение: вчера он раза два подводил мушку под край рытвины с товарищем Жучкиным. Пять миллиметров движения пальцем — и . . . А, вот, сидим и даже водку пить будем . . .

Колбаса была истинно потрясающей — в особенности, в тайге, после многоверстного перехода, после волнений и даже стрельбы. Светлов выпил серебряный стаканчик и сказал:

— Так вот как оно случается, товарищ Жучкин.

— Случается,—ответил Жучкин. — Бывает,конечно, и ина-

че. — Он еще не совсем пришел в себя. — А как-то вы сюда попали?

— А я — в обход.

— Да ты мне, косолапый, расскажи толком — а то я слушаю тут, как дура, и что к чему непонятно вовсе.

— Так что товарищем Светловым советская власть интересуется, — сказал Жучкин.

— И даже очень, — подтвердил Светлов.

— Приказано было поймать, и послали взвод. А товарищ Светлов не будь дурак, — перестрелял всех.

— А товарищ Жучкин — не будь дурак, — сманеврировал в хвост колонны.

— Оба вы умные, как я вижу, — сказала Авдотья Еремеевна, — только и знаете, что друг друга кромсать. А куда вы теперь, Валерий Михайлович?

— Мой путь дальний, — сказал Светлов неопределенно.

— А что ты у человека выспрашиваешь? У него — свои виды есть, не даром за ним целый взвод послали.

— Виды — есть, — подтвердил Светлов.

— А мы — к папаше ейному, — сказал Жучкин, — в тайгу, за Урянхай, на заимку...

— Ого — поднял брови Светлов, — как же вы проедете?

— Проехать нельзя. Проберемся с возом малость — дорогу я всю знаю, а потом верхами, С месяц возьмет.

— Поклажу бросите?...

— Оставим. Потом вернемся с санками — заберем.

— А жизнь-то там какая — благодать, — сказала Дуня. — Мужики там хорошие, хозяйственные, колхозов нету. И птица, и рыба, и пчельники — умирать не надо.

— Да, умирать не надо бы, — а вот умираем.

— Я и говорю — езжайте с нами, Валерий Михайлович.

— Ну, положим, вы этого не говорили.

— Все-равно — куда вам податься? Осень вот скоро, тайга, люди тут звереют, за бляшку человека зарежут.

— За какую бляшку?

— За орден там, что ли, все равно. А у нас там все благородно, тихо, никакой тебе обиды нету, ягоды, мед, полотно свое, мы вас там женим.

— А я, может быть, женат?

— Это в Загсе-то? Тоже свадьба, уж лучше вокруг ракитова куста.

— А то вы бы в самом деле, Валерий Михайлович, — неуверенно сказал Жучкин. — Конечно, я понимаю, у вас виды свои, а что Дуня там бабье свое мелет — так это от чистого

сердца. У папаши ейного — действительно благодать. По зиме медведя бить будем. И тигра попадается. И зубр ходит, рога промышлять можно. А? Вы с вашей аппетической, да и мой винт спуску не дает! А там с партией и с охраной — ну их к последним чертям.

— А вы в партии были?

— Околачивался. По глупости лет. Думал — и в самом деле, трудящиеся там и все такое. А потом вижу: кто позагребистее, тот и давит, — нет, я — на заимку.

Авдотья Еремеевна ожидающе смотрела на Светлова. И ее бабье сердце таяло от чего-то—от жалости, что-ли? У Светлова были тонкие руки, явно не видавшие тяжелого труда, была где-то в лице, где-то в уголках глаз какая-то давняя тяжкая усталость.

— Я, конечно, Валерий Михайлович, не знаю, вы — человек образованный, вам и самим видно. Но ежели податься некуда — давайте вместях, Дунин папаша медведь медведем, лошадей на себе таскать может, ей Богу, правда, а мужик — не обидит; тишина там, а властей и вовсе никаких нету. Года что-то с три тому назад сунулись — так никто и не ушел, вроде, как из вашего взвода.

— А что там такое?

— Заимка одна — изб с десяток будет, поп есть, церковку построили. Благородно живут. До них только знающему человеку добраться. Было бы легче, я бы и раньше туда подался.

— Было бы легче, — сказала Дуня, — так и охранники твои пробрались бы. Вы, Валерий Михайлович, выпейте еще стаканчик, вот тут грибки в баночке . . .

Светлов откинулся назад, набил трубку и посмотрел: Авдотья Еремеевна явно волновалась, лицо у нее порозовело еще больше, на глазах явно навертывались слезы. Она представила себе Светлова в тайге — одинокого, преследуемого, и ей было так жалко, так жалко — оптического прицела Авдотья по бабьему своему уму в расчет не принимала. Жучкин смотрел на Светлова вопросительно и дружелюбно, на лице его, кроме того, отражался ряд недодуманных мыслей и невысказанных вопросов. По своей охранной службе он знал: за рядовой „контрой" целого взвода не пошлют, да еще так скорострельно. Видимо — важная птица — да, вот, только, какая? Подвести, он не подведет, — после боя со взводом ему никакого отступления нет. А человек — образованный, и винтовка американская — вот эта уж спуску не даст. Две винтовки — в тайге всегда лучше, чем одна. И, кроме того, Жучкин чувствовал в Светлове какую-то очень уж уверенную в себе силу, только

не мог сообразить — какую именно. Светлов уставился глазами на костер: действительно, осень на носу, горы скоро в снегу будут — иркутская задержка подвела. Были еще и другие соображения — много других соображений. Светлов незаметно для самого себя слегка вздохнул. Авдотья обрадовалась сразу:

— Ну, вот видите, еще недели две — дожди пойдут, чего вам тут мокнуть?

Светлов посмотрел на Авдотью Еремевну, и в его глазах не было улыбки:

— Вот — вы ведь меня не знаете, — а приглашаете.

— А чего знать-то? И знать тут нечего. Я сразу, еще в Лыскове, моему Матвеичу (его и Потапычем зовут) говорила: сразу видно, человек понимающий, человек образованный — чего вам по тайге медведем шататься. За горы, на Китай, уже не проберетесь — поздно.

— А по чугунке, — сказал Жучкин, — по чугунке уже телеграммы дадены. Да и по всем постам — тоже, я уж это знаю. А физиономия у вас, товарищ Светлов, уж вы не серчайте, приметная. Там старатель, сезонник, мужик какой — кто его разберет, много их ходит. А человека образованного за сто верст видно: а откуда он, а отчего он тут, — вот и влипли.

— Даст Бог, не влипну, — сказал Светлов и усмехнулся снова.

— Одному Бог даст, а у другого Бог возьмет, не искушай Господа Бога Твоего всуе, — сказала Дуня. — Я к тому говорю, что вы подумайте; какое у вас там намерение есть, я не знаю, я только от чистого сердца . . .

Светлов посмотрел на Дуню и на Матвеича и сказал:

— Нужно подумать.

— А вы и не думайте, ежели так. Что тут думать? Езжайте вместе, ей-Богу, езжайте.

Светлов смотрел на Дуню, смеясь, но в глазах его никакой усмешки не было, смеялись только губы.

— Ну, что-ж, едем Авдотья Еремеевна.

— Урра, — заорал Жучкин и даже на ноги вскочил: руку, товарищ, вот вместе мы им, сукиным сынам покажем . . .

— Ты уж показывал, — сказала Авдотья, — хватит. Вот, как это, ей Богу, хорошо, что мы так с вами встретились — уж как хорошо. Вот что судьба, значит . . . А у нас там, на заимке — как в раю, мы вас, Валерий Михайлович, обязательно женим, вот как перед Истинным.

— Да, может быть, я уже женат, — повторил Светлов.

— Ну, так жену вашу тоже туда доставим . . .

— А вот это будет трудновато, — сказал Светлов, и Авдотья снова почувствовала какое-то скрытое горе...

— А пока, — сказал Жучкин, — давайте дальше двигать — до вечера еще верст с двадцать сделаем... Да вот еще, господин Светлов. И как это из головы выскочило? Там, на полянке, вы полковника ихнего ликвидировали. Ну, а я карманы его проверил — зачем ему, без головы, все нужно? Там и пакет какой то был... Вот он, поглядите — может, и вас касается.

Светлов внимательно просмотрел бумаги полковника Задорина, чуть усмехнулся, но ничего не сказал.

Двинулись дальше, по той же охотничьей тропе, потом свернули по ложу еще одного ручья, к вечеру устроили привал, разложили на земле жучкинские перины и одеяла, поужинали и легли спать. Небо было ясное и звездное. Светлов лежал на спине и смотрел на него сквозь свешивающиеся ветви сосен. В тайге царила тишина. С неба добродушно и жуликовато подмигивали звезды.

**
*

...В дороге трудно было разговаривать. Жучкин ехал верхом впереди, разыскивая и указывая дорогу. Авдотья сидела на возу и правила конями. Светлов со своей винтовкой играл роль арьергарда. На каждом привале нужно было распрягать лошадей — привал устраивали там, где была трава, — потом рубить дрова на костер, — по вечерам и утрам сгружать и потом нагружать постель и все такое. К вечеру все уставали сильно. На одном из привалов Жучкин сказал:

— На возу еще верст тридцать проедем — а там — крышка. Бросим его здесь, поедем верхами. Потом с папашой вернемся — заберем.

— Мне свой вьюк надо взять, — ответил Светлов.

— Не выйдет. С вьюками не пройдем. Папаша ейный — тот пройдет, он в лесу, как медведь — у себя дома. А мы — не пройдем. Кручи там такие, что и пешему трудно. А мужиков нас только двое, завязнем.

— Так я останусь у фуры, а вы потом за мною вернетесь.

— Ну, уж и надумали вы, Валерий Михайлович, — сказала Дуня, — что же вы тут один делать будете — с голоду помрете. Туда и назад — дней десять, а то и две недели, дожди пойдут, есть тут нечего.

— А я, Авдотья Еремеевна, рыбу ловить буду.

— Вот тоже, — скажете! Рыбу ловить, а кто вам жарить будет?

— Сам и жарить буду . . .

Авдотья даже рассердилась: все у вас, мужиков, понятия никакого нету, это медведю одному в тайге жить способно, а не человеку.

— Живут же охотники?

— Так они не лучше медведей, привычные, в лесу родились, в лесу и мрут, а вы, человек образованный, виданное ли дело: медведем жить?

Но Светлов твердо стоял на своем: вьюков он оставить не может. Жучкин тоже стал колебаться: бросить поклажу в лесу — если в землю зарыть — все к чертям пойдет. Так оставить — все-таки люди шатаются, сейчас станут орехи собирать, старатели бродят — найдут, — ничего не останется. А проехать с вьюками — невозможно никак — без папаши, конечно.

Дуня поахала, поахала и уступила. Но решили пробираться с возом пока будет малейшая возможность. Горы подступали все круче, подобие дороги скоро исчезло совсем, русла речек превратились в заваленные каменными осыпями рытвины и ущелья, по которым даже и верхом трудно было проехать. Подъехали, наконец, к очередному кряжу, и дальше колесного пути не было уж никакого. Оставалось выбрать место для двухнедельного ожидания товарища Светлова.

Жучкин казался расстерянным, а жена его и того больше. Углами ситцевого платочка она незаметно смахивала непрошенные бабьи слезы, но не говорила ничего: судьба, значит, такая вышла. Светлов думал какую-то свою неотвязчивую думу. Последний общий лагерь разбили на берегу горной речки, разгрузили воз, сложили поклажу, накрыли все это брезентом, под которым была устроена дыра и для товарища Светлова. Двух коней оставили с ним, на двух других Жучкин с женой сели верхами и тронулись в путь — на заимку, через горы в тихую обитель Дуниного папаши. На прощанье Дуня даже поцеловала Светлова — залитое слезами румяное лицо жалобно прижалось к груди научного работника, а Жучкин долго тряс руку, потом облобызался — по пасхальному — трижды. Топот копыт и хруст валежника скоро затих в таежной глуши, и товарищ Светлов снова остался один.

***

Дни тянулись медленно, но Светлов, как будто, не скучал. Удил в ручье форель, стрелял глухарей, раз застрелил олененка, собирал грибы — вообще жизнь в тайге, казалось, не была для него непривычной. Но больше всего товарищ Светлов сидел

и думал. Иногда что-то записывал, иногда даже что-то высчитывал. На ободранном от коры стволе сосны Светлов устроил календарь — каждый день делал топором зарубки — сколько дней прошло с отъезда Жучкиных.

Зарубки росли и росли — девять, десять, одиннадцать. На двенадцатый день Светлов стоял у ручья и не смотрел на поплавок, который течение давно сбило вниз. Вид у товарища Светлова был очень задумчивый. Рядом лежала винтовка.

Из таежной глуши донесся вопль, который заставил Светлова вздрогнуть: „ого-го-го" — так, по крайней мере, послышалось Светлову. Горное эхо затихающими ступенями повторило: „ого-го-го". Первая мысль была о Жучкине — вероятно, он вернулся. Но никакая человеческая глотка не могла издать такого громоподобного вопля. Снова раздалось нечто вроде „ого-го-го", — нет, это, конечно, не Жучкин и вообще не человек. В качестве научного работника Светлов не был подвержен суевериям, но какой-то холодок все-таки пробежал по спине: „тут кажется, и в леших начнешь верить, в этой глуши", подумал он, свернул удочку, поднял ружье, открыл предохранитель и осторожными шагами направился к своей стоянке — до стоянки было шагов двадцать. Стоя с винтовкой в руках, у своего бивуака, Светлов настороженно вслушивался во все голоса тайги. Дикий рык повторился снова — на этот раз ближе и еще сильнее: „ого-го-го". В таком стиле ревут тигры, терроризирующие свою будущую добычу, но тигры не орут „ого-го-го". Светлов осторожно зашагал по направлению рева, не желая оставаться вплотную у бивуака, но и не желая терять его из виду. Он залег в кустах, вслушивался и всматривался. Так прошло несколько минут. Таинственный рык раздался совсем близко, и как только он заглох, раздалось другое „ого-го-го", на этот раз несомненно человеческого происхождения. Светлов молчал. Потом из чаши леса донесся топот копыт и хруст валежника и снова „ого-го", в котором на этот раз Светлов опознал жучкинский голос.

Светлов сложил два пальца в рот и издал пронзительный свист. Из чащи вынырнул Жучкин верхом на коне и с двумя еще конями на поводу, а, за ним, двое каких-то мужиков, тоже с конями на поводу.

— Ну, слава Тебе, Господи, — заорал Жучкин, спрыгивая с седла. — Что же вы не откликивались? Мы уж голосили, голосили . . .

— Думали, что вас волки съели, — сказал мужик. Голос из его глотки шел, как из пустой бочки, снабженной самым современным резонатором — даже Жучкина лошадь слегка в сто-

рону отступила. Светлов тоже издрогнул от неожиданности и посмотрел на мужика внимательнее — такой фигурки ему видывать не приходилось никогда.

На нижней стороне лица плотно устроилась небольшая курчавая борода, сверху — росла такая же курчавая шерсть — мужик был без шапки. Посередине — выглядывала пара веселых медвежьих глаз. Но во всем этом не было ничего необыкновенного — необыкновенное начиналось ниже. Туловище мужика — это был, конечно, Дунин отец, — больше походило на основательный дубовый боченок, слегка сплюснутый по переднезаднему диаметру и слегка расширенный от плеча к плечу. От плеча к плечу было, как говорится, косая сажень. Сравнительно короткие ноги были похожи на два толстенных дубовых обрубка, а сбоков было привешено еще по два дубья.

— „Ну и медведь же, прости Господи!" — подумал Светлов.

Дунин папаша спрыгнул с седла с легкостью, совершенно неожиданной для такой туши — в нем было никак не меньше восьми пудов, — Светлову показалось, что конь дуниного папаши даже вздохнул от облегчения, когда с него такая тяжесть свалилась. Спрыгнув, Дунин папаша проявил также неожиданную для такой туши подвижность.

— А волки, значит, и не съели? Так позвольте познакомиться — зовут меня люди Еремеем, Еремой, значит, Павлович Дубин (по Сеньке и кличка — подумал Светлов). Дунин отец, значит. А этот вот шалопай, сын мой старший, Федя, хороший парень — только беда: молод и глуп.

Федя подошел и протянул руку.Наследственное отягощение было видно сразу. Феде было самое большее лет 19, скроен он был, так сказать, несколько культурнее, не так откровенно по-медвежьи. Ноги были чуть длиннее, бочка обладала чуть-чуть меньшей емкостью, глаза усмехались также весело и ясно: „Федор Еремеич Дубин, — сказал он, я вот сейчас только лошадей рассупоню" и повернулся к лошадям.

— Вот, значит, и прибыли — продолжал гудеть Еремей. — А вы говорите — бабы: мужу даже и передохнуть не дала. Там, говорит, человек, может, с голоду помирает, а вы тут балясы точить будете.

— Как пробку вышибла,—подтвердил Жучкин, в два счета, эх, заполонили вы бабье сердце, Валерий Михайлович!

— Я уже и говорил — держись теперь только, Матвеич, не зевай, жену прозеваешь. Говорил тебе — нужно бабе десяток ребят, а то она теперь вот господина Светлова в дети приняла — беда, да и только; ну давайте, господа хорошие, порядки наводить — завтра до светла сняться нужно, время — в обрез

— как начнут на перевалах вьюги, да бураны, да пурга — пропадем. Ты, Федька, как лошадей стреножишь, чурбан ты стоеросовый, я тебя вот сейчас поленом поучу . . .

— Жаль полена, папаша,—сказал Федя, — на топливо пригодится.

Светлов стоял и от пожатия еремеиной лапы тряс свою правую руку.

— Скажите, Еремей Павлович, вы подков ломать не пробовали?

— А это зачем? Подкова деньги стоит — да и достать ее где — по нашим местам?

— Силу пробовать, Еремей Павлович.

— Силу я, землячок, и без подков знаю. Сила — это что? Силу и медведь имеет, у мужика вся изюминка в голове — Еремей постучал пальцем себя по лбу. Вот — Федька мой — Федька обернулся, услыша свое имя, — медведю ребра намять может, а как лошадей стреножить . . .

Светлов подумал, что булочки, ямочки, мячики и все такое, которыми снабдили родители Дуню — в мужском поколении перешли в кости и жилы — Еремей повернул голову к Феде, и шея, невидная спереди — сбоку вздулась истинно медвежьей жилой.

— Видали, Валерий Михайлович, народец-то какой по заимкам произрастает?

Жучкин был, видимо, очень доволен всем. Сам он был сложения атлетического, но по сравнению с обоими Дубиными, казался щенком. Светлов же сам себе казался окончательной дохлой кошкой. Еремей шмыгал на своих косолапых задних конечностях по полянке, даже и ступал по-ведвежьи — носками внутрь; Федя молча и улыбаясь, расседлывал лошадей.

— Фуру к чертям нужно — колеса в воду, доски в костер . . .

— А фуре-то зачем пропадать? — запротестовал Жучкин

— Народу в тайге много. Народу в тайге скучно. Напорется какой старатель — и пойдет от заимки к заимке языком трепать. Фуру здесь не каждый день найдешь. А, как я полагаю, господину Светлову лучше без следов обойтись, да и тебе тоже.

— Это правильно, — сказал Светлов, — следы лучше замести.

Еремей принялся приводить в исполнение свой приговор — стащил колеса с оси, одну часть спустил в омут ручья, другую порубил на топливо — все это было сделано быстро и сравнительно бесшумно. Потом разложили костер, из седельных сумок было извлечено огромное количество всякого коп-

ченого мяса — этак на три-четыре медвежьих аппетита. На костер был поставлен котел с мясом и крупой, всякими таежными кореньями, и через полчаса в котле стала булькать похлебка. Тем временем была осмотрена поклажа, и Еремей прикинул в уме — как распределить ее по вьюкам. Потом все сообщество, вооруженное ложками и ножами, уселось вокруг котла. Жучкин о чем-то вспомнил, нырнул к поклаже и вернулся, неся в каждой руке по две бутылки водки.

— Это — а ни-ни, — сказал Еремей, подняв кверху указательный палец, — ни в коем разе: здесь тебе тайга, а не кабак.

— Ты что ж это, — папаша, — изумился Жучкин, — ты в магометову веру, что ли, перешел?

— Ни в магометову, ни в советскую. Дома — пей, сколько душа принять может, а в тайге — а ни-ни. Мало ли что может быть? Люди всякие шатаются, зверь ходит: да и те пограничники напороться могут — а, вот лежит наш товарищ Жучкин, скажем, хоть в полпьяна... В тайге, брат, ухо нужно востро, зазеваешься — пропал. А пьяному зазеваться — раз плюнуть.

Тон у Еремея не допускал никаких возражений. Жучкин потоптался с бутылками в руках и за спиной Еремея изобразил Светлову сочувственно-сожалительную рожу: влипли мы, дескать, в сухой режим. Но Светлов был занят едой и своими мыслями...

***

Утром встали еще до свету. В тайге было сыро и холодно, начинались осенние утренние туманы. Кусты стояли покрытые мелким бисером росы, от ручья несло холодом и осенью. Еремей больше не шумел и не суетился. Была поделена поклажа, были навьючены кони, Еремей совал свою лапу под каждую подпругу и проверял каждый недоуздок: „по нашим горам ездить — это нужно уметь. А то и клажа пропадет, и кони пропадут, и сам пропадешь. Здесь нянек нету".

Роль нянек играл сам Еремей. Перед отъездом он обревизовал весь бивуак и побросал в ручей все, что ему казалось „следом".

— „Ну, с Богом!"

Караван тронулся. Впереди шли Еремей со Светловым, сзади Жучкин с Федей. Кони послушно следовали за Еремеем. Тот шел уверенно, по вчерашним следам и по тому таежному нюху, который вырабатывается десятками лет лесной жизни. Жучкин был прав: на подводе дальше было совсем невозможно проехать: путь шел все больше и больше в гору, и тайга то обрывалась в ущелья и расщелины, то карабкалась на об-

рывы; с каждым днем становилось все трудней и трудней. Несколько часов караван шел вдоль гигантской каменной стены, отвесно спускавшейся на падь. Стена поросла мелкой сосной и кедровником и казалась высотой в сто — двести метров. Светлов оглядывал ее скептическими взорами. „Нет такой дороги, по какой никакого пути нет — пробраться можно повсюду", — сказал ему в утешение Еремей. Местами со стены падь спускалась в расщелины, поросшие кустарником — издали они казались зелеными водопадами, низвергающимся в долину. У одной из таких расщелин Еремей остановился и приказал разгружать лошадей.

По расщелине с грехом пополам можно было проползти шагов сорок вверх. Потом дно расщелины перегораживала огромная каменная глыба, а за глыбой, огибая ее полукольцом, карабкалось вверх нечто вроде рытвины, которую при большом усилии воображения можно было принять за тропу.

Эта рытвина подымалась вверх, под углом градусов в 50, на протяжении нескольких сот метров. Корни деревьев играли роль ступеней для подъема вверх. Камни, лежавшие там же, играли роль шарикоподшипников для скатывания вниз. По этой рытвине нужно было протащить на собственных спинах поклажу и потом на недоуздках тащить коней.

— А сюда мы другой дорогой ехали, — сказал Жучкин.

— Есть и другая дорога, — неопределенно ответил Еремей.

Жучкин и, тем более, Светлов не проявили особых достижений. Светлов навалил на себя трехпудовый мешок и стал карабкаться вверх. Он считал себя, вообще говоря, достаточно тренированным человеком — но на первой же сотне метров почувствовал, что из него вышел весь пар. Сжав зубы, помогая ногам свободной рукой, он все-таки полз и полз выше. Кровь стучала в висках, легкие готовы были лопнуть от напряжения, ноги отказывались разгибаться. Но, все-таки, первый тур этого грузового рейса был сделан — рытвина выходила на самый верх стены, и дальше шел довольно пологий подъем вверх, поросший мелкой тайгой: тут снова можно было итти вьючным коням. Но трехпудовый мешок составлял только одну двадцатую часть всего груза. Светлов стал сползать вниз, надеясь, что второй тур, по привычке, пройдет уже легче. Навстречу ему ползло что-то неопределенной формы: это был Еремей. На его спине — связанные веревочной петлей, высились два мешка — пудов, этак, на восемь, десять. Цепляясь тремя медвежьими лапами за всякую неровность рытвины, и четвертой держа веревку, Еремей двигался с замечательным проворством. Скинув наверху свою ношу, он также проворно

скатился обратно, захватил два новых мешка, и снова пополз наверх. Федя отставал от него очень мало. Жучкин, как истинный кавалерист, вообще мало привык к пешому способу передвижения. Но, в общем, груз был перенесен. Настала очередь коней.

Переднего коня Еремей сам потащил за недоуздок. Остальные три участника экспедиции были вооружены колами, и поставлены в промежутках между конями: если один из коней оступится и начнет скатываться — нужно упереть кол концом в землю, и создать таким образом, точку опоры для лошади. Но кряжистые сибирские кони цеплялись своими крепкими мохнатыми ногами, как кошки, подымались медленно и осторожно, нащупывая копытами каждый камешек и каждый корень. Колья остались без употребления. Но когда последний конь стоял рядом с последним мешком груза, Светлов почувствовал, что, конечно, больше он не может. В груди было сухо и холодно, ноги подкашивались, руки дрожали. Еремей показал вдаль в гряду синеющих хребтов:

— Вот он, перевал!

Светлов поднес к глазам бинокль, но руки так дрожали, что зубчатая линия гор на горизонте прыгала во все стороны, и ничего нельзя было рассмотреть.

— Тебе, паря, стакан водки можно, — сказал Еремей, — смотри, ты зеленый совсем стал, точно утопленница. — Еремей засунул руку в свой мешок и достал оттуда флягу, — на, хлебни малость. — Светлов хлебнул глоток какой-то очень крепкой и очень ароматной самодельной водки.

— Что это — самогон?

— Самогон, не самогон, а сами гоним: баба моя большая искусница по всяким таким делам, — ну, нужно дальше двигать.

— Дальше? — горестно переспросил Светлов.

— Обязательно дальше; завтра надо перевал перевалить — смотри ты, небо хмурится, а — вона там, видишь? — Еремей показал рукой на северо-запад. Светлов посмотрел и ничего не увидел. „Вона там, над гольцами — видишь, как крутится — это бураны идут — не дай Господи; потому и по этой путе карабкались, чтобы время не тянуть. Можно бы в обход, да это на сутки длиннее, а за сутки — и, Бог ты мой, что тут может быть ! . . .

Навьючили и двинулись. Светлову казалось, что уже из последних сил. Жучкин тоже еле шевелил ногами. Но через два-три часа это ощущение прошло, заменившееся какою-то тупой механичностью движений. Двигались уже не по тайге,

а по каменным осыпям гольцов, как во сне — пока не прогудел еремеевский приказ:

— Ну, стоп, сниматься на ночлег.

Здеесь была маленькая ложбинка, прикрытая невысокой, каменной грядой; на ложбинке росли чахлые кустики, на дне — лужа, которая в крайнем случае могла сойти за озерко — Еремей дал приказ развьючивать — и сам исчез.

— Ну, сегодня мерзнуть будем, — почему-то весело сказал Федя.

— Собачьи места, — подтвердил Жучкин, — никакого тебе прикрытия нету.

Прикрытия, действительно, не было никакого. Вдали, впереди, освещенные румяным светом заходящего солнца, высились снежные хребты и между ними то, что должно было быть перевалом. Караван стоял, в сущности, у подножья этих хребтов. Здесь рос только чахлый кустарник и почти никакой травы. Еремей вынырнул откуда-то со стороны, неся на плече мешок — как оказалось, с овсом, припрятанным по дороге сюда. Из хвороста, кустарников и всякой дряни разложили небольшой костер и сварили похлебку.

— Ты бы, папаша, по случаю такого собачьего холода, уж хоть по стаканчику благословил бы, а то замерзнем.

Еремей благословил по стаканчику. Но не помогли ни стаканчик, ни костерчик — ветер, скользя по каменистым осыпям гор, уносил вдаль и тепло от костра и тепло от человеческих тел. — „А завтра самый тяжелый день будет, — предупредил Еремей, — вот, перевалим, даст Бог, — отдохнем".

День, действительно, выдался тяжелый . . . Еремей нещадно гнал и лошадей и людей. И ему и Феде все, казалось, было нипочем. С двух более слабых коней оба Дубины взяли даже по части груза. Еремей, с мешком за плечами и с винтовкой в руках, бегал кругом каравана, как будто он был деревенской собачкой, а не таежным медведем. Кони осторожно ступали по каменным осыпям, людские ноги скользили и Еремей все время покрикивал:

— Ходи толком, свернешь ногу — нести придется; смотри гляделками, а не смотри ртом, держись веселее, ать-два, ать-два, я вам сейчас в военный оркестр заиграю — тум-бум-бум . . .

Дорога шла все вверх по голому подъему, заваленному камнями разной величины. Тайга осталась далеко позади, впереди все ближе и ближе белели снежные гольцы; караван временами вспугивал горных баранов. Огромные животные, завидев людей, с любопытством подымали головы — и потом в не-

сколько прыжков исчезали из виду. У Светлова зачесались было его охотничьи руки, но Еремей снова поднял свой указующий перст:

— Не надо, все равно — взять некуда, и без барана — дай Бог только бы добраться.

С каждым часом Еремей понукал все настойчивее, становился все беспокойнее и — суетился все меньше.

— Нужно наддать, землячки, — смотри баран на низ идет, в тайгу, значит, прячется: не к добру это.

В низинах уже стоял лед, громада перевала надвинулась совсем близко — вот-вот, рукой подать, ландшафт принимал все более и более нечеловеческий характер: серо-черные глыбы камня, снег и лед между ними, справа и слева разорванные гребни вершин, впереди широкая щель перевала.

Светлов шагал сравнительно бодро, но Жучкин начинал сдавать.

—Я, папаша, в кавалерии обучался, а не в пехоте ходить — по штату не положено.

— Тебе по штату — в слабосильную команду. Вишь, сколько сала на советских хлебах наел.

— На советских хлебах, папаша, никакого сала не наешь — что слямзил, то и съел. Мы, папаша, не хлебом, а кооперацией питались.

— Ты мне насчет таких слов и не говори — „слямзил"! Совсем бесстыжий человек стал.

—Да я, папаша, не у людей лямзил, а у большевиков.

— А что тебе — большевики не люди?

— Это как на чей вкус, папаша, на медвежий, может, и люди.

— Большевик есть двуногое существо, питающееся кооперацией, — усмехнулся Светлов.

— Ну, чем ты там ни питался, а сала с тебя сбавить нужно, смотри — весь выдохся.

Жучкину, действительно, приходилось туго. Но подъем уже кончался. Перевал постепенно сужался, и скоро путь пошел между двумя обрывистыми склонами, покрытыми только снегом.

Ветер, дувший сзади, сметал с обрывов вихрящиеся поземки, колол снежными иглами замерзшие лица, забирался в рукава и за вороты. Дышать было нелегко — разреженный воздух наполнял легкие пустотой, кровь стучала в висках, а Еремей все оглядывался на небо, на хребты, на вершины и все торопил.

— Тут пещеры есть, верст еще с десяток, наше привальное место — только бы дал Бог добраться.

— Ну, десять верст уж доберемся как-нибудь, — сказал Светлов.

— Не говори. Ежели, не дай Бог, пурга — в десяти саженях запутаемся, завязнем, пропадем. А пургам уже время быть, — не дай Бог, если сорвется.

Светлов подумал, что и Дубины и Жучкин пошли на такой риск, в сущности, из-за совсем чужого человека. Жучкин, может быть, и не знал, чем пахнут перевалы в это время года, но Еремей то уж знал наверняка! Светлов посмотрел на Дубина. В медвежьих глазах была сумрачная забота.

— Зря вы, может быть, взялись, а?

—А мы что, безбожники какие? — сказал Еремей, — возлюби ближнего своего — вот как в Писании сказано.

— Ближние, Еремей Палыч, — они тоже разные бывают.

— Ну, кто разный, тот и не ближний. Ну, давай поднажмем. Совсем пустяк остался.

Еремей все поглядывал на небо вправо, через увалы горы и даже на цыпочки подымался, чтобы разглядеть подальше, — но цыпочки не помогали. Наконец, увал кончился, и вправо к северо-востоку потянулась широкая долина, дно которой утопало в снежной дымке. Еремей ткнул пальцем: вот она, пурга, надвигается . . .

Над голыми лысинами гор, только на самых вершинах покрытых снегом, курились тучки, — невинные, легкие, беленькие тучки — вот те, которые „ночевали на груди утеса великана".

— Это — пурга, — сказал Еремей, — не дай Господи . . .

— Давай, батя, вьюки сгружать — вернемся — подберем.

Еремей стоял молча, поглядывая то на отдаленное облачко зарождавшейся пурги, то на дальнейший свой путь, — как бы соразмеряя скорость пурги со скоростью каравана.

— Нет, — сказал он, тряхнув головой, — поспеем. В самый раз. Развьючивать тоже время надо. Давай, ребята, нажимать — не то пропадем.

Даже Жучкин забыл свою усталость. Кони, как будто чувствуя и надвигающуюся опасность и приближающийся ночлег, прибавили шаг.

— Вишь ты, — сказал Еремей, — и бараны и кони, даром что животные, а чуют. Баран уже в тайге лежит — ему что? Нам сутки карабкаться — ему хлысть — и нету, только пулей, дай Бог, догнать . . .

Спуск шел все круче и круче вниз. По протоптанным на

снегу следам тропинки, по остаткам конского навоза — видно было, как тропа шла зигзагами, но Еремей срезывал углы этих зигзагов. Каждый из путников вел под узды по паре лошадей. Еремеевский конь, казалось, как и его хозяин, не нуждался ни в какой поддержке.

— Вона — там и пещеры, — вдруг сказа Еремей, и, отпустив поводья показал рукой на отвесный обрыв скалы, где у самой земли чернели какие-то дыры. До этих дыр было еще около версты . . . И кони и люди почти инстинктивно стали бежать — кони трусили мелкой трусцой, и вьюки хлопали по их мохнатым спинам; люди бежали рядом, сжимая в закоченевших руках винтовки и стараясь только не поскользнуться на обледенелых камнях.

— Ну, теперь поспеем, — сказал Еремей, — смотри, Валерий Михайлович, вот тебе и козел . . .

В полуверсте, то скрываясь за грудами камня, то показывая свою рогатую голову бежал вниз, в тайгу, какой-то запоздавший козел.

— Сшибешь отсюда? А?

— А есть время? — на бегу спросил Светлов.

— Есть, только тушу потом заберем.

Светлов остановился, вдавил приклад в плечо — было бы очень обидно промахнуться — не из-за козла, а из-за Еремея. Но пульс стучал молотом, и руки не были тверды. Светлов сжал зубы, и зажал дыхание. Грянул выстрел, и голова козла исчезла за камнями.

— Что, промазал? — спросил Потапыч не без некоторого беспокойства.

— Нет, попал, — ответил Светлов.

— И то — попал, вот это, брат, стрельба называется! Попал в голову — я уж видал — голова мотнулась. Ай да стрелок, нам с тобой, Потапыч, не угнаться.

— Известное дело — техника, — сказал прерывающимся голосом Жучкин.

Кони, за это время, протрусили шагов на двадцать вперед — нужно было догнать. С долины доносился глухой и тяжелый гул. Первые снежинки, морозные и колючие, начали бить в лица. „Ой, ребята, скорей, скорей, как бы старый Ерема не просчитался — что-то больно шибко пурга идет”. Ветер относил его голос вниз, в глубину долины, по откосам которой уже лепился кое-какой лес, жидкий и корявый, не дающий никакого укрытия от пурги. Передний конь вдруг жалобно заржал. Другие ответили таким же жалобным ржаньем. Еремей прыгал рядом с конями, достал из вьюка веревку и стал

продевать — от недоуздка под подпругой к другому недоуздку и так далее. „Ребята, держись за веревку, чтобы в случае, не дай Бог, не оторваться от коней, те пока и в пурге будут чуять".

Снег уже стал слепить глаза и застилать окрестность. Ветер нажимал сбоку и, казалось, хотел свернуть караван с его пути. Светлову казалось, что с момента выстрела по козлу прошли уже часы и версты, что и пещера где-то осталась позади, и что в мире ничего нет, кроме колючего снежного тумана — как вдруг из этого тумана снова раздался громоподобный рык Еремея: „Ура, ребята, пришли!"

Голова каравана вместе с Еремеем исчезла в черной дыре пещеры. Задыхаясь и спотыкаясь, люди и кони прокарабкались метра полтора вверх, карабкались на четвереньках — ветер уже не давал возможности итти во весь рост. В долине сразу стало темно — в пещере было, хоть глаз выколи.

— Федя, огня, — приказал Еремей. В темноте пещеры вспыхнула спичка, загорелась свеча, и Федя, подняв вверх свой маяк, осветил неровные каменные стены пещеры, песчаное ровное дно и заснеженный караван, — все остальное тонуло в темноте. Федя куда-то ткнул свечей, и сложенная у стены груда сухой хвои, щепок и всякой такой мелочи сразу вспыхнула теплым красноватым огнем. Жучкин в бессилии присел на песок. Светлов оглянулся.

Это было вроде небольшого корридора, конец которого терялся в темноте. Вход был совсем узок — шага три, сам корридор был пошире — шагов семь — до десяти; местами потолок нависал неровными глыбами; то место, где горела хвоя, было оборудовано в виде некоего подобия камина: на ребро поставлены две каменных глыбы: дым, сначала было заполнивший почти всю пещеру, стало тянуть в какую-то невидимую скважину. Пурга врывалась в отверстие пещеры, раздувала пламя и сыпала на пол тонкий слой снега. Вдруг — как будто снизу долины кто-то выстрелил из гигантского орудия, заряженного снегом — раздался глухой, но тяжкий удар, и бешеный поток снежинок заполнил сразу и долину и пещеру. Нарастая и приближаясь с ужасающей быстротой, с северо-востока шел гул. Кони храпели и прижимались друг к другу. Пламя костра металось из стороны в сторону.

—Давай дверь крепить! — заорал Еремей.

Система крепления, видимо, была выработана давно. Полотнище палатки прижали тремя кольями к потолку пещеры — нижняя часть полотнища металась по ветру, как корабельный флаг во время бури. Еремей подхватил этот нижний край и стал на него ногами — полотнище вздулось вокруг его ги-

гантского тела, пурга прорывалась по краям. Федя с помощью Светлова лихорадочно наваливали на этот край какие-то камни, потом вьюки, потом седла, — пока отверстие не оказалсь забаррикадированным почти до самого верху. Светлов просунул было голову наружу — между краем полотнища и стеной — и сразу в лицо ему ударил поток ветра и снега. Долина казалась наполненной разорванными, снежными тучами, которые с сумасшедшей скоростью неслись на юго-запад, сталкивались, смешивались, снова разрывались в клочки и тонули в общем вихре. Гул этот прерывался грохотом артиллерийской пальбы — это ломались сосны, или скатывались глыбы. Только сейчас Светлов понял, что значили бы чверть часа опоздания.

То, что Еремей называл дверью, было, наконец, забаррикадировано совсем. Костер пылал ярким пламенем. Жучкин сидел, опираясь спиной о стену и протянув ноги на полу. Еремей раздавал коням овес, Федя, с пуком горящих сучьев исчез в глубине пещеры. Светлов чувствовал, как какая-то давняя тяжесть сползает с его души.

— Не унывай, Потапыч, — прогудел Еремей, — вот теперь и выпить можно будет.

— Совсем сдох, — смиренно признался Жучкин.

Федя вынырнул из глубины пещеры, неся под мышкой какой-то ящик.

— От Дуни и мамаши, — сказал он, — всякая тут всячина, выпить и закусить.

— Ты это пока оставь, — сказал Еремей, — вот нужно постели приготовить, кондер сварить, здесь можно будет передышку по-настоящему сделать, сколько пурга тянуться будет — Бог ее знает — может, день, а может, и неделю.

Жучкин сидел, как рыба, вытащеная на песок, — Еремей его уж и не трогал. Поставили на костер котел с кондером и чайник с водой, вокруг костра разложили все, что могло пригодиться для постелей. Федя распаковал ящик, в котором, действительно оказалась всякая всячина — рыбка сушеная и маринованная, грибки, пирожки, колбаса, масло, соленые огурчики и лук и уксус, жестяные ложки и что-то еще: все было уложено заботливыми и опытными женскими руками. Жучкин, унюхав запах самогона, пошевелился: — „Ужинать будем?" — спросил он.

— Обязательно, — ответил Еремей. — Тут можешь пить, сколько в утробу влезет, мы тут, как у Христа за пазухой...

Светлов стянул с себя сапоги и только тогда почувствовал, до чего устали ноги — в особенности, ступни. Он забрался на

разложенную на полу пещеры постель — с наслаждением протянул измученные ноги и с еще большим наслаждением подумал о том, что завтра никуда итти не нужно будет, делать ничего не нужно будет, да и, может быть, ни о чем не нужно будет думать. За стенами пещеры выла и ревела пурга, в пещере весело и уютно трещал костер, на костре булькала какая-то похлебка. Светлову казалось, что время как-то остановилось, и что внешний мир навсегда отрезан пургой, отрезаны и заботы, которыми был переполнен этот внешний мир. Вот — так, лежать у костра, слушать завывание пурги и бульканье похлебки — лежать так тысячи лет — ничего не желая и ничего не боясь. Может быть, где-то под песком пещеры, уютно свернувшись калачиком, лежит себе какой-то неандертальский скелетик, ожидая — то ли второго пришествия, то ли мировой революции. И тоже прислушиваясь кое-как к вою пурги и потрескиванию костра.

Оба Дубины хлопотали по хозяйству. Жучкин смиренно попросил стаканчик водки, взял его ослаблевшей рукой, выпил и начал проявлять дальнейшие признаки жизни: подсел поближе к ящику, на котором Федя уже успел разложить его бывшее содержимое. Еремей разлил водку по всем имеющимся в наличности посудинам и сказал: „ну, давай нам Бог", все выпили и приступили к чревоугодию. Светлов подумал о том, что, может быть, еще никогда в жизни ничто не было так вкусно, как кусок вареного сала, выуженный из похлебки. И никогда водка не согревала так человеческого сердца, как вот в этой пещере.

Вообще говоря, Светлов не любил пить. Алкоголь как-то ослаблял тот контрольный аппарат, который всегда стоял между Светловым и миром. Алкоголь подстегивал воображение и ослаблял настороженность. Но мир требовал вечной настороженности. Сколько уж лет прожил Светлов в состоянии этой настороженности! Когда каждый шаг нужно было обдумывать и каждое слово нужно было взвешивать. Но здесь, в пещере, ничего не нужно было ни обдумывать, ни взвешивать. Мир остался где-то там, за стенами пещеры, за воем пурги, и для этого мира он, Светлов, сейчас недостижим никак. От всего этого мира остались только: Еремей, Жучкин и Федя — трое людей, о которых еще две недели тому назад он не имел никакого понятия и которые с риском собственной жизнью выручают его, совершенно неизвестного человека, от какой-то совершенно неизвестной им опасности. Ведь не из-за перин и подушек рискнули все трое на это запоздалое путешествие? Все это было несколько странно . . .

Еремей сидел в довольно странной позе — поджав под себя одну ногу и вытянув другую. Страшный порыв ветра словно тараном ударил в полотнище, закрывавшее вход в пещеру — и один из кольев стал падать на пол — но не успел упасть.

Светлову никогда еще не приходилось видеть такой стремительности человеческого движения: подогнутая нога Еремея бросила, как стальная пружина, все его огромное тело — и кол бы подхвачен налету — иначе все сложное сооружение, закрывавшее вход, было бы разметено ветром.

Приведя все в прежний порядок, Еремей уселся на свое прежнее место.

— Вам бы, Еремей Павлович, — сказал Светлов, — в Америку ехать и там боксом заниматься.

К этому проекту Еремей отнесся с полным равнодушием:

— Это, значит, за деньги людей по зубам бить?

Такая постановка вопроса для Светлова была несколько нова.

— Да деньги-то платят большие! . . .

— А деньги-то мне зачем?

Это опять было слегка неожиданно.

— Как зачем? Все люди стараются добыть деньги.

— Ну, и пусть стараются, — отрезал Еремей. — Мне деньги — ни к чему. Ну, вот, патронов купить или там сахару.

— И больше ничего?

— А что мне больше нужно? Изба у меня есть, жена у меня есть, ульи есть, земля есть, дети — вот тоже.

Еремей посмотрел на Светлова с выражением искреннего недоумения: вот, де, чудак-человек — таких простых вещей не понимает. Светлов посмотрел на Еремея с почти тем же выражением: неужели, действительно, существуют в мире счастливцы, не нуждающиеся в деньгах? Потом Светлов представил себе Еремея где-то в большом городе и с большими деньгами и вынужден был внутренне согласиться с тем, что ни большой город, ни большие деньги с Еремеем как-то не гармонируют. Пожалуй, проще было бы представить себе медведя на премьере Художественного Театра.

— Деньги, они, папаша, все-таки не мешают, — скромно возразил Жучкин.

— Это — как кому. Сколько из-за этих денег людей порезано! Вот, тоже и большевики твои . . .

— Почему мои?

— Так ты же с ними возжался, все буржуев грабили — а

теперь еле ноги унес... А из-за чего все это? — Из-за денег. Вот, вишь, каким ты богатеем стал!..

— Мы, папаша, не из-за денег, а чтобы, значит, эксплоатации не было... Ну, конечно, просчитались.

— Без Бога считали — потому и просчитались.

— А вы, Еремей Павлович, в Бога веруете? — спросил Светлов.

— Что я — дурак какой, чтобы в Бога не веровать? „И рече безумец в сердце своем: несть Бог" — кто безмозглый, тот и безбожный.

Еремей говорил таким уверенным тоном, какого Светлов давно не слыхал. Может быть, и никогда не слыхал. Он еще раз всмотрелся в медвежью фигуру Еремея, и еще раз поставил перед собою вопрос: о человеческом счастьи и о счастливом человеке. Ответа на этот вопрос у Светлова не было. У Еремея он, по всей вероятности был.

Ужин был кончен. Костер догорал. Усталость стала брать свое. Светлов с наслаждением растянулся на пуховиках Авдотьи Еремеевны и стал дремать, кое-как прислушиваясь к вою пурги и грохоту осыпавшихся с горы камней. Но, несмотря на водку и на усталость — дремота прерывалась всякими мыслями, и мысли эти были как-то особенно неуютны. Светлов вспомнил себя молодым студентом, шествовавшим с красным флагом во главе революционной демонстрации. Потом он вспомнил себя молодым ученым, ставшим, более или менее, во главе изысканий по разложению атома.Сейчас, в пещере, он вынужден был констатировать, что его усилия по разложению страны и по разложению атома привели к положительным успехам. Несколько неожиданным оказался тот факт, что вот он, Светлов, участник разложения страны и разложения атома — уже сколько-то раз рискует своей жизнью — и убирает с дороги чужие жизни, чтобы не дать соединиться двум силам разложения — ибо если тайна атома попадет в руки тайной полиции СССР, то на человечество надвинется такая катастрофа, какой оно не видало — по крайней мере, со времени всемирного потопа — если он когда-то и был. Он, Светлов, ученый, интеллигент, почти философ — он, Светлов, всю свою жизнь, все свои усилия и все свои мозги вложил, оказывается, в работу чистого р а з л о ж е н и я, которое он теперь пытается остановить, хотя бы только остановить. Что будет, если это не удастся? Что будет, если тайной полиции СССР удастся связать в одно целое отдельныя открытия в области атома — и пытками или посулами заставить арестованных физиков сконструировать оружие... которое будет использо-

вано для реализации его же, Светлова, юношеской мечты о мировом социализме? Что тогда? И, кроме того, еще и Вероника? Как с Вероникой? Уже давно, очень давно, Светлов поставил крест надо всем тем, что именуется личной жизнью. Или думал, что поставил. Но сейчас, вот в этой доисторической пещере, на дне которой, где-то может быть, лежал свернувшись калачиком скелет доисторического Светлова, ожидающий то ли второго пришествия, которое исторический Светлов отрицал начисто, то ли мировой революции, которую вызывал тот же исторический Светлов — Валерию Михайловичу стало как-то очень плохо.

Совершенно ясно: вторую половину своей жизни он, Валерий Михайлович, тратит на то, чтобы как-то ликвидировать усилия первой половины. И вот, в двух шагах от него лежит Еремей Павлович, вся жизнь которого скроена, как глыба. Ему, Еремею Павловичу, нечего и незачем размышлять. Его жизнь так же прочна, как и его мускулы. „Безбожный — безмозглый"! Не был ли он, Валерий Михайлович, просто безмозглым: делал все, что мог, чтобы—как в сказке Шехерезады, — выпустить из волшебной бутылки злых духов, с которыми справиться уже не под силу? Испортил миллионы жизней — в том числе и свою, в том числе и Вероники, и вот сидит сейчас в пещере и завидует неандертальскому скелету . . .

Валерий Михайлович чувствовал, что он не заснет — несмотря на усталость, на пургу, на только что пережитое ощущение уюта и безопасности. Нет, от внешнего мира уйти нельзя, ибо он, этот внешний мир, сидит в его, Светлова черепе. И ставит свои требования, неотвратимые, как совесть.

УЗЕЛ ЗАПУТЫВАЕТСЯ

На перроне станции Неелово дрезину уже ожидала целая группа людей — механизированных и дисциплинированных работников, внушавших невольное уважение той молчаливой расторопностью, с которой она выносила и приводила в исполнение приговоры о высшей мере наказания.

— Ну, как, товарищ Кривоносов, — спросил один из них, — можете двигаться?

— Кажется, — глухо сказал Кривоносов. Он попытался встать, но пошатнулся и упал бы, если бы его не поддержали . . . Как ни туманно было в голове, Кривоносов сообразил, что опрос, или допрос со стороны его сотоварищей по профессии, лучше оттянуть возможно дальше. Группа окружила

Кривоносова молчаливым и серым кольцом, были поданы носилки, товарищ Кривоносов был погружен на санитарный автомобиль, двое молчаливых людей и врач туда же. Товарищ Иванов держался скромно и ненавязчиво, слегка помог грузить Кривоносова и стал в сторону, как бы ожидая дальнейших распоряжений со стороны старших по чину. Один из старших по чину обернулся к Иванову. В серых сумерках наступающего утра лицо товарища Иванова казалось еще менее выразительным, чем оно было обычно.

— Товарищ Иванов, кажется? — спросил старший по чину.

— Точно так, товарищ Медведев, — ответил Иванов.

— От товарища Кривоносова, кажется, ничего особенного узнать будеть нельзя: садитесь в мою машину, надо поговорить.

— Слушаюсь.

Небольшая вереница авто, во главе с санитарной машиной, двинулась по спящим улицам города. Даже постовые милиционеры провожали вереницу взглядами, в которых просвечивался суеверный страх перед всемогуществом дисциплинированных и механизированных людей. Автомобили подъехали к зданию, которое даже и не суеверные люди предпочитали обходить за несколько кварталов. Кривоносова понесли в приемный покой.

— Доложите мне, в каком он состоянии, — распорядился Медведев, — можно ли снять с него показание.

По безконечным корридорам учреждения, которое только заканчивало свою обычную рабочую ночь, Медведев прошел в свой кабинет. Иванов молча следовал за ним.

— Садитесь, сказал Медведев, — и рассказывайте.

Сухо и деловито Иванов стал докладывать: Кривоносов вызвал его вчера в 11.30 и приказал следовать с ним на ст. Лысково. Цель поездки сообщена не была. Было только сказано, что речь идет о выяснении обстоятельства гибели взвода. Некоторые подробности он, Иванов, узнал только из разговоров секретаря лысковской партячейки товарища Гололобова. Затем был приведен к допросу какой то бродяга, который после окончания допроса внезапно потушил лампу, похитил портфель, еще кое что и скрылся . . . До этого, правда, Кривоносов и он, Иванов, уже легли спать, но товарищ Кривоносов для чего то встал, вышел во двор и там произошло какое то столкновение с бродягой. Бродяга был приведен в дом, и вот именно тогда произошел инцидент с лампой и с похищением. Обнаружив похищение, товарищ Кривоносов выбежал на крыльцо, где и был ранен — повидимому, бродягой.

— Так что о Светлове вы ничего не знаете? — спросил Медведев.

— Официально говоря — ничего.

— А не официально?

—Здесь, товарищ Медведев, могут быть всякие догадки . . .

Медведев тщательно всмотрелся в лицо товарища Иванова. Лицо товарища Иванова не выражало решительно ничего. „Что он — в самом деле дурак, или только дураком притворяется", — подумал Медведев.

— Что показал бродяга?

— Официально говоря, ничего. Шел дескать, по дороге, в компании каких то других бродяг, обнаружил трупы, и вот, пришел в Лысково сообщить.

— А кому он явился?

— Повидимому, прежде всего в трактир. К товарищу Кривоносову он был приведен уже в пьяном виде.

— И, после допроса, товарищ Кривоносов его отпустил?

— Так точно.

Медведев побарабанил пальцами по столу. — Все это несколько странно, — сказал он.

— Точно так, — подтвердил Иванов. Медведев бросил на него испытующий взгляд: „вы тоже находите кое что странное?"

— Точно так.

— Что же именно?

— Официально — трудно сказать.

— Говорите, пожалуйста, наконец, не официально, — раздраженно сказал Медведев.

— Неофициально, товарищ Медведев, здесь, конечно, выражаются некоторые, так сказать, неувязки; остается, например, открытым такой вопрос, почему именно станция Лысково?

— А бродяга вам не кажется странным?

— Товарищ Кривоносов, вероятно, имел официальное распоряжение относительно следствия.

— Пакет с распоряжением он не распечатал?

— Никак нет.

В дверь постучал и, вошел врач.

— Ну, как? — спросил Медведев.

— Сейчас еще трудно сказать. Повидимому — плохо. Брюшная полость пробита в семи местах. Раны, правда, незначительные, — по калибру, нанесены дробью. Может быть воспаление брюшины. Осложняющий момент — ранение произошло на полный желудок, да еще и после алкоголя . . .

— Можно его допросить?

— Товарищ Жилейко уже пробовал, но раненый в полусознании.

— Можете итти, — сказал Медведев.

— Ну-с, обратился Медведев к Иванову, и на этот раз в тоне, который ясно давал чувствовать: довольно дурака валять. Иванов смотрел в начальнические глаза тем же бараньим взором, каким он смотрел и в другие начальнические глаза. „Что — он дурак, или только притворяется", — еще раз раздраженно подумал Медведев.

— Вы, майор Иванов, ответственный работник НКВД, — сказал Медведев. — Вместе с товарищем Кривоносовым вы направляетесь на следствие, о котором вы, по вашему утверждению, не имели никакого представления. Тов. Кривоносов в вашем присутствии совершает некоторые мероприятия, которые вы сами находите странными, и после его ранения вы даете бродяге возможность спокойно уйти. Вы — понимаете?

— Точно так. Смею доложить, что на дворе стояла абсолютная ночь.

— Однако, несмотря на абсолютную ночь, бродяга не промахнулся?

— Товарищ Кривоносов имел неосторожность выйти на крыльцо с фонариком.

— А преследовать бродягу с этим же фонариком вы не имели неосторожности?

— Товарищ Кривоносов приказал мне закрыть ставни . . .

— . . . И дать бродяге возможность бежать?

Иванов молча пожал плечами.

Медведев снова побарабанил пальцами по столу . . .

— Вы, вот, выражали ваше недоумение по поводу станции Лысково. Чем вы объясняете, что все эти происшествия случились именно на этой станции?

— Станция Лысково находится на дороге к нерчинскому изолятору, — сказал Иванов, и на одно, только одно коротенькое мгновение его глаза потеряли привычное баранье выражение. Медведев поднял брови:

— И Неелово и Пятый разъезд ближе к изолятору, чем Лысково.

— Точно так. От Неелова четыреста километров, от Лыскова — четыреста шестьдесят. Но дорога от Нееловоа находится под контролем, а от Лыскова можно пробраться таежными тропами.

Медведев посмотрел на Иванова еще раз: — „кажется, вовсе не такой дурак, каким он представляется". Иванов ответил невинным, но твердым взглядом: — да, не такой уж дурак, как

вы все обо мне думали, — сказал этот взгляд. В памяти товарища Иванова происходил бурный процесс, касающийся страниц 47 и 48 его памятной книжки. Было бы, конечно, лучше иметь эти страницы не только перед умственным взором. Но, во первых, потом, может быть, будет уже поздно и, во вторых, эти страницы стояли перед глазами, как Священное Писание для начетчика — нет, ошибка исключалась. Иванов опустил свои взоры и сказал медленно и раздумчиво . . .

— Я, товарищ Медведев, конечно, не имею права говорить вполне официально, но, так сказать, в порядке внутреней информации, могу доложить, что у товарища Кривоносова есть в изоляторе какая то знакомая или, может быть, родственница.

— Знакомая? Женщина? Кривоносова? В изоляторе? — что вы за чушь мелете!

— Точно так, товарищ Медведев, Кривоносов сам говорил об этом.

Медведев повернулся к Иванову всем своим корпусом.

— Говорил. Товарищам Алексееву и Заливайке.

Медведев уставился в Иванова тяжелым, почти угрожающим взглядом.

— Вы, вероятно, понимаете, товарищ Иванов, чем это может пахнуть?

— Так точно, понимаю. — Иванов стойко выдержал взгляд Медведева. Несколько секунд молчали оба.

— Расскажите же толком, — приказал Медведев.

— На пьянке, 22 марта сего года, товарищ Кривоносов сказал, что у него в изоляторе оказалась знакомая — „роскошная женщина", — как он выразился. „Жаль, что такая пропадает", — сказал он.

— Вы это сами слышали?

— Точно так.

Медведев помолчал еще.

— Это несколько меняет положение вещей. Словом — станцию Лысково, гражданина Светлова или как там его, Кривоносова и все прочее — вы ставите в связь с этой женщиной?

— Официально — я ничего ставить не могу, — это, так сказать, только предположительная гипотеза.

— Гм? Предположительная гипотеза? Ну-с — изложите ее целиком.

Товарищ Иванов почувствовал, что его час, наконец, настал. Медведев, повидимому, совсем не в курсе дела: московский пакет с данными о товарище Светлове пропал: даже его, товарища Иванова, отдел, который должен был заняться всей

этой историей по специальности — не знал ничего — Медведев мог знать только еще меньше.

— Я предполагаю так. Светлов или как там его, имел в Лыскове, так сказать, явочную квартиру, ехал прямо туда. По дороге как то отделался от филеров. Остановился у Жучкина, сейчас же получил лошадей, и двинулся дальше. Жучкин явно завел взвод в засаду, не мог же один Светлов перебить восемь или десять опытных пограничников? Кто был в засаде? Может быть, вот эти бродяги, вроде Степки. Может быть, и сам Жучкин принимал участие в нападении. Потом Жучкин вернулся, забрал свою жену и исчез. Зачем то послали Степку назад в Неелово — може быть, встретить того же Кривоносова?

— Вот с этим самым Степкой — Кривоносов не разговаривал в вашем отсутствии?

— Не могу знать. Я два раза выходил из комнаты . . .

В дверь постучали. Вошел подтянутый и молчаливый секретарь и протянул Медведеву какую то бумажку. Медведев прочел и постарался не посмотреть на Иванова. — Иванов заметил это оборванное движение. Бумажка была телеграммой из Москвы: „усилить охрану нерчинского изолятора, придав караульному отряду танковый взвод и батальон войск особого назначения, ждать дальнейших распоряжений". — Иванов, значит, что то угадал. Медведев отложил бумажку, как будто она не имела никакого отношения к данному разговору — но у Иванова был наметанный чекистский взгляд.

— Н-да-а — сказал Медведев. — Тут, может быть, что то есть. Я подумаю. Мы еще поговорим, товарищ майор.

Иванов встал, откланялся и вышел. Медведев нажал одну из многочисленных кнопок, украшавших его письменный стол. Вошел какой то другой секретарь.

— Назначите надежных сестер милосердия записывать все, что Кривоносов может сказать в бреду. — Секретарь ушел. Медведев еще раз перечитал бумажку и погрузился в размышления . . . .

ТОВАРИЩ БЕРМАН.

Огромный дом на улице Карла Маркса, 13, был выстроен в том новом функциональным стиле, который должен внушать впечатление света, простора и целесообразности. Его многоэтажный фасад был облицован светлым алтайским мрамором, и его широкие окна пытались смотреть приветливо и открыто. Жителям города Неелова дом, однако, внушал чувство жути,

которое можно было бы назвать суеверным, если бы для него не было вполне достаточных и вполне научных оснований: дом был штаб-квартирой среднесибирской тайной полиции — ОГПУ-НКВД. Именно поэтому прохожие старались жаться на другую сторону улицы — даже в то время, когда по новизне постройки и традиции дом еще не был окружен колючей проволкой, за которой теперь взад-назад шагали молчаливые, как и сам дом, часовые. Люди, входившие в этот дом, делились на две отчетливо разные категории: одна проходила внушительно и самоуверенно, другая — робко и с затаеным чувством ужаса. Дом был домом страха. Но в одно серенькое сентябрьское утро — в дом вошел его собственный страх.

Этот страх имел вид маленького, тщедушного, сутулого человека, одетого так, как одеваются люди, уже десятками лет не покупавшие ничего нового. На человеке было старенькое потертое пальто и даже портфель, играющий в СССР роль внешнего атрибута власти — был так же стар и потерт, как и все остальное на невзрачном человеке. Во внешности этого человека вообще не было решительно ничего особенного — кроме, может быть, лица: чем-то и как-то оно напоминало лицо насекомого — если у насекомых вообще есть лица. Выражения на лице не было равно никакого: чисто механическое соединение рта, подбородка, носа, лба и всего прочего. Из глубоких впадин иногда выглядывали глаза — и тогда, казалось, они снимали моментальную и до мельчайших деталей точную фотографию окружающего мира — и опять прятались назад. Или, по крайней мере, переставали проявлять к окружающему миру какой бы то ни было интерес.

Человек вошел в огромные двери дома страха и мельком, без всякого интереса, оглядел огромный вестибюль. У окна с надписью „пропуска и справки" выстроился длинный хвост людей, которые не знали, за чем они, собственно, стоят в очереди: за свободой, тюрьмой или смертью. Некоторые держали в руках пригласительные бумажки: „Гражданину такому то и такому то предлагается явиться на улицу Карла Маркса № 13, ком. XVZ, в пятницу, 13 сего сентября в 9 ч. утра". Хорошо еще, если бумажка приходила только 12-го сентября — тогда она означала только одну бессонную ночь: зачем? в чем дело? Господи, пронеси! Было хуже, если бумажка приходила за неделю . . . .

Невзрачный человек, слегка ковыляя на левую ногу, прошел дальше. У него был такой само собою разумеющийся вид, что казалось, если бы он шел на стенку, то и она слегка бы растерялась, раздвинулась, рассыпалась и пропустила бы.

Приблизительно такое же ощущение переживал и часовой: он о б я з а н был спросить пропуск, но в насекомой механичности невзрачного человека было нечто такое, что даже часового брала оторопь.

— Э-э — эгм — ваш пропуск . . . гражданин, — выдавил он из себя.

Невзрачный человек посмотрел на часового, как на внезапно возникшее пустое место, молча достал какое-то — очень плотное — удостоверение и поднес его, примерно, на уровень глаз часового. Часовой невольно не то выпрямился, не то отшатнулся — „виноват, товарищ", — по лицу его мелькнуло и спряталось тоже выражение суеверной жути, с каким жители Неелова обходили дом №. 13.

Человек прошел дальше — той же безразличной походкой бесцельно прогуливающегося насекомого, покружил по бесконечным, видимо, уже знакомым коридорам, подошел к другой двери — перед которой стояли двое часовых — и тем же безразличным жестом показал одному из них тоже удостоверение. Удостоверение произвело то же самое впечатление: почтительности и жути.

Человек прошел в приемную, где в ожидании приема сидело около полудюжины высших сановников города, потом в комнату секретаря, который поднял голову от стола и был совсем уже было готов окрыситься на человека, осмелившегося войти без доклада — но вместо этого вскочил со слегка побледневшим лицом:

— А-ах, товарищ Берман, здравия желаю. Товарищ Медведев у себя, там у него . . .

Но товарищ Берман прошел через секретаря, как сквозь пустое место — даже не кивнул головой в ответ, продвинулся сквозь тяжелую, двойную дверь в кабинет начальника нееловской тайной полиции, товарища Медведева. Услышав мягкий шелест двери, товарищ Медведев раздраженно повернулся на своем кресле — но раздраженное выражение мгновенно сбежало с его лица. Из глубоких глазных впадин на сотую долю секунды выглянули органы зрения товарища Бермана и отметили судорожную борьбу мимики на лице товарища Медведева: раздражение, испуг, недоумение, снова раздражение и, наконец, официально каменное спокойствие — все это длилось около одной сотой доли секунды.

— А-ах, товарищ Берман, очень рад . . .

По всему облику товарища Бермана было видно: ему совершенно безразлично — рад ли товарищ Медведев его появлению, или не рад, или только врет, что рад: появлению то-

варища Бермана была рада только его мать — и то только в первые годы его пролетарской жизни. На дальнейшем жизненном пути товарищ Берман как-то не встречал людей, которые были бы рады его появлению — да он об этой радости и не заботился.

Вельможа, сидевший перед столом товарища Медведева, поднялся и вытянулся с тем же выражением суеверной жути, которую внушал и товарищ Берман и все его постройки. Вельможа отступил на шаг назад, пропуская Бермана к креслу и слегка поклонился — не слишком подобострастно и не слишком по-товарищески. Товарищ Берман посмотрел на вельможу, как на пустое место и легким движением большого пальца правой руки указал вельможе на дверь. Вельможа, путаясь руками по столу, наспех собрал бумаги своего доклада Медведеву, посмотрел на того вопросительным взглядом, но не получив никакого ответа, пятясь, отступил к двери и вышел в корридор. В корридоре он кое-как запихал бумаги в портфель, и рассеяно провел рукой по лбу. По деревянному лицу часового промелькнуло сочувственно соболезнующее выражение. Вельможа обозлился на то, что рядовой красноармеец подсмотрел минуту его слабости и испуга и, распрямив плечи, величественной походкой зашагал по корридору.

Товарищ Берман сел в кресло, только что освобожденное вельможей и еще теплое от прикосновения его тучного тела, вынул портсигар и — не предлагая Медведеву — закурил крепкую и очень ароматную папиросу. Запах папиросы напомнил Медведеву о некоторых слухах, пытавшихся внести некоторый свет в таинственную и жуткую атмосферу, окружавшую товарища Бермана — о морфии, гашише и чем-то еще, о том, как сидя в своем московском уединении, товарищ Берман расплетает (а также и сплетает) нити заговоров и контрзаговоров и как в центре гигантской паутины, опутывающей весь СССР, сидит близкий и страшный МОЗГ, протягивающий свои амебоидные отростки — вот даже сюда, в Неелово . . . Медведев знал, что о всем, что делается в Неелове, Берман осведомлен, во всяком случае, не хуже его, Медведева. В некоторых случаях — даже и лучше. Здесь, в Неелове, Медведев сидит в центре своей паутины, но вся она пронизана и иными нитями — Медведев сидит не только в центре паутины, но также и в паутине. Он следит за всем, но кто-то — вот только кто именно? — следит за ним . . .

Медведев закурил собственную папиросу и стал ждать. По личному опыту он уже знал, — в беседах с товарищем Берманом не имеет никакого смысла ничто, выходящее из точных

рамок данной деловой темы. Он был рассержен на самого себя даже за свое „очень рад" — вот тоже, дернула нелегкая за язык! Не имело смысла даже и „здравствуйте", ни „до свидания". Это было так же ненужно и нелепо, как редактировать алгебраическую формулу в стиле: дорогой мой икс и милый мой игрек. Ничто не имело смысла. Иногда Медведеву казалось, что в глазах Бермана и он сам не имеет ровно никакого смысла. Так, может быть, только передаточная шестеренка мыслей и велений товарища Бермана . . .

— Вызовите, пока что, товарища Чикваидзе, он, кажется, уже вернулся, — сказал Берман.

Медведев снял телефонную трубку и издал туда соответствующее распоряжение. Даже и о Чикваидзе Берман уже знал! Вероятно, прилетел с утренним самолетом, как всегда, нежданно-негаданно, и кое-кто уже здесь, в Неелове, доложил ему все последние новости из дома страха. Медведев смотрел на Бермана так, как степная рысь смотрит на скорпиона: ни когтей, ни зубов, ни силы, — а как ужалить может . . . В высоких партийных кругах Бермана называли советским Фуше. Берман об этом знал и где-то в глубине своей таинственной души презрительно улыбался: нет уж, только не Фуше. Фуше был мелочью, кустарем одиночкой, как и вся эта кустарно сработанная французская революция. Правда, Фуше умер маркизом и оставил своим наследникам одиннадцать миллионов. Но ему, Берману, не нужны ни наследники, ни миллионы, ни, тем более, титул. Ему нужна власть. И он ее будет иметь. Если . . . Впрочем, об этом „если" — лучше не думать . . .

— У вас не создалось никакой гипотезы по поводу исчезновения этого Светлова? — спросил Берман.

Медведев пожал плечами:

— Все распоряжения по этому поводу были даны непосредственно товарищу Кривоносову и все они, кажется, исчезли. Руководство отделом не было поставлено . . .

— Это я знаю. И тем не менее — гипотеза могла бы быть.

— Товарищ Иванов выдвинул гипотезу, связанную с нерчинским изолятором.

— И это я знаю — я спрашиваю о в а ш е й гипотезе.

Медведев еще раз пожал плечами.

— Я, собственно, ждал вашего приезда. Ваши распоряжения относительно изолятора выполнены целиком и полностью.

Берман слегка поднял брови — как они могли бы быть не выполнены? На письменном столе раздался тонкий, тонкий звонок — это был сигнал, означающий просьбу разрешить

войти в это святое святых дома №. 13. Медведев нажал какую-то кнопку. В дверях возник товарищ Чикваидзе, слегка помятый после бурно проведенной ночи — а, может быть, и дня? — и слегка пахнувший водкой. При виде товарища Бермана Чикваидзе чуть-чуть запнулся на пороге: такой высокой инспекции он все-таки не ждал. От волнения сивушный дух пошел еще сильнее. Берман, предельно экономным движением руки, предложил Чикваидзе сесть. Осторожно пробираясь между креслами, Чикваидзе присел на одно из них. Сидеть было неудобно: кресла были мягки и низки и приноровлены для того, чтобы сидеть развалившись — но сидеть развалившись Чикваидзе не посмел.

— Рассказывайте, — лаконически сказал Берман.

Чикваидзе набрал в грудь побольше воздуха. Несколько запинаясь от неожиданности этой беседы, он стал излагать гипотезу мадам товарища Гололобовой: гипотеза в общем была глупа и, сейчас, без водки и закуски, без тучной плоти товарища мадам Гололобовой, Чикваидзе и сам почувствовал, что несет ерунду: из-за романтической любви какой-то Дуньки к какому-то научному работнику — товарищ Берман сюда бы не прилетел. Но товарищ Берман слушал внимательно и не прерывал... Короткая и бессмысленная „шортстори" с любовью, кровью, золотом и голодом скоро пришла к концу.

— Так, — сказал Берман безвыразительно. — Скажите, знает ли товарищ Гололобова девичью фамилию этой Жучкиной?

Такой вопрос в голову тов. Чикваидзе не приходил: кому нужна девичья фамилия Жучкиной?

— Не могу знать. И, вот еще, товарищ Берман: ее муж, товарищ Гололобов — он тоже пропал.

— То-есть, как это так: пропал?

— Исчез. Пошел на охоту и не вернулся. Я послал колхозников на поиски — пока ничего не нашли...

Медведев даже приподнялся на своем кресле, но не сказал ничего. В глубине своей души он был бы очень доволен, если бы товарищ Берман провалился совсем — со всеми своими талантами, розысками, гипотезами и прочим — провалился бы ко всем чертям. По мере возможности прямо в преисподнюю — если таковая существует. И если она согласится принять такое сокровище, как товарищ Берман...

— Вызовите сюда эту Гололобову, — приказал Берман Чикваидзе...

— Я сию минуту, она здесь в Неелове.

— Знаю, пошлите авто — пусть ее сюда привезут.

„И даже это он знает" — озлобленно подумал Медведев. „А этот дурак бабу сюда приволок. Может быть, вместе и мужа на тот свет отправили. Ну, пусть Берман разбирается сам. Его, Медведева, ни о чем не информировали, ни о чем не спрашивают — пусть сами и расхлебывают". Теперь Медведев очень рад был тому, что о секретном пакете он не имел и не мог иметь никакого понятия—пусть теперь за все отвечают другие.

— Ну, позвоните, — сказал Берман.

Медведев услужливо протянул трубку Чикваидзе. Тот позвонил в гараж, потом вызвал телефон своей квартиры: Медведев отметил в уме и эту подробность: так и есть — зарезали они этого Гололобова, а бабу этот дурак с собою приволок. Ну, и дела!

— Товарищ Гололобова, — говорил Чикваидзе в трубку. — С вами говорит Чикваидзе, да, да, я знаю, не прерывайте, пожалуйста. За вами приедет авто, так вы с ним приезжайте сюда, очень важный разговор, тут приехал товари . . .

Но даже не поднимая глаз, Чикваидзе почувствовал запретительный взгляд Бермана — тут приехал один товарищ из Москвы . . . ну, да, потом расскажете, не прерывайте, пожалуйста, приезжайте сейчас же. Ах, я же вам сказал — потом расскажете — Чикваидзе раздраженно положил трубку:

— Минут через пять она будет здесь.

— Так что же все-таки с Гололобовым? — нейтрально спросил Медведев.

Чикваидзе развел руками:

— Пошел на охоту и не вернулся — может быть, найдут; поиски еще продолжаются . . .

— Да, у вас там — занятная станция, — сиронизировал Берман. — Какая гипотеза создалась по этому поводу лично у вас?

— Я вам, товарищ Берман, уже докладывал, что . . .

— Да, вы докладывали гипотезу Гололобовой. А ваша собственная?

Чикваидзе слегка развел руками. Берман закурил еще одну папиросу, и в комнате наступило молчание, которого не смел прервать ни Чикваидзе, ни даже Медведев. Снова раздался тонкий звонок — и в рамке двойных дверей показалась товарищ, она же мадам Гололобова.

По дороге — от квартиры Чикваидзе до дома №. 13 — Гололобова пережила ряд довольно стремительных ощущений. На автомобиле она ездила первый раз в жизни. Огромная блестящая машина, неслышной стрелой мчалась по пыльным улицам Неелова и казалась Гололобовой символом, той, новой,

„образованной" жизни, в которую введет ее Чикваидзе. „Товарищ из Москвы!" Видимо, какая-то шишка! Наконец-то ей удастся показать и настоящее образование и вообще..." Сопровождавший Гололобову лейтенант государственной безопасности соскочил у подъезда дома №. 13 и услужливо распахнул дверцу автомобиля: совсем, как в кино. Потом Гололобова проследовала через длинную вереницу каких-то корридоров и очутилась на пороге Медведевского кабинета. Следы бурно проведенной ночи — а, может быть, и дня — были наскоро замазаны чем попало. Тонкий сивушный запах перегара был кое-как затушеван дешевой парфюмерией. Парадная блузка распирала тучный бюст. „Ну, нет—подумал с некоторым разочарованием Медведев — из-за этакого чучела никто никого резать не станет".

— Здравствуйте, товарищи, — веселеньким голоском сказала мадам Гололобова, — очень мне приятно.

Даже Медведев — и тот удивился: никто никогда и никакой приятности в этой комнате не испытывал и уж, конечно, не выражал. Удивление Медведева возросло еще больше от неожиданно любезного тона Бермана.

— Заходите, заходите, товарищ Гололобова, — сказа он, — усаживайтесь вот сюда.

Мадам, она же товарищ Гололобова, теребя в руках свой допотопный ридикюль и не зная к кому именно ей следует обращаться — вертела тазом посредине комнаты и потом ни с того ни с сего сделал что-то вроде книксена. „Ну, и дурища же, прости Господи", — подумал Медведев.

Гололобова своим женским глазом сейчас же установила тот факт, что Чикваидзе — невеликая, оказывается, шишка. Вот сидит на самом краюшке стула. Самый начальник, видимо, вот тот здоровый, за столом сидит такой важный и все молчит. А этот шибзик — надо думать — секретарь или что там. Мадам Гололобова жеманно присела на край кресла.

— Ну, что это у вас там делается, товарищ Гололобова? — самым дружеским тоном спросил Берман.

— Ах, и не говорите. Один ужас, ужас! Я и сон совсем потеряла — такая стала нервная...

— Ну, расскажите же нам подробно, — мы вместе, может быть, кое-как и разберемся...

— Ах, я, конечно, но что же я могу, я только думаю, что...

За время, проведенное товарищем Гололобовой в размышлении, вишневке и кровати ее гипотеза обросла кровью, плотью и даже штанами. В ней смешались и личные переживания Гололобовой и редкие впечатления от кино и скудная пестрота

воображения, засушенного годами таежной жизни. Сейчас даже Чикваидзе ругал самого себя самыми последними словами, имевшимися в его грузинско-русском словаре: как он мог принять всю эту нелепицу мало-мальски всерьез. Но Берман выслушивал всю эту нелепицу с самым серьезным и участливым видом и только время от времени перебивал Гололобову вопросами:

— А вы с Жучкиной были хорошо знакомы? . . .

— Ну, какое там знакомство — женщина совсем без понятиев, так по соседству, там что по хозяйству одолжить или . . .

— А вы ее девичью фамилию знаете?

— Ну, это когда Жучкина девицей была, — она и сама забыла, эта Дунька, как только увидит мужчину . . .

— Но девичью фамилию вы все-таки может быть знаете?

— Как же — это я знаю: Дубина будет эта фамилия.

— И знаете, может быть, где именно живет ее семья?

— Это я, вправду, не могу сказать. Где-то у сойотов, в тайге, на заимке, недели две, или больше, от нас ходу — так Дунька говорила — она вообще все против советской власти выражалась.

— А как именно выражалась?

— Ну, да всякое такое . . . и то ей плохо, и то ей нехорошо, и в Бога верила, и иконы на стенах . . .

— А не было там фотографии ее семьи?

— Как же, и фотографии были. Отец ейный — чемпионный такой мужчина.

— Как это вы сказали — чемпионный?

— Да, силач. Борода как у барана шерсть, мужик, видно, кулак из кулаков — поперек себя толще. У нас в Тамбове . . .

— Ну, о Тамбове мы как-нибудь после поговорим. Вы этого Дубина в лицо узнали бы? . . .

— Его-то? Его из миллиона узнать можно — плечи, как у медведя, борода, как баранья шерсть . . . Такой, если на ногу наступит . . .

— А этого Светлова — вы в лицо видали?

— Да, этого тоже видала, так через забор, можно сказать, по случайности, образованный такой, осанистый, обращение — тоже . . .

— Ну, а этого бы вы узнали?

— Его бы тоже узнала, бородка такая интеллигентная, не даром Дунька все языком трепала . . .

— А что же с вашим мужем случилось?

— А что ему делается? Пошел на охоту — попал под дождь,

завернул в какую-то заимку и хлещет там самогон. Проспится — вернется . . .

— А что — он сильно пил?

— Пил. Вы сами, товарищ, посудите, какая это жизнь для интеллигентной женщины, которая с понятиями: глушь, обазованого разговора . . .

— А Жучкин сам никогда не говорил о родителях своей жены?

— Говорил. Он — тоже выражался. Брошу, говорит, все, пойду к Дунькиному папаше, на заимке, там, говорит . . .

— А что, собственно, вы слыхали об этой заимке?

— А что слыхать-то? Ну, тайга, озеро там какое-то . . .

Озером Берман почему-то заинтересовался — но об озере Гололобова ничего путного сообщить не могла: большое озеро, рыба есть, река там какая-то. Люди подати китайцам платят, одна контрреволюция . . . По-медвежьи, видимо, живут — как раз для Дуньки . . .

— Все это очень интересно, товарищ Гололобова; ну, мы с вами еще поговорим. А пока, уж извините, тут у нас всякие дела еще, — Берман поднялся и протянул Гололобовой руку — а он даже и Медведеву руки не подавал. Чикваидзе сидел в недоумении. Неужели же Гололобова не такая дура, как даже и ему казалось? Гололобова сделала еще один книксен, ткнула через стол свою руку Медведеву и оглянулась на Чикваидзе.

— Ну, я потом . . . — неопределенно сказал Чикваидзе.

— Вы тоже можете итти, товарищ, — сказал ему Берман, — я потом вас вызову.

С сияющим лицом Гололобова покинула комнату. И вместе с ней вышел Чикваидзе.

— Ну, остался еще ваш Иванов — давайте и его сюда, — сказал Берман.

Иванов вошел подтянутой механизированной походкой, сдержанно поклонился Берману и Медведеву и стал почти на вытяжку, ожидая вопросов и распоряжений и всем своим видом показывая полнейшую готовность ко всему, чему угодно. Зрительные органы Бермана сейчас же сняли моментальную фотографию с ничего не говорящего лица товарища Иванова: „аппаратчик" — подумал Берман и почувствовал нечто, отдаленно напоминающее профессиональную солидарность: он тоже был аппаратчиком, человеком-винтиком, безраздельно верящим в силу организации, аппарата, администрации и вообще кузькиной матери со всем ее потомством. Разница была только в том, что Иванов был винтиком, а Берман — целым винтом — он то уж мог завинтить!

— Почему вам пришла в голову идея об изоляторе? — спросил Берман, тем же скудным жестом пальцев указывая Иванову на кресло. Иванов сел прямо, как кукла, и ответил кукольным голосом:

— В радиусе около пятисот километров нет ничего, что бы могло кого бы то ни было заинтересовать?

— А китайская граница?

— Беглецы через границу избирают или Темноводскую или Наринск — оттуда идут перевалы. Из Лыскова нужно сделать трехсотверстный обход или итти прямо через хребты.

— Но все-таки — можно пройти?

— С большим затруднением. Сейчас — может быть, и вовсе нельзя, в горах уже снег.

— А гипотеза о каких-либо золотых россыпях вам в голову не приходила?

— Для золотых россыпей нет необходимости вести бой с целым взводом — взвод не имел никаких шансов разыскать Светлова в тайге. Если бы речь шла о россыпях, то и Кривоносов не придавал бы всему этому такого значения.

— А он — придавал?

— Точно так.

— Гм . . . Расскажите, что это говорил Кривоносов относительно своей знакомой в изоляторе.

Страницы своего думсдейбук-а*) Иванов уже успел вызубрить заново. „Что у этого сукиного сына обо мне записано?" — подумал Медведев. — „Вот, пусть только Берман уедет, я уж этого Иванова возьму в оборот . . ."

Иванов кратко и механизировано передал скудное содержание своей записи: там какая-то Верочка, „шикарная женщина", как говорил Кривоносов. Берман перелистал в своей памяти списки заключенных нерчинского изолятора: Верочка, Вера? И потом его сразу осенило — не Вера, а Вероника, Вероника Сергеевна, жена вот этого самого Светлова, заложница по делу атомных профессоров. Ах, вот оно что! Это была очень существенная нить. И почему она шла от Кривоносова? Берман перебрал в памяти и то, что ему было известно о биографии Кривоносова, а ему было известно все, или почти все. Гипотеза Иванова не была новостью для Бермана: конечно, Светлов нацеливался на изолятор. Но Кривоносов был, конечно, новостью: жаль, что его трудно будет допросить . . .

— Вы, кажется, намекали на то, что у товарища Кривоносова была какая-то связь с этим бродягой — Степкой, или как там его.

---

*) Книга Страшного Суда — перечень добрых и злых дел.

— Никак нет, товарищ Берман. Я не намекал.

Медведев раздраженно пожал плечами:

— Вы, ведь, сами мне говорили?

— Смею доложить, товарищ Медведев, я излагал вам обстоятельства вечера; обстоятельства можно повернуть так, но можно повернуть и иначе.

— Н-да, — сказал Берман, — обстоятельства, действительно, можно повернуть! Но у вас все-таки такая мысль возникла?

— Конкретно говоря — не могу сказать определенно. Рассуждая в общем и целом, нужно констатировать, что не будучи поставленным в известность относительно генеральной линии данного события в его совокупности, определенные подробности могут дать несоответствующее освещение.

„Ишь ты, как его загнул" — подумал Медведев. Иванов, выдавив из себя эту тираду, продолжал сидеть кукла-куклой и не выражать на своем лице решительно ничего. Берман поднял брови — ого, этот, кажется, умнее, чем думает Медведев . . .

— Мы, товарищ Иванов, оставим стиль провинциальных передовых, — вы знаете, когда редактор пишет и не знает, что собственно ему следует писать. Говорите толком: есть ли какие бы то ни было факты, которые могли бы указывать на какую бы то ни было связь Кривоносова с этим Степкой?

— Здесь могут быть случайности, — сказал он неопределенно.

— Какие же именно?

— В рассуждении чисто отвлеченной конструкции товарищу Кривоносову ездить в Лысково незачем было вовсе.

— Почему вы так думаете?

— Потеря времени. Нужно было послать десяток самолетов на разведку и дивизион кавалерии. Для разговоров с Гололобовым — Гололобов с этим бродягой могли быть вызваны в Неелово!

В тоне Иванова внезапно и резко прозвучало что-то совсем новое: решительное и резкое. Но лицо продолжало сохранять свое деревянное выражение. Медведев почувствовал какую-то туманную угрозу с ивановской стороны: „Смотри, каким прытким оказался — оно, конечно, верно — если бы в тот же вечер послали и самолеты и кавалерию, то уже этого молодца вычесали бы наверняка — за день он мог уйти верст за тридцать. Теперь — ищи ветра в поле. Правда, к нему, Медведеву, все это не имеет никакого отношения — все дело шло мимо него. Иванов, кажется, начинает показывать коготки — а каким казался смирным! . . ."

Но решительные нотки в голосе товарища Иванова —

мелькнули и исчезли. На очередной вопрос Бермана: как он, Иванов, думает, зачем, собственно, Кривоносов взял с собою секретный пакет — Иванов ответил длинной канцелярской и решительно ничего не говорящей фразой. И, ответив, посмотрел на Бермана взглядом, в котором, казалось, ему, Берману, предлагалось решить самому: действительно Иванов такой уж дурак, как кажется, или не такой. Зрительные органы Бермана еще раз сфотографировали и Иванова и его тон и несомненную разумность его высказываний. Берман не любил дураков. Но он не любил и не дураков. Иванов мог оказаться слишком умным. И Берману никак не хотелось показывать того, что во всей этой истории его интересовало больше, чем пропажа Светлова, гибель Кривоносова, ограбление кооператива или даже судьба всего дома ном. 13 — вопрос о судьбе секретного пакета. Ибо в секретном пакете, как в кощеевом яйце*), была заключена и судьба самого Бермана.



Иванов был отпущен. Медведев снова остался лицом к лицу с Берманом — он предпочел бы иное общество. Берман закурил папиросу и, выпуская кольцами пряный ароматный дым, сказал, обращаясь куда-то в угол, между стеной и потолком:

— Так что вы, товарищ Медведев, никакой собственной гипотезы не имеете?

Медведев раздраженно повел плечами:

— Должен сознаться, товарищ Берман, что я поставлен в несколько двусмысленное положение: я отвечаю за отдел и за государственную безопасность во всем среднесибирском округе. Мои подчиненные получают предписания мимо меня, предпринимают действия, мне ничего не говоря.

— Да, вы, конечно, отвечаете, но отвечаете вы, товарищ Медведев, передо мной — так что это ничего не меняет.

На челюстных углах Медведева вздулись и исчезли желваки:

— Это верно только отчасти, товарищ Берман. Я отвечаю, к р о м е т о г о, перед ЦК партии, перед Политбюро и также перед товарищем Сталиным.

— Порядок проведения этой операции установлен самим товарищем Сталиным. Лично.

Медведев хорошо понимал: это могло быть так, но это мог-

*) Из народной сказки „Кощей Бессмертный". Он мог быть уничтожен только раздавливанием таинственного яйца, бывшего вне его достижения.

ло быть и иначе. Во всяком случае, заявление Бермана клало конец дискуссии о „порядке операции".

— . . . Кроме того, товарищ Медведев, если бы операция проводилась в другом порядке — то, вот, сейчас, несли бы ответственность и вы . . .

— Если бы операция проводилась в другом порядке, то я, вероятно, не взял бы секретного пакета на выпивку с каким-то Гололобовым, с Ивановым, с Гололобовой, да еще с каким-то бродягой.

— Можно предположить, что у Кривоносова были для этого достаточные основания.

— Но можно и не предполагать. У меня, во всяком случае, нет никаких данных ни для каких предположений.

— Но, у меня они есть. Вот что, товарищ Медведев. Я не все имею право сообщить вам, но кое-что — имею. Дело заключается в том, что этот тип Светлов — один из самых умных людей бывшей России.

— Почему бывшей?

— Ну, в нынешней есть и поумнее. Этот Светлов есть самая большая опасность для советской власти — большая, чем, например, м-р Черчилль. Вы понимаете?

Медведев не понимал. Опасность? Для власти, которая опирается на двадцать семь таких отделов, как его медведевский, на четыреста семьдесят три подотдела, на полтора миллиона „железных людей", включенных в железные ряды тайной полиции, на пять миллионов менее железных людей, включенных в ряды коммунистической партии, на танки, самолеты, газы. И на тот, плохо объяснимый даже для него, Медведева, факт, что вот, например, сегодняшний разговор его и Бермана — сегодня же вечером будет точно, стенографически известен кому надо в Москве! Опасность для советской власти? — Чушь. Такой организации мир еще не видал. И сам же он, Берман, ее строил — кому, как не ему знать всесокрушающую мощь этой машины? . . . Но что-то в этом Светлове должно, конечно, быть: зря, совсем зря, Берман таких фраз не кидал бы.

— Во всяком случае — Светлов исчез, — продолжал Берман. — Как именно это случилось — вопрос сейчас второстепенный. Следов нет никаких, но есть направление, к которому Светлов придет — это нерчинский изолятор — ваш Иванов догадался правильно — хоть секретного пакета у него не было. Почти одновременно с ним исчезли и Жучкин и Гололобов. Это может быть случайным совпадением — случайные совпадения бывают всегда, и потому они не совсем уж случайны. Единственный след, который у нас есть — это след Жучкина.

— Ну, этот адрес довольно расплывчатый.

— Не скажите. Мы знаем: имя, фамилию, внешность, приблизительное место: Урянхайский край и приблизительное описание местности: озеро — вероятно, сравнительно большое, и река. Этот адрес мы имеем возможность уточнить. Вы, товарищ Медведев, завтра же отправьте по всей пограничной полосе, скажем, двести — триста патрулей, которые должны нам переловить и доставить сюда, скажем, пятьсот — семьсот всякого рода бродяг, охотников, промышленников, старателей, контрабандистов и прочей такой публики. Мы их здесь возьмем в оборот — пару десятков, может быть, расстреляем — остальные кое-что скажут.

Медведев слегка повеселел. Вот это было по его линии. Он любил действовать массой, силой, кулаком. В заговорах и умозаключениях он чувствовал себя не в своей тарелке: „точно баба за клубком ниток", так формулировал он более тонкие методы сыскной работы.

— Слушаюсь, товарищ Берман, будет исполнено.

Берман еще раз посмотрел в угол, между стенкой и потолком, и спросил тоном, в котором проскользнуло нечто, не вполне официальное:

— Ну, а как Кривоносов? Плох?

— Так точно. Кажется, воспаление брюшины.

— В бреду был?

— Точно так.

— Стенограмма у вас?

— Никак нет — отправлена в Москву, я предпологал, по вашему требованию.

— Н-да, но я думал, что вы копию оставили.

— Никак нет. Там вздор какой-то.

— Ну, не скажите.

Стенограмма бреда товарища Кривоносова не казалась сплошным вздором и самому Медведеву. Кроме того, копию ее он все-таки имел — мало ли на что может пригодиться? В бредовом вздоре Кривоносова мелькали какие-то имена, которые знающему человеку могли сказать многое — Медведеву они не говорили ничего. Пока.

— Я здесь задержусь несколько дней. Прикажите очистить для меня комнату №. 17. Я пройду сейчас туда. И вызовите главного врача . . .

ПРИГЛАШЕНИЕ

Берман прошел в комнату №. 17, уселся за огромный письменный стол, достал из своего портфеля маленький футляр,

из футляра такой же маленький и такой же никеллированный шприц, отпилил головку у ампулы, набрал в шприц два кубика бесцветной жидкости, засучил рукав, вонзил иглу в свою смуглую пергаментную кожу — и откинулся на спинку кресла со вздохом облегчения. Все эти годы — много лет — он работает на предельных скоростях, на предельном напряжении воли и ума. Вот и случаются ошибки — вот доверялся этому Кривоносову. А каждая ошибка может стоить головы... Годы, правда, выработали почти безошибочную и уже почти инстинктивную реакцию, быстроту и точность дикого зверя. Но сейчас, почти на финише... Берман мало заботился о наследниках и потомках, о „суде истории" и о всяких таких вещах в том же роде. В сущности он мало заботился и о своей жизни: жизнь без власти была бы бесцельной и пустой. А путь к власти требовал чудовищного расхода жизненных сил.

Берман закурил папиросу. И, как это он делал в особо запутанных случаях, попытался представить себе графически, но в трех измерениях, соотношение основных, самых основных, бесспорных, самых бесспорных фактов. Бесспорными и основными фактами были: приезд Светлова на станцию Лысково, его исчезновение, исчезновение товарища Жучкина, истребление взвода, приезд Кривоносова, инцидент с бродягой и исчезновение портфеля. Оставались неясными: что именно заставило Светлова высадиться именно в Лыскове и что побудило Кривоносова приехать туда. Этот майор Иванов во многом прав: во-первых, только изолятор давал ответ на вопрос о Лыскове и, во-вторых, Кривоносову в Лысково ездить было незачем: для погони за Светловым и его вероятными сообщниками нужна была авиация, а вовсе не личный приезд. Слегка осложняющим моментом было то обстоятельство, что Кривоносов взял с собою Иванова. Правда, в данном учреждении ответственный работник имел своего переменного двойника для соглядатайства и контроля, но от Иванова Кривоносов все-таки мог бы и отделаться. Однако, может быть, Иванов ему был нужен, как ширма, которую он проектировал как-то обойти: делая все на виду у Иванова, кое-что сделать и не на виду. Вероятно, прав Иванов и по части Вероники Светловой: если это так, не исключена возможность, что Кривоносов вовсе не собирался ловить Светлова, а только хотел установить с ним контакт. И в качестве некоей гарантии — передать Светлову компрометирующие его, Бормана, документы.

Все это находилось в пределах логической возможности. Но в эти пределы бродяга укладывался плохо. Он мог бы быть посланцем Светлова, — но тогда он в Кривоносова стрелять не

стал бы. По многолетнему своему опыту Берман знал, как часто в самые безукоризненно разработанные планы вторгается какая-то нелепая случайность, путает эти планы, но еще больше путает человека, пытающегося распутать узел этих планов. С точки зрения этого человека, случайность входит в план, и тогда план оказывается необъяснимым логически. Бродяга мог быть случайностью. Выстрел тоже мог ею быть. Могли быть сообщники, прикрывавшие отступление бродяги и так сказать, превысившие свои полномочия. Да и бродяга, запасшись от Кривоносова и прочих всякой добычей, мог предпочесть не иметь больше никаких дел ни с Кривоносовым, ни со Светловым. И, наконец, как самое маловероятное, но все-таки не исключаемое — могла быть случайность в ее химически чистом виде: несчастный случай при обращении с оружием.

На столе раздался тоненький звонок. Берман нажал кнопку. Главный врач отдела, кругленький, жовиальный человек с маслянистыми и наглыми глазками неслышно вкатился в кабинет. Глазки выразили восторг при виде товарища Бермана, — но на товарища Бермана этот восторг не произвел никакого впечатления. Юркий нос врача уловил почти неуловимый запах чего-то, вроде морфия, и диагностирующий взгляд на глаза и щеки товарища Бермана подтвердил обонятельное впечатление . . .

— Я к вашим услугам, товарищ Берман, но только, как врач, должен вас пожурить — нехороший у вас вид, товарищ Берман, совсем нехороший, перерабатываетесь. Я всегда говорю: отдых, отдых и отдых . . .

Холодный насекомый взгляд товарища Бермана прекратил дальнейшее словоизлияние. Доктор сел в кресло, из кармана его белого халата высовывался стетоскоп, от всего несло духами — очень хорошими, сигарами — тоже очень хорошими и чем-то вроде коньяку — но не сильно.

— Как Кривоносов? — лаконически спросил Берман.

— Собственно говоря — агонизирует. Чациес гиппократикус. Думаю, до завтра мы его продержим.

— Сейчас — без сознания?

— Почти. Временами приходит в себя.

— Так. Мне нужно его допросить. Дайте ему инъекцию первитина, кубиков этак пять . . .

Жовиальное выражение исчезло с лица товарища доктора. В маслянистых глазах отразились сдержанность и испуг . . .

— Это — почти отравление, смею доложить, товарищ Берман.

— Я это и без вас знаю. Действия пяти кубиков хватит на час?

— Я думаю — часа больной не проживет . . . Конечно, в случае инъекции.

— Мне достаточно полчаса.

Доктор беспокойно заерзал на своем кресле . . .

— Могу я, товарищ Берман, просить о письменном приказе?

— Это — от м е н я ? — Насекомые глаза выползли из своих впадин — доктор почувствовал себя, как кролик перед боа-констриктором . . .

— Вы понимаете, товарищ Берман — я только в порядке службы; товарищ Кривоносов — ответственный работник, в конце концов, абсолютно безнадежных положений все-таки не бывает; ну, редко бывают при молодом сравнительно организме, — посмотрев в глаза товарища Бермана, доктор запнулся окончательно. Берман поднялся.

— Ну — проводите меня к Кривоносову и несите ваш первитин . . .

Кривоносов лежал в отдельной — „привиллегированной" — палате тюремной больницы — узкой комнате с выкрашенными масляной краской стенами, с решеткой на окне, только кровать и постель указывали на его привиллегированное положение. Он равнодушными отсутствующими глазами посмотрел на Бермана и врача и закрыл их. Берман взял стул и сел у кровати. Кривоносова трудно было узнать даже при феноменальной памяти Бермана на лица. Запекшиеся губы слегка шевелились, как будто желая и не желая сказать что-то самое важное и самое последнее. Прозрачные руки лежали поверх одеяла. В одну из них доктор вспрыснул лошадиную дозу первитина.

— Подействует через пять-десять минут, — сказал он.

— Хорошо — можете итти.

Берман закурил папиросу и стал ждать. Сейчас первитин как бичем, подхлестывает умирающее сердце для его последних сумасшедших скачков. Через полчаса — час все будет кончено. Но на эти полчаса Берман должен собрать в один кулак все свои мозги и всю свою волю. Кривоносов знал слишком много. Что он выболтал в бреду? Что он делал не в бреду? Что сделал он с секретным пакетом? И был ли вообще этот пакет в его портфеле? Берман смотрел на кольца дыма из своей папиросы и ставил себе ряд вопросов, на которые ответа еще не было. — И были ли эти ответы вообще?

Когда Берман отвел глаза от своей дымовой конструкции —

он обнаружил, что Кривоносов смотрит на него — смотрит в упор, сознательным, ясным, ненавидящим взглядом.

— Пришли, так сказать, отдать последний долг покойному? — Голос Кривоносова был слаб, но ясен.

— Покойником вы станете на много позже, — сказал Берман, — вас вылечат.

— Вот — этой инъекцией?

— Не только. Но я пришел не с этим. Мне нужны ответы на два вопроса: во-первых, зачем, собственно, вы поехали в Лысково, и, во-вторых, — где секретный пакет?

Кривоносов, вместо ответа, спокойно сказал:

— Будь ты проклят. Да будете прокляты вы все.

Проклятия были для Бермана так же безразличны, как и благословения — но отчего это старый партийный работник вдруг заговорил библейским языком?

— Это, товарищ Кривоносов, вы сами понимаете, не ответ. Я вам кое-что доверил, не все, конечно. Вы, кажется, этим доверием злоупотребляли. Но рассчет ваш плох. Вы понимаете, что я сейчас миндальничать не собираюсь. Вы не хотите ответить добром — ответите иначе.

Кривоносов пошевелил пальцами вытянутой над простыней руки, как будто что-то считая на этих пальцах.

— Мне, по всей вероятности, осталось жить около получаса. Если вы станете меня пытать — этот срок сократится на половину. Пятнадцать минут я все-таки выдержу. Я вам не скажу ничего.

Берману стало ясно самое главное. Кривоносов изменил. Берман собрал все свои силы.

— Значит — не скажете?

— Не скажу.

— Я вам даю три минуты. Через три минуты я позвоню.

Кривоносов усмехнулся:

— Не позвоните.

— Почему нет?

—Беру свои слова обратно. Под пыткой я буду говорить. Но ведь меня услышите не только вы.

Немногочисленные кровяные шарики, блуждавшие на губах товарища Бермана — вырнули вглубь — губы стали серыми, как зола. Берман откинулся на спинку стула, вдохнул как можно больше воздуха — воздуха ему как-то стало не хватать, и стал оценивать. Негодовать не было смысла. Это шахматный матч. Но, кажется, королева потеряна. И если Кривоносов не врет — это может означать конец матча — слегка безвременный конец. Почти машинально Берман нащупал

кольцо на среднем пальце левой руки — в кольцо, под печатью, была заделана порция цианистого калия. Цианистый калий дал некоторое облегчение: ну, это я всегда успею...

Берман гордился своим знанием людей. И он их, действительно, знал. Но — не всех. Он знал людей, которыми можно было управлять, потягивая проволочки ненависти, страха и жажды власти. Кажется, говорят, что есть и другие люди — но Берман их если и встречал, то только вот, как сейчас на самом пороге их смерти. Что хотели они — эти романтики, сентименталисты, глупцы и мечтатели? Что хочет теперь Кривоносов?

С холодным ужасом Берман ощутил свое полное бессилие: Кривоносов был человеком, которому действительно нечего терять и которому ничто в мире не могло угрожать. Даже и пытка! Берман понял тоже и то, что он не может уйти из комнаты, пока Кривоносов не помрет окончательно: что будет, если Кривоносов начнет говорить в присутствии других людей? Берман пожалел о своей физической слабости: если бы он был сильнее, он стал бы ломать пальцы, выворачивать суставы... Полчаса Кривоносов еще будет жить — за полчаса многое можно бы узнать. Но Берман тщедушен, а Кривоносова возбодрил первитин. Начнет кричать, прибежит больничная прислуга...

Кривоносов полностью наслаждался последним получасом своей жизни. Он не боясля ничего. Может быть, первый раз в своей жизни не боялся ровно ничего.

— Так вот, товарищ Берман. Моя игра сыграна. Теперь — ваша очередь. Не знаю, сколько вам еще осталось стоять в этой очереди. Кажется, недолго. Да, я там что-то в бреду говорил, не знаю, что. Может быть, что-то говорил. Может быть, товарищ Сталин уже знает?... Не повезло... Опоздал... Случайность...

Мысли работали со страшной быстротой и отчетливостью. Кривоносов был, конечно, ошибкой, но, еще, вероятно, поправимой. Эти бывшие герои гражданской войны, которые шли на смерть — они тоже романтики. Но все-таки — во имя чего изменил Кривоносов — не во имя Бога же, в самом деле? Такой гипотезы Берман никак принять не мог. Как и кому он мог передать роковую записку? И — с какой целью? Ведь сделал он это не на смертной койке. Значит — как-то рассчитывал заранее. Что он мог выиграть? Кто мог его запугать? И вдруг новая мысль мелькнула в возбужденном мозгу Бермана.

Берман еще раз собрал свои силы. Закурил еще одну папи-

росу. Посмотрел еще раз на часы: минут двадцать еще остается. Сейчас его голос был также безличен и спокоен, как всегда.

— Я боюсь, Кривоносов, что вы давно стали с ума сходить. Вы правы: вам я ничего уже сделать не могу. Но вы, кажется, знаете такую Веронику — из нерчинского изолятора.

Кривоносов откинулся на подушку. Лицо его дергалось гримасой ужаса и бессилия... Берман сидел молча и ждал. Губы Кривоносова дрожали мелкой дрожью... Берман испугался, как бы конец не пришел слишком скоро.

— Так вот, — резюмировал он холодно: или судьба пакета, или судьба Вероники...

Лицо продолжало дергаться в судорожной пляске. Потом, как-то сразу, пляска прекратилась. „Не помер ли уже?" — испугался Берман еще раз. Но через минуту Кривоносов заговорил — тем же холодным и безличным тоном, каким только что говорил Берман.

— Нет, никакого пакета, не скажу ничего. Веронику пусть хранит Бог.Вы ее будете или не будете пытать — в зависимости от того, нужно или не нужно вам. Через час меня не будет. Некому будет ни мстить, ни угрожать. И, потом, еще неизвестно — на много ли вы, товарищ Берман, переживете меня.

— В вас этот Степка стрелял?

— Доискивайте сами. Кто стрелял, тот и стрелял. Пусть перед Богом отвечает — за меня небольшой ответ. А ты — Кривоносов снова повернулся к Берману — ты будешь жить и будешь пищать и будешь твоего черного бога молить, чтобы он послал тебе твою черную смерть. И — Бог подождет... И будет тьма и скрежет зубовный... Тьма, тьма. Дыра. Черная, черная дыра...

Кривоносов стал бредить. У Бермана были стальные нервы — или, может быть, не было вовсе никаких. Но сейчас ему стало жутко. Морфий и первитин, страшное наследство умирающего — пакет, переданый в чьи-то руки — может быть, и в самом деле светловские? — угроза, все значение которой Берман понимал без всяких иллюзий. Этот агонизирующий человек, которого Берман пытался поставить во главе с в о е й линии на всю Среднюю Сибирь... Папироса в руках Бермана начала дрожать. Из груди Кривоносова раздавался уже только хрип — страшный предсмертный хрип. Берману хотелось бежать, куда глаза глядят — но он знал: этого н е л ь з я. Будет еще какой-то рецидив сознания, придут какие-то другие люди — и тогда? Нет, нужно пересидеть до конца.

Берман сидел, закуривая одну папиросу о другую, сплетал

и расплетал в своем паучьем мозгу одну гипотезу за другой. Кривоносов успокаивался все больше и больше. Наконец, както вздрогнув всем телом, умирающий вытянулся и замер окончательно. Гиппократово лицо*) получило окончательное спокойствие смерти. „Ну, еще минут десять подожду" — подумал Берман . . . И вдруг, на этом, уже мертвом, лице открылся один, обращенный к Берману глаз, — спокойный и ясный, уже какой-то потусторонний, и голос, который раньше был голосом Кривоносова, сказал спокойно, ясно и раздельно:

—„Пойдем вместе", — и замолк.

Берман почувствовал, как капли холодного пота выступили у него на лбу. Нет, сегодняшний день принес слишком много даже и для его нервов. И, вот еще: это предсмертное-то ли приглашение, то ли приказ, то ли пророчество? Конечно, чушь, но все-таки . . . Берман не мог больше ждать. Наклонившись над умирающим, своей паучьей рукой он зажал ему рот и нос. Тело чуть-чуть задрожало — какая-то капля жизни еще теплилась — еще, может быть, минут на пять, но Берман боялся, что он не выдержит и пяти минут. Паучья рука душила цепко. Минуты через две не оставалось уже никаких сомнений: Кривоносов был мертв окончательно. Берман все еще не отпускал руки, напряженно считая секунды, как считают их фотографы: двадцать-один, двадцать-два, двацать-три . . . Еще двадцать секунд. Кончено.

Берман оглянулся на стенку — где звонок? И еще раз подумал: нет ли микрофона? Но полуоблупившаяся краска стены не демонстрировала никаких подозрительных мест — Берман уж знал, как и где ставятся микрофоны. Он надавил кнопку звонка — и почти сейчас же в распахнутую дверь вкатился главный врач: как будто он стоял под дверью и только что и ждал, что этого звонка. А, может быть, подслушивал?

СТЕПКИНЫ ПОХОЖДЕНИЯ

Прежде чем погасить лампу в комнате супругов Гололобовых, Степка с совершеннейшей степенью точности установил месторасположение всех интересовавших его предметов: портфеля, бинокля, какого-то чемоданчика, в котором могло бы быть кое-что подходящее, и даже куска сала на столе. И как только свет исчез — Степкины руки полезли по нужным направлениям с истинно обезьянньей ловкостью — одна рука ста-

---

*) Болезненные судороги лица перед смертью.

щила портфель, другая — чемоданчик, и так как третьей руки не хватило, то, нагнувшись над столом, Степка ухитрился схватить зубами кусок сала за ту веревочку, на которой сало обычно копят. На крыльце ему предстояло еще подобрать свою берданку и свой мешок. Со всей этой поклажей Степка справился более чем удовлетворительно. Но когда ему пришлось стрелять — поклажа дала себя чувствовать — иначе бы весь заряд угодил в кривоносовский живот.

Выстрелив, Степка лихорадочно перезарядил берданку и стал ждать. Он учел и звон разбитого стекла и ругань Кривоносова, и стук запираемой двери и, наконец, зажженную и погашенную спичку: пока за ним еще не побегут. Но могут организовать облаву: согнать лысковских мужиков и послать их в поиски его, Степки. Мужиков он не боялся — те потопчутся, потопчутся по тайге и, переждав нужное количество времени, с разочарованным видом вернутся в сельсовет. Комсомольцы были хуже — начнут, сволочи, играть в казаков-разбойников — могут и поймать. Поэтому — лучше было не застаиваться здесь. Присев на корточки, Степка перераспределил свое старое и вновь благоприобретенное имущество: сало запихал в свою сумку, чемоданчик привязал к ее передним ремням, бинокль надел на шею, портфель взял подмышку — портфель был велик и тяжел. Пошарил руками по земле — не обронил ли чего-нибудь, и стал медленно двигаться, нащупывая ногами колеи дороги и соображая, каким именно путем он сюда попал.

Попал он сюда, несомненно, в пьяном виде — от этого географические представления Степки были несколько туманны. Но его таежный инстинкт отмечал все подробности пейзажа и без его сознания. Выходило так, что нужно было пройти по дороге еще шагов пятьсот, а там дорога расходилась и в верстах трех был запрятан конь. Степка прошел эти пятьсот шагов и снова стал ждать. Таежная жизнь учит многому, терпению в особенности. Степка присел на край дороги, посмотрел на небо, — на востоке оно стало чуть-чуть бледнеть, потом услышал стук дрезины и отметил полное отсутствие каких бы то ни было иных звуков, могущих навести на размышления. Еще через час на фоне бледнеющего неба стали обозначаться силуэты деревьев, и Степка опознал тот участок дороги, который он сюда прошел в трезвом виде. Дальнейшее не представляло никаких затруднений. Шагая бодро и оптимистично, Степка разыскал своего коня. Конь, казалось, был очень доволен появлением хоть кого бы то ни было и приветливо заржал.

— Ну как, отдохнул, Лыско? — фамильярно спросил его

Степка. Конь, казалось, был вполне доволен своим новым именем. Пожевал губами, понюхал степкин воздух, отдававший потом, сивухой, махоркой и чем-то еще другим — более или менее знакомым — и успокоился окончательно. В полутьме Степка навьючил на Лыску все свое имущество, переменил свою берданку на военную винтовку и не без некоторого огорчения убедился, что самому ему сесть уже некуда.

— Знаешь что, Лыско, пойдем-ка мы пешком. И ты пешком и я пешком.

Лыско согласился и на это. Степка взял в одну руку повод, в другую винтовку и зашагал в том направлении, которое обещало наименьшие шансы для какой бы то ни было встречи. Кто его там знает: будет облава, не будет облавы, а вот ежели верст тридцать-сорок отбарабанить — оно все таки будет спокойней. До наступления окончательного рассвета Степка шел по дороге, потом свернул в таежную заросль и шагал верст по семи в час своими волчьими ногами. Лыско покорно трусил сзади.

На душе у Степки рос голубой оптимизм: вот как пофартило! В один день обтяпал — и мертвых красноармейцев и живого комиссара. Степку особенно интриговал портфель. На ощупь в нем было что-то сильно напоминавшее бутылку — но Степка решил не задерживаться: все равно успеется . . .

Рассвет начинался туго и хмуро. Привычный степкин нос чувствовал непогоду. Утро обнажило хмурое небо и черную тяжкую тучу, заволокшую весь запад. Степка никак не хотел мокнуть. Шмыгая глазами по тайге, он скоро обнаружил сваленный бурей ствол, лежавший над обрывом небольшой таежной речки, быстро развьючил и стреножил коня, нарубил топориком еловых и можжевельных лап, из которых быстро возник шалашик — такой, какой, вероятно, сооружали степкины предки лет этак тысяч десять тому назад. У входа в шалашик Степка развел костер, разулся, снял с себя штаны и полез в воду. Быстро и привычно, как свои собственные карманы, обшарил какие-то коряги, омутки, дыры по берегу и, наконец, извлек здоровенного налима, который до того был удивлен степкиным нахальством, что только усами шевелил. В налиме было фунтов пять — „вот и уха в порядке" — констатировал Степка.

По верхушкам тайги, как предтеча дождя, прошел глухой и тревожный ветер. За ветром — последовали капли дождя — сначала редкие, а потом все чаще и чаще. Степка еще раз освидетельствовал свой бивуак: нет, все было в самом лучшем виде, даже и костра дождь не зальет. На костре добулькивал

котелок с изумленным налимом. Лыско подобрался под навес гигантской ели и смотрел на Степку сочувственным взглядом.

Степка, наконец, приступил к учету своего имущества. В чемоданчике оказалась всякая ерунда: белье, мыло, бритва, — не стоило и тащить. Но портфель не обманул степкиных ожиданий: в нем в самом деле оказалась бутылка — и не какая-нибудь, а литровая. Откупорил бутылку: от жидкости явственно несло водкой и не какой-нибудь, а особенной — такой водки Степка еще не видывал. Степка отхлебнул: ох, здорово — и крепко и вкусно. Там же оказались коробки три консервов, патроны к пистолету, еще бутылка — поменьше — Степка проанализировал и ее — в бутылке оказался спирт. Был бумажник — толстенный такой, здоровый и в бумажнике — целая уйма денег — такой уймы Степка в жизни своей не видал. Он стал считать, но скоро сбился. Потом был какай-то конверт из хорошей плотной бумаги.

Большой эрудицией Степка не отличался, и надпись на конверте мог разобрать только по складам: совершенно секретно... Товарищу Кривоносову. —Комиссар, — подумал Степка. Степка открыл конверт. Там было несколько бумажек. На одной из них — побольше и поплотнее — стояли в углу малопонятные буквы: НКВД и СССР. В другом углу была наклеена фотография мужчины лет тридцати пяти, вооруженного небольшой русой бородкой, серыми пристальными глазами и вообще очень образованным видом. Степка стал разбирать бумажку. Из ее содержания Степка — с большой затратой умственных способностей—выяснил, что за поимку изображенного на фотографии дяди — Валерия Михайловича Светлова советская власть дает награду в . . . . . рублей. Рублей было что-то очень много: стоял кол и около кола Степка насчитал пять нулей. Попытки перевести эти пять нулей в привычную для Степки водочную валюту окончились неудачей. „Тут должно быть столько-то тысяч" — тысяча была предельным математическим достижением Степки. „Если, скажем, на тысячу идет сто литровок, то куда же я такую уйму дену? Перебьется по дороге".

Дальше следовало подробное описание фотографического дяди: рост — выше среднего — в скобках стояло 182 см. Потом шел нос, рот и все такое. Было также сказано о том, что лицу, указавшему на возможное местонахождение указанного Светлова будет выдана половина награды — даже половина выходила за пределы степкиного воображения. Вот этакого глухаря подцепить бы — подумал Степка, — но сейчас же отбросил мысль, как явно непригодную ни для чего . . .

Были еще какие-то бумажки, из них Степка не мог понять уж вовсе ничего.

Человеческая мораль устроена довольно капризно. Для готтентота, например, чужая украденная корова составляет благо, а своя украденная — зло. Чуть-чуть выше стояла мораль товарищей Вронского: карточные долги людям платить нужно было обязательно — это были долги чести. А трудовые долги бедным людям—например, портному—можно было не платить — это не были долги чести. Степкина мораль была где-то посередине. Подстрелить в тайге человека — было вполне позволительно, но выдать какого бы то ни было человека какой бы то ни было полиции казалось Степке истинно чудовищным преступлением, попиранием всех божеских и человеческих законов. Поэтому Степка совсем было собрался бросить в костер и конверт и бумажки, но потом, по таежной привычке подбирать всякую дрянь (мало ли на что может пригодиться!) засунул их обратно в портфель.

Уха была готова. Дождь начинал лить, как из ведра. Степка стал устраиваться так, чтобы переход от бодрственного состояния ко сну потребовал бы наименьшего количества усилий. „Водка" была очень хороша, ишь, как в нос шибает. Настроение было радостным и светлым. Если бы философы всех эпох и народов мира имели бы возможность заглянуть в эту таежную яму — они обнаружили бы в ней совершенно счастливое человеческое существо. Степка хлебал уху и коньяк и предавался мечтаниям.

— Вот, брат Лыско — теперь мы, значится, заживем с тобой на самый полный ход! Будем, брат, глухарей бить, рыбу ловить, и по тайге шататься от коопа к коопу. Жаль только, что бидона нету, бутылка того и гляди разобъется, а то бы прямо в бидон литров так с десять. Ничего, Лыско, и бидон раздобудем, ты, брат, не тужи, все будет. А зимой — к куму подадимся. У кума, брат, благодать — заимка, ульи есть, самогон из меду гонят — за-мечательный, брат, самогон — вот, вроде этой водки.

...Так Степка с Лыской начали вести истинно райский образ жизни. От коопа к коопу. Степка оставлял Лыску в тайге, — со всем своим скарбом, брал с собой только то, что было на нем до счастливого дня, когда были обнаружены мертвяки, и только те неисчерпаемые 37 рублей 50 копеек, которые никому никаких подозрений подать не могли. Закупал соответствующий запас горючего — и по вечерам, у костра, вел длинные душеспасительные беседы с Лыской. Лыско слушал внимательно и сочувственно, похрустывая своей травой и одобри-

тельно помахивая хвостом. Степка рассказывал то о своих скитаниях в тайге, то живописал будущую разновидность рая — у кума на заимке. С каждым вечером и с каждой бутылкой кум этот обрастал все новыми подробностями, и скитания — все новым враньем. Но Лыско был очень снисходительным слушателем и не пытался ловить Степку даже на самых вопиющих противоречиях. Временами у Степки возникали и более фантастические проекты: вот, купить земли и срубить избу. Но к избе непременно надо бабу — какая же изба без бабы? А ежели уж бабу завести — ну, это не дай Господи, — будет каждую бутылку считать, да в рот глядеть. Нет, к чорту избу, зиму у кума проведем. У кума, брат ты мой Лыско, — медовый самогон какой!

Степка вернулся в тот рай, который, по всей вероятности, существовал еще до сотворения Евы и прочих беспокойств. Но этот рай, к сожалению, не был безграничен. Одна из кооперативных экскурсий Степки повернула всю его жизненную карьеру в совершенно непредвиденном направлении.

Степка только что купил четыре литра водки, распределил их в своей сумке и собирался отправиться домой — то есть к Лыске. Кооператив стоял в завалящей таежной деревушке, откуда, казалось, никакой неприятности произойти никак не могло. Однако — произошло.

— А ну-ка, дядя, катись-ка сюда!

Степка оглянулся и увидал, что к нему неторопливой походкой направляются два пограничника, а третий стоит в сторонке с винтовкой на изготовку. Степкино сердце екнуло — но только слегка. Он недолюбливал никаких представителей никакой власти. Но бояться было, собственно, нечего, разве только ночное приключение в Лыскове — да кто тут может что о нем знать?

Пограничники подошли к Степке.

— А ну-ка, покажь нам свои документы.

Степка показал свою единственную бумажку. Бумажка никакого впечатления не произвела. Вяло и без всякого интереса, исполняя давно заведенный порядок, пограничники обыскали Степку — ничего подозрительного. Выпотрошили сумку, заставили снять сапоги, порылись в карманах и обнаружили там казенный пакет из плотной серой бумаги, в который Степка сдуру завернул весь свой официально наличный капитал.

— А — э т о откуда? — сразу изменившимся тоном спросил пограничник.

— По дороге подобрал, чтобы, значит, деньги не мазались...

— По дороге? Это — секретный-то конверт? А, ну, пойдем вместе.

Степка оглянулся по сторонам: бежать было некуда. Паршивый третий пограничник стоял шагах в двадцати и держал винтовку на взводе. На широкой деревенской улице никакого прикрытия не было — нырнуть было некуда. С упавшим сердцем Степка пошел куда его повели.

***

Дом №. 13 переживал период бурной деятельности, наполнявший административное сердце товарища Медведева чувством энергии и жизни. Подъезжали автомобили, грузовики, вездеходы, привозили самый невероятный сброд, какой только когда бы то ни было появлялся в стенах этого благотворительного учреждения: золотоискатели, промышленники, контрабандисты, Иваны непомнящие своего родства, и манзы, не знавшие ни одного общепринятого языка, полудикие сойоты и бродячие торговцы спиртом, молчаливые искатели жень-шеня. Были русские и были китайцы, были ойроты и были сойоты. Были люди, относительно которых даже и их собственная мать не могла бы дать никаких указаний относительно их национального и социального происхождения. Вся эта орава вливалась в дом №. 13, наскоро распределялась по его бесчисленным одиночным камерам и потом подвергались допросу относительно местожительства мужика, по имени Еремей Дубин, сложения медвежьего, местопребывание где-то в пределах ста-двухсот верст от советско-китайской границы. Подавляющее большинство клялось и божилось, что с этим мужиком, если он и существует, они никогда и никаких дел не делывали. Другие отвечали мрачно, что всякий мужик в тайге шатается — кто его там разберет. Но среди нескольких сот опрошенных — пятнадцать дали довольно определенные указания. Беда было только в том, что эти пятнадцать человек дали пятнадцать разных указаний.

На стенке бермановского кабинета были развешены огромные карты воздушной съемки — но бродяги смотрели на эти карты, как баран на новые ворота. На картах, циркулем, были проведены кривые, с центром от ст. Лысково, со стрелками, указывавшими на самое вероятное направление и с сегментами, определявшими то расстояние от этой станции, о котором говорила товарищ Гололобова: недели две пути. Таким образом на карте был отмечен тот участок, на котором Дунькин папаша обязательно должен был бы быть, а с ним и Дунька и ее муж. В пределах этого участка красным карандашом бы-

ли отмечены места с озером и рекой. Возможность ошибки была сужена до довольно узких рамок. Бестолковые показания бродяг давали все-таки кое-какие указания. Но, в общем, район поисков охватывал местность в несколько десятков тысяч километров, так, размером со среднее европейское государство — прочесать эту местность было бы все-таки очень трудно. Надежды товарища Бермана начали таять, — и вот, в этот самый момент, ему было доложено о поимке неизвестного бродяги по имени Степана Иванова, и об обнаруженном при нем конверте. Система товарища Бермана начала давать свои плоды.

**
*

Введенный в бермановский кабинет, Степка не проявил никакого малодушия . . .

— Это ты тут начальство? — спросил он Бермана.

— Я.

— Так я тебя спрашиваю — по какому такому закону людей по тайге хватают, есть не дают, а во рту ни маковой росинки . . . Горло пересохши . . .

Холодный взгляд паучьих глаз товарища Бермана не произвел на Степку ровно никакого впечатления:

— А ты цыган, что ли, али жид, — спросил Степка, — что ты тут на меня буркалы вытаращил, видали мы и не таких . . .

Но и на Бермана степкина равязность тоже никакого впечатления не произвела. Берман позвонил по какой то особой кнопке — в кабинет вошел звериного вида мужчина.

— Дай ему по морде, — лаконически приказал Берман.

Звериного вида мужчина направился к Степке, привычным жестом занося назад свою убийственную длань. Степка мячиком отпрыгнул в сторону. Берман тормозным движением поднял руку.

— Ну, будешь теперь тут разговаривать? — спросил Берман.

Степка покосился на звериного мужчину.

— Не буду.

— Ну, так вот. Рассказывай, как это ты во взвод стрелял и товарища Кривоносова убил . . .

Степка оглянулся: за столом сидел Берман, на стенке висел Сталин, около Степки стоял звериного вида мужчина: никуда никакого ходу, даже и окна за решетками. Степка выложил все: как шли, как мертвяков нашли, как в трактире Красный Закусон было выпито — и вообще все. Степка рассказал живописно и довольно толково. Берман молчал, буравя Степку паучьими глазами. Степка покаялся во всем и даже подсчи-

тал, сколько именно казенных денег успел он пропить за краткий промежуток райской своей жизни. Берман поставил вопрос о конверте — Степка признался и в конверте — действительно, был такой.

— А что в конверте было? — спросил Берман.

За время повествования кое-какие смутные планы стали зарождаться в степкиной голове. Воровским своим нюхом он учуял, что и на деньги, и на Кривоносова, и на красноармейцев, Берману в высокой степени наплевать — а, вот, на конверт не наплевать.

— Какие то-сь бумаги, — неопределенно ответил Степка.

— Какие именно?

— А я не знаю — малограмотный я. Написано там что-то, а что . . .

— А где твои вещи остались?

— Да с конем, у Светло-Троицкого — ежели коня волки не задрали.

— Сможешь найти? . . .

— А то как-же? — Тусклый луч надежды блеснул в степкиной душе.

— Так вот, ты слушай: ты с провожатым поедешь к этому Троицкому и найдешь коня. Это раз. Второе: ты не видал или не слышал ли о мужике Еремее? — Берман повторил свой обычный вопрос. Степка почуял другой луч надежды. Ни о каком таком мужичке он никогда и слыхом не слыхал. Но, ежели бы слыхал, его может быть взяли бы в провожатые. А если бы взяли в провожатые — там было бы видно.

— Это надо подумать, — сказал Степка.

— Думай. Только не ври. А то за вранье у нас, — Берман показал на звероподобного вида мужчину. Степка покосился на его кулак.

— А мне — зачем врать? Есть такой Дубин, есть. За горой, там, — Степка махнул рукой по направлению сталинского портрета.

— По карте можешь показать?

В карте Степка кое-что понимал — но уставившись в огромный лист, закрывавший стену, Степка принял совершеннейшее баранье выражение. Его глаза отметили точку на Лыскове и все прочие линии — со стрелками и без стрелок, и место, где он был сцапан. Кое-что стало проясняться.

***

Стоя перед картой, Степка начал соображать, что если он хоть что-нибудь по этой карте покажет, то Берман, пожалуй, сможет обойтись и без него. А если он не покажет? . . .

Поэтому Степка продолжал стоять молча, глядя на карту прежним бараньим взором и взвешивая все за и против, какие только могли притти в его таежную голову.

—Ну, что, можешь по карте показать? — еще раз спросил Берман.

Степка решился окончательно.

— Малограмотный я, ничего тут не разобрать.

— Вот тут Неелово, — Берман показал пальцем на соответствующий кружок.

— Вот, тоже, сказал! Неелово, поди, верст пять в поперечнике будет, а тут, как муха насидела . . . А где тут тюрьма ваша нарисована?

Берман решил махнуть рукой на карту.

— Ну, а так, без карты, ты сможешь найти и коня и Дубина?

— Ну, это само собой. Я тайгу, можно сказать, наскрозь знаю. Где какая заимка, где-что . . .

— Ну, так вот: я дам тебе провожатых. Поедете на автомобиле, — пока можно будет проехать. Найди раньше твоего коня. Понял?

— Это — чего проще . . .

ТОВАРИЩ ПАРКЕР

Из кабинета товарища Бермана Степку отвели в общую камеру. Там было столпотворение вавилонское почти в самом буквальном смысле этого слова. Ойроты и тунгузы, китайцы и дунгане, русские и евреи, — все было перемешано в одну рваную и вшивую кучу, которою толково, с полным знанием тюремного дела, управляла полдюжина вороватого и пронырливого вида парней — это были профессиональные воры — урки. В углу камеры сидело несколько буддийских лам, молча погруженных в свои буддийские молитвы и не обращавших никакого внимания на суету окружающего мира.

Какой-то седобородый еврей убедительно доказывал одному из урок, что он-то решительно не при чем, — он просто — часовых дел мастер, и он просто приехал из Америки в еврейское государство — в Биробиджан.

— А, из Америки, говоришь, приехал?

— Ну, да, из самой Америки, даже из Бостона. Я же в России родился, еще в царской.

— Ну, и дурак.

— Почему же это, спрашивается, дурак? — обиделся часовых дел мастер.

— А это ты у своей мамы спроси, почему.

— Так я же в Биробиджан.

— Вот тебе тут и пропишут твой Биробиджан. А за что тебя сцапали?

— А я знаю, за что? Я на станции вышел за кипятком, а поезд взял и ушел . . .

— Тут еще один такой умный есть — тоже из Америки.

— И тоже в Биробиджан?

— Иди и спроси. Один дурак и другой дурак — вот будет целых два дурака, все-таки веселее. Вот там сидит, — Урка показал в угол камеры.

Часовых дел мастер направился к своему товарищу по Америке и по несчастью. Степка, из совершенно голого любопытства, пошел за ним.

На щегольском чемоданчике — Степка таких в жизнь свою не видел, — сидел рыжеватого вида мужчина, лет, этак, слегка за тридцать. Сложен он был коренасто и крепко, и в зубах у него торчала коротенькая трубка.

—Скажите — вы тоже из Америки? — обратился к нему часовых дел мастер.

— Тоже из Америки, — сказал рыжеватый мужчина.

— А ты почему по-русски, а не по-американски говоришь? — вмешался Степка.

Рыжеватый мужчина посмотрел на него снизу вверх.

— А я и по-американски тоже могу.

— Так чего же тебя черти сюда принесли?

—Был коммунистом.

— Почему — был?

— Теперь — начинаю переставать.

— Ну, скоро совсем перестанешь, — утешил его Степка. — Помрешь — и перестанешь. Тут помереть—это раз плюнуть . . .

Часовых дел мастер просунулся между Степкой и рыжеватым мужчиной и что-то стал лопотать на неизвестном Степке языке. Насколько Степка мог понять из телодвижений часовых дел мастера — у того куда-то уехала целая семья. Сам он отстал от поезда, а семья уехала, вероятно, в Биробиджан. Часовых дел мастер скоро иссяк и, видимо, не получил от рыжеватого мужчины никакого утешения. Понурив голову, и бессильно разводя руками, он исчез в вавилонскую кучу людей, Степка присел на корточки перед рыжеватым мужчиной и спросил.

— А тебя — как звать?

— Паркером.

— Чудное имя.

— Бывает . . .

— А ты по нашему говорить — где научился?

— Мать русская . . .

Паркер смотрел на Степку с видом полнейшего равнодушия, и Степка начинал чувствовать нечто вроде антипатии. Вот, сидит буржуй — чемоданчик, костюмчик, трубка вот какая, и, видимо, ничего не боится. Вишь, задается . . .

На Степку нахлынуло непреодолимое желание прихвастнуть.

— А меня скоро выпустят, — сказал он Паркеру.

— И слава Богу, — равнодушно сказал Паркер.

— Шпиёнов пойдем ловить.

— Ну и лови.

— Тут такой шпиён — самый главный, Светлов, мильён рублей я за него получу.

Трубка в зубах Паркера не дрогнула. ни на один миллиметр.

— Светлов, говоришь. Ну, если поймаешь — кланяйся.

— Почему кланяйся?

— Не хочешь — не кланяйся . . .

—А ты его знаешь?

— Меньше, чем тебя.

— Так почему-же кланяться?

— Нужно вежливым быть.

Степка, сидя на корточках, волчьими глазами всматривался в крепко сколоченное лицо американца: так вот они, какие бывают, — из буржуйских стран — и один спинжак чего стоит, да и не найти у нас такого. В степкиной душе продолжало нарастать нечто вроде раздражения.

—Так чего же ты сюда приехал?

— Социализм строить . . .

— Ну, и еловая твоя голова!

— Какая уж есть.

— А ботинки такие — сколько там у вас стоят?

Степка нагнулся и погладил ботинок рукой. Когда он поднял голову, то на какую то долю секунды он заметил — или ему показалось, что он заметил, — пристальный, испытующий взгляд Паркера. Но этот взгляд, — если он и был, — мелькнул и исчез.

— Долларов десять, — сказал Паркер.

— А на рубли, это сколько будет?

— Не знаю, я не банкир. А вот, ты, если тебя выпустят, скажи, чтобы мне передачу прислали.

— Кому сказать?

— Да кому нибудь. Скажи — сидит тут бывший американский коммунист Вильям Паркер, — может быть иностранцу помогут . . .

Паркер снова посмотрел на Степку как-то по особому. Вынул из кармана кисет и протянул его Степке. Степка, порывшись по карманам, нашел смятый клочок газетной бумаги, свернул цыгарку и с наслаждением затянулся. Трубка мира была выкурена в молчании: Степка не курил уже несколько дней и не хотел прерывать этого наслаждения никакими разговорами. Но в его голове складывалась мысль, что все это как-то не спроста. Конечно, если бы он, Степка, и пошел бы заявлять начальству об этом разговоре — то, собственно, и заявлять было бы нечего. А все таки не спроста. Степка собрался была задать еще несколько косвенных вопросов, но в это время из дверей камеры раздался зычный голос:

—Эй, кто там Степка, катись сюда . . .

Степка вскочил, как подколотый.

— Ну, пока, — бросил он Паркеру.

Паркер махнул рукой. На этой руке Степка заметил голубую татуировку . . .

ДРАМА НА МОСТУ

По бесконечным корридорам тюрьмы Степку вывели на тюремный двор. От яркого солнечного света Степка зажмурился, и только постепенно стал раскрывать глаза во всю их ширь. Когда этот процес был закончен, Степка обнаружил, что на тюремном дворе стоит огромный шестиколесный автомобиль, около автомобиля стоит какой то офицер с тремя солдатами и тут же семипудовой глыбой торчит звериного вида мужчина, — вот тот самый, который в кабинете Бермана собирался бить Степку по морде. Степке показалось, что даже солнечный свет слегка померк.

Подтянутый, высокого роста офицер расписался в какой то книжке в принятии Степки на свое ответственное попечение. Звериного вида мужчина подошел к Степке и сказал:

— Давай сюда руку, правую . . .

Степка протянул правую руку. В руках звериного вида мужчины оказалась короткая, аршина полтора, стальная цепочка и на обоих концах цепочки — по стальному браслету. Один браслет защелкнулся вокруг правого степкиного запястья, — другой вокруг левого запястья звериного вида мужчины. Солнечный свет померк окончательно.

— Ну, с таким боровом — никуда не уйдешь, — грустно констатировал Степка.

— Можно садиться, товарищ Кузнецов, — сказал боров.

— Давайте, — сказал офицер. Но перед тем, как садиться, повернулся к Степке:

— Так ты, золоторотец, имей в виду: если что—пулю в лоб, без никаких — понимаешь?

— Это, конечно, вовсе понятно, — покорно сказал Степка.

— Значит — поедем на авто, пока можно ехать, а там ты нас доведешь до своего коня. Будешь брыкаться — штыком в спину — понял?

— И это тоже вовсе понятно.

— Ну, садись.

На переднем сиденьи уселись шофер с лейтенантом Кузнецовым. На среднем — боров со Степкой. На заднем — два солдата с короткими автоматическими винтовками — Степка уже видал такие. К винтовкам были примкнуты штыки — широкие ножеобразные. „Если таким ткнуть, — подумал Степка,—то уж никуда не уйдешь . . ."

Степкины надежды рассеялись почти окончательно: он — один, стражи — пять человек, да еще и этот боров на цепочке . . . Как собаку везут . . . Если бы еще не боров и цепочка, — мало ли куда можно было бы прыгануть на ходу. А с таким боровом — куда прыгнешь? . . .

Машина выехала из тюремного двора, и Степка с завистью смотрел на такую близкую и такую недостижимо далекую „вольную жизнь" — вот ходят люди по плитуарам — и никаких цепочек . . . Вот — не повезлю! . . .

Машина выехала за город. Степка все таки ощущал некое удовольствие от стремительной езды — на автомобиле он ехал первый раз в своей жизни, — от мягкого сиденья и от кое-каких, пока еще очень смутных, планов на ближайшее будущее. Езды до Троицкого — где Степка был арестован — дня два. Потом можно будет еще дня два по тайге проплутать, сказать, что конь куда то забрел, — мало ли что? Четыре дня. Ну, скажем, три дня. Эх — там видно будет!

Переночевали в подорожном отделении НКВД. Степку заперли в одиночную камеру, поставили даже часового, однако, накормили хорошо. Степка даже о водке заикнулся — но боров посмотрел так, что если бы Степке и дали водки — она у него застряла бы поперек горла. Боров был огромным, тучным человеком, с заплывшими жиром, свиными, беспощадными глазками: „Как есть палач", подумал Степка.

Ехали молча. Степкины попытки балагурить были в корне

пресечены теми же свиными глазками. С каждым часом дорога становилась хуже, и мосты ненадежнее. Перед некоторыми из них лейтенант Кузнецов слезал с машины и производил тщательный осмотр мостовых конструкций. Вид у него был неутешительный и даже тревожный. Через мосты перебирались черепашьим шагом, а один раз лейтенант Кузнецов высадил из машины всех пассажиров, и только шоффер, открыв переднюю дверцу и приготовившись к прыжку — провел автомобиль по прогибавшимся доскам хлипкого и прогнившего моста.

К позднему вечеру второго дня путешествия вдали показалось то, что еще осталось от купола Троицкой церкви. До села было верст пять, но между путниками и селом был еще один мост. По довольно крутому спуску, на всех тормозах, машина медленно сползала вниз. Когда она въехала на мост, лейтенант Кузнецов услыхал сзади себя неистовый степкин вопль:

— Стой, говорю тебе, стой, еловая твоя голова, тут мы ни в жисть не проедем, уж этот-то мост я знаю!

Машина стала. По предыдущему своему опыту лейтенант Кузнецов уже научился кое-какой осторожности.

— А ты откуда его знаешь?

— Да я сколько разов под этим самым мостом ночевал...

— Так он ведь недавно ремонтирован...

— Ремонтирован! — Степка испустил длинное ругательство. — Ремонтирован! Да ремонт-то советский, одна труха!

— Ну ты, золоторотец, полегче на поворотах, я тебе покажу советский ремонт!

— Что ты мне покажешь? Мне моя голова дороже твоей еловой. Ремонтировали! Сверху подлатали, а сваи, как были, так и остались, — одна гниль — иди сам, посмотри, — ногтем колупать можно!

Лейтенант Кузнецов выругался лаконически и крепко. Вид у него был совсем хмурый.

— Ты мне верь — продолжал орать Степка, что; мне жизнь моя не дорога, что ли? Я тебе говорою — провалимся. Как Бог свят, провалимся. Это телеге тут еще как-то проехать — да и то не с таким боровом, как твой. Этот мост одного твоего борова не выдержит. Иди сам, посмотри.

Лейтенант Кузнецов выругался еще раз.

— Вот, чорт его дери — что же тут делать?

— А — очень просто — нужно пару сосенок срубить — да вот тама, у того конца подпереть так, чтобы сосенки прямо под колесами стояли бы — да поскорее, а то ночь на дворе... За

такие ремонты нужно прямо к стенке ставить, досок новых наклали, а сваи ногтем можно колупать . . . Одна свая еще ничего, а другая насквозь грибом проросла . . .

Степка вошел в ажиотаж, орал и размахивал свободной левой рукой. Даже и боров почувствовал серьезность положения: тонуть — кому охота? Где-то в глубине под мостом бурлила и прыгала горная речка — туда свалиться — и поминай, как звали . . .

Лейтенант принял стратегическое решение.

— Ну, так вот что. Ты, Сидоров, иди со мною. Вы, товарищ Мурзин, возьмите этого золоторотца — пусть он нам покажет, где какие сваи. Ты, — обратился он к другому красноармейцу, —иди с товарищем Мурзиным — и смотри в оба: держи патрон в патроннике — чуть что — понимаешь?

— Так точно, товарищ лейтенант.

Машину с шоффером оставили на берегу. Вся остальная компания двинулась на мост: впереди лейтенант с одним красноармейцем, посередине Мурзин со Степкой на цепи, сзади второй красноармеец с винтовкой на изготовку.

— Вот тута, — сказал Степка, — вот тут-то самое что ни на есть гнилье, — полезай, посмотри сам.

Лейтенант Кузнецов нерешительным взглядом обвел небо, горы, лес, мост, Степку и прочее.

— Сидоров — вот тебе фонарь — полезай со мной, посвети, я посмотрю. Только если ты, — лейтенант повернулся к Степке, — наврал тут — я уж тебе . . .

— Что ты мне? Ты мне провожатый, а не начальство. Хочешь, тони сам. Мне чего врать? Вот слезь, да посмотри, Степка тут всю тайгу наскрозь знает — где какой мост и где что . . .

Лейтенант, ругаясь вполголоса, в сопровождении Сидорова полез под мост. Сквозь щели настила стал пробиваться электрический свет карманного фонаря. Автомобильные фары освещали часть моста и Степку в том числе. Боров с тревожно скучающим видом смотрел своими свиными глазками сквозь щели вниз. Красноармеец стоял рядом со Степкой, держа обеими руками свою винтовку. Это было в последний раз в его жизни.

Собрав весь запас своих волчьих сил — Степка ахнул красноармейца ногой в низ живота. Красноармеец сказал нечто вроде „ик", сложился пополам и осел на пол, выпустив из рук винтовку. Свиные мозги борова еще не успели ничего сообразить, как Степка, схватил ее и, налегая на винтовку всем своим телом — всадил штык где-то под тучную грудь борова. Боров взревел, как бы на бойне, пытаясь схватить Степку свободной

рукой за волосы, но Степка ухитрился нащупать спуск и нажать на него. Грохнул выстрел, и боров свалился, увлекая за собой и Степку. Катаясь с боровом по настилу моста, Степка почти инстинктивно просунул свободную руку под погонный ремень винтовки: винтовка пригодится всегда. Красноармеец, несмотря на страшную боль внизу живота, вцепился в степкину ногу: он понимал, чем грозит для него все это происшествие Степка уперся — спиной во все семь пудов борова, — обеими ногами в красноармейца и спихнул его с моста. Судорожно сжимая в руке стащенный со степкиной ноги сапог—красноармеец с воплем полетел вниз. Из-под моста раздался крик лейтенанта. Степка, перекатываясь вместе с тушей борова, — докатился до края моста, протиснул под перила борова и с замиранием сердца бросился вниз — рассчитывая, однако, так, чтобы боров падал вперед, — в качестве, так сказать, подстилки.

Путь с моста в воду казался бесконечно длинным. В конце этого пути оказался все-таки боров: его тело хлопнулось то ли о воду, то ли о камень. „Хорошо еще, что такой мягкий", — успел подумать Степка, — и течение подхватило, закружило и понесло и живого и мертвого, скованных одной и той же цепью.

Степка стукался о камни, но все таки старался маневрировать так, чтобы главным ответчиком была бы туша борова. Это в общем удавалось. Лейтенант Кузнецов услышал сверху крики и выстрел, почти мимо него мелькнул красноармеец с сапогом в руке, потом свалились еще два тела. В узком луче карманного фонаря лейтенант увидел перемежающиеся тела борова и Степки, выхватил винтовку из рук Сидорова — но стрелять не было никакой возможности: можно было попасть в Степку, но можно было попасть и в борова. Одна секунда нерешительности изменила всю жизнь лейтенанта Кузнецова: боров и Степка исчезли за поворотом речки. Лейтенант бросился за ними, — но берега речки были обрывисты и каменисты, лейтенант провалился по пояс в воду, течение чуть не сбило его с ног, фары автомобиля освещали только один участок речки, — погружая все остальное в еще более густую тьму. У лейтенанта возникло желание пустить себе пулю в лоб.

Степка, то плывя, то барахтаясь, то ползя — выполз, наконец, на что-то вроде берега. Теперь Степка был почти на свободе. Оставалась только семипудовая туша борова, прикованная цепью к степкиной руке. Степка действовал быстро и рационально: отомкнул штык от винтовки, положил руку борова на камень и двумя-тремя ударами отрубил ее у запястья.

Правда, чекистская цепь еще болталась на его правой руке,

но — Степка разделался с Берманом, Степка разделался с лейтенантом, Степка разделался с боровом, — а уж с цепью разделаться будет не так хитро. Главное: Степка был на свободе, и у Степки была винтовка. А с винтовкой — все остальное — наживное дело.

Степка обмотал цепь вокруг руки, чтобы не болталась, и полез вверх по берегу. По мере того, как он лез, новые планы начали возникать в его бродячей голове. Машина все еще стояла перед мостом, все еще освещая его своими фарами. Степка вспомнил, что на машине были всякие хорошие вещи: например, чемодан со съестным, какой-то бидон — может быть, со спиртом, потом патронов у Степки было мало. Выбравшись на дорогу, он неслышными таежными шагами подошел шагов на десять к машине и свою вторую пулю выпустил в затылок шоффера. Машина, освобожденная от ножного тормоза, стала медленно сползать вниз. Степка прыгнул в нее, захватил чемодан, бидон, патроны, спрыгнул на землю, уперся плечом в зад вездехода — эй, ухнем! — и огромная машина медленно и молча спустилась вниз, проломала перила моста и ухнула в воду — на камни. Фары сверкнули в последний раз и погасли. Лейтенант Кузнецов почувствовал, что его карьере пришел конец. В лучшем случае, — карьере.

ОХОТНИЧИЙ РАЙ

„Динамо" — спортивное общество сотрудников и войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД, — учреждения со столь же многообразными названиями, как и функциями, проявляло трогательную заботливость о здоровьи сначала чекистов, потом гепеушников — потом энкаведистов и прочих таких людей, которые, впрочем, среди своих предпочитали называть себя по старинке: чекистами. Заботливость эта имела свои основания: очень немногие имели силы долгое время выдерживать режим ночной работы, допросов, пыток, расстрелов и прочего. Да и те, у кого оказывался достаточный запас моральной непроницаемости, никак не были гарантированы от всякого рода служебных и партийных „оргвыводов". Такого рода оргвыводы кончались то ли концентрационным лагерем, то ли подвалом. Словом — положение было не очень устойчивым. Но пока чекист стоял на посту, о нем заботились.

Одним из результатов этой заботы был охотничий заповедник „Динамо", расположенный верстах в ста от Неелова, — Лесная Падь. Когда-то, — довольно давно, — в этом районе вспыхнуло крестьянское восстание, и когда оно было „поту-

шено", то ни от района, ни от крестьян не осталось ничего. Деревни были сожжены, мертвые были кое-как похоронены, а живые отправлены куда то на крайний север. Огромная площадь — тысяч в пять-семь квадратных километров, вернулась в свое первобытное состояние, в каком она была до Ермака Тимофеевича. И тогда кому-то пришла в голову идея объявить этот район охотничьим угодьем Динамо.

На берегу путаной таежной речки возникло нечто вроде охотничьего замка: просторный дом из аршинных бревен, конюшни, пристройки, и даже домик егеря Степаныча, о котором речь будет итти дальше. Для охотника здесь был истинный рай. Тут были и тайга и болота, и озера и отроги алтайских нагорий, и рябчики, и утки, и тетерева, и козлы, и медведи — все, чего только может пожелать охотничья душа, пресыщенная охотой за людьми. Простым смертным всякий доступ в этот рай был наглухо закрыт. Но простые смертные знали, что они смертны, и не имели никакого желания проверять это знание на практике. Поэтому Лесную Падь люди обходили так же старательно, как и монументальный дом №. 13 на улице Карла Маркса.

Впрочем, не очень часто посещали его и чины МВД. Еще Кузьма Прутков констатировал тот факт, что „камергер редко наслаждается природой". Еще реже наслаждались ею чины МВД. Собственно говоря, основной притягательной силой Лесной Пади была возможность напиться в одиночку: взять с собою в ягдташ литр водки, а то и спирта, — забраться в глушь, выпить втихомолку и в одиночку, без риска проболтаться в пьяном виде, потом выкупаться в речке или в озере, получить у Степаныча полдюжины накануне заказанных уток, и с триумфальным похмельем вернуться к исправлению своих государственно-человеколюбивых обязанностей. Впрочем, иногда организовывались и „коллективные охоты" — не столько потому, что они способствовали воспитанию коллективистических инстинктов, сколько, так сказать, по внутриведомственным соображениям: начальство рассылало приглашения двум-трем десяткам человек, потом эти люди шагали три-четыре десятка верст по тайге и болотам, потом им сервировали потрясающий ужин и с неограниченным количеством алкоголя во всех его разновидностях. „Гвоздь" таких коллективных охот заключался в том, что среди присутствующих было несколько человек „профессиональных алкоголиков" — людей, которые могли выпить сколько угодно, притворяться пьяными в доску, но видеть, слышать все. Обычно такого рода коллективные предприятия устраивались перед какой-либо чисткой.

Лесной Падью заведывал, как уже было сказано, Степаныч — фамилии его не знал никто. Когда-то, давно, очень давно, кто-то назначил Степаныча егерем, сторожем и администратором заповедника. С тех давних пор десятки раз сменялся командный, начальствующий и рядовой состав нееловского отдела ОГПУ — МВД, и только один Степаныч был непоколебим и несменяем. Вероятно, просто потому, что ни колебать, ни сменять его было некому и незачем.

Это был низенького роста довольно корявый мужиченко, обросший рыжей шерстью, сквозь таежные заросли которой кое-как проглядывали зоркие, хотя довольно бараньи глаза. Больше всего он было похож на барсука, ходил развалкой, носками внутрь, шмыгая носом и глазами по всем направлениям, был неграмотен и по мере возможности старался не издавать никаких звуков. Принимая заказ на дичь, он отвечал что-то вроде „угу" или даже еще короче: просто „гу". Получая за эту дичь кое какую мелочь, он, не считая, совал ее в карман и не говорил при этом ни слова. Когда более совестливые охотники спрашивали его, например, о местопребывании тетеревиных выводков, он протягивал руку в нужном направлении и говорил: „две" или „пять", или „десять". Это значило, что в двух, пяти или десяти верстах имеется требуемая дичь.

На жесты и междометия Степаныча можно было положиться, как на каменную гору: о тайге, звере, птице и рыбе он знал все. Заказы на дичь — от рябчиков до козлов — выполнялись с абсолютной точностью. Вероятно, не менее девяти десятых охотничьих трофеев Лесной Пади исходили от Степаныча. В тайгу он отправлялся, как очень опытная хозяйка в свою собственную кладовку. Он не пил и не курил. Устное предание сохранило и его лаконический ответ: „зверя отшибает". Впрочем, смена служащих ОГПУ — МВД и пр. и пр. происходила так часто, что устное предание редко сохраняло воспоминания о таких давно забытых событиях, какие происходили год или два тому назад. Так, совершенно было забыто и назначение и даже происхождения егеря Степаныча. Казалось, он возник здесь точно таким же способом, как возникла тайга, речка, озера и прочее. И также возникли два его помощника: Ванька и Васька.

Устное предание утверждало, что они близнецы и бывшие беспризорники. Было им лет по семнадцать-восемнадцать. В Лесной Пади они вели такой образ жизни, которому позавидовал бы каждый читатель Жюля Верна или Майн Рида: днями пропадали в тайге, на каждом озерке, затоне, речке были у них челны, плотики и все такое. Ружьями, порохом, дробью

они были обеспечены в избытке и, кроме всего того, они, видите ли, были заняты составлением карты заповедника. Так что к радости приключенческой жизни у них прибавлялось еще и наслаждение открывателей новых земель.

Тем не менее, на глаза чекистским охотникам они старались по мере возможности не попадаться, что, в общем, им и удавалось. И когда кто-нибудь из охотников спрашивал Степаныча: „а где же твои лоботрясы?" то Степаныч тыкал своей обросшей рукой в любом направлении и отвечал лаконически: „там", — после чего поворачивался и уходил. Однажды Чикваидзе — один из немногих настоящих охотников МВД, наткнулся на Ваньку и Ваську у берега какого-то озера и спросил:

— Так кто же, собственно, Ванька и кто — Васька?

На что оба лоботряса в один голос ответили:

— А это все равно.

Чикваидзе махнул рукой и больше ни о чем не спрашивал.

... Так мирно, тихо, можно сказать, идиллически текла доисторическая жизнь Лесной Пади. Где-то там шли войны и революции, пронунциаменто и смена кабинетов. Кого-то там вешали или расстреливали, приходили и уходили кризисы, подписывались и выбрасывались в мусорный ящик мирные договоры и торжественные обещания, но ни Степаныча, ни Ваньки, ни Васьки все это никак не касалось, — пока в эту идиллию, как вихрь в юбке, не ворвалась бестолковая энергия Серафимы Павловны.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Много раз впоследствии товарищ Чикваидзе готов был рвать на себе свои обильные волосы: как это он так сглупил? Но и впоследствии, обдумывая данное положение, был вынужден приходить к выводу, что иначе сделать было нельзя. Вывод, впрочем, помогал мало. Что, в самом деле, можно было сделать в тот роковой день в Лыскове? Шел проливной дождь. Было выпито. Гололобова не было — и не предвиделось. И сидела тут Серафима Павловна, плотные телеса которой выпирали из ее московской блузки, а глаза маслянились от вишневки и чего то еще: куда пойдешь, кому скажешь? И кто мог предвидеть все те роковые последствия, которые повлекло за собой это столь невинное амурное приключение? ...

Первым последствием было то, что Серафима Павловна нагрянула в Неелово на холостую квартиру товарища Чикваидзе. В руках у нее был потертый ковровый дорожный мешок,

а в глазах — ненасытная жажда „настоящего обращения". Чикваидзе считал себя джентльменом и поэтому сделал вторую ошибку: нужно было Серафиму Павловну сразу выгнать вон. Но, опять: водка, вишневка, телеса, темперамент и прочее. Словом — Серафима Павловна слегка задержалась: какие-то там покупки, какие-то там знакомые. Во всем дальнейшем товарищ Чикваидзе видел уже „перст судьбы". И этот перст указывал на товарища Бермана.

Интерес, проявленный товарищем Берманом к личности, наблюдениям и гипотезам Серафимы Павловны, был для Чикваидзе совершеннейшей загадкой. Но этот интерес — был. Иначе бы товарищ Чикваидзе вышиб бы Серафиму Павловну безо всякого зазрения совести и безо всяких оглядок на какое бы то ни было джентльменство. Но — как быть с Берманом? Может быть, именно здесь было зарыто служебное будущее товарища Чикваидзе? И, может быть, Серафима Павловна не такая уж вопиющая дура, как это кажется ему, Чикваидзе? Словом — пока Чикваидзе взвешивал все за и против, Серафима Павловна уехала в Лысково и потом появилась снова — уже во всеоружии сундучков, чемоданчиков, корзин и чего-то еще. Прежде чем товарищ Чикваидзе успел опомниться и принять превентивные меры, его комната было переконструирована, мебель переставлена, портрет товарища Сталина перевешен в другой угол, на окна были повешены какие-то рваные ситцевые занавески — словом — „заботливая женская рука". Потом заботливый женский язык переругался с соседками. Потом товарищи по службе стали спрашивать товарища Чикваидзе: „откуда ты это такую морскую корову подцепил?" — „Пачему морскую?" обижался Чикваидзе. — „Ну, на суше я этаких еще не видывал". Иногда и начальство подтрунивало над мелкими служебными опечатками товарища Чикваидзе: „опасно, товарищ Чикваидзе, иметь дело с женщиной в опасном возрасте". — „Какой такой опасный возраст?" спрашивал Чикваидзе, но ответа на этот вопрос добиться так и не смог. В общем было очень нехорошо. Вспомнилось, как где то там в политграмоте говорилось о каких-то там поповских выдумках: какая-то Ева, какое-то яблоко — более подробной информации на эту тему товарищ Чикваидзе не имел.

Нужно было как-то подумать. В качестве территории для размышления товарищ Чикваидзе наметил Лесную Падь, о чем и сообщил Серафиме Павловне. И тут его ждал очередной и, увы, неотвратимый удар.

Серафима Павловна стояла боком к зеркалу и пыталась разглядеть себя в профиль.

— Я поеду с тобой, — сказала она кратко и решительно.

— А тебе чего там?

— Берман должно быть будет. Нужно поговорить. Без свидетелей.

Товарищ Чикваидзе поперхнулся и сжал зубы: перст судьбы — а от судьбы куда уйдешь? Было, впрочем, и маленькое утешение: уж в тайгу, в лес, Серафима Павловна не увяжется. Там, в тайге, в лесу, можно будет подумать. Но — опять же: о чем подумать? Все как-то перепуталось; Берман, Серафима, Светлов, какие-то там атомные ученые, убийство Кривоносова — ничего не понять! Чикваидзе вздохнул и по телефону заказал на ведомственном авто два места на Лесную Падь.

ТАЙНИК ТОВАРИЩА ИВАНОВА

Жизнь товарища Иванова, даже и с точки зрения очень внимательного наблюдателя, была ясна, открыта и прозрачна. Этот стиль так и был расчитан: на очень внимательного наблюдателя. И даже на нескольких очень внимательных наблюдателей. Майор Иванов работал много, пил мало, раньше вел холостую жизнь, но потом, когда партия стала поддерживать семейственные основы, женился, детей все таки не имел: в ведомстве, в котором действовал товарищ Иванов, чадолюбие не было очень популярным, а товарищ Иванов во всем стремился сообразоваться с традициями ведомства.

Женой товарища Иванова была одна из служащих того же ведомства. Традиция требовала, чтобы браки заключались внутри учреждения: иначе его стиль и тайны могли бы стать достоянием улицы и масс. В минуты отдыха и раздумья тов. Иванов не раз задавал себе вопрос: какие именно данные сообщает соответствующему отделу о нем самом его собственная жена? И каждый раз иронически усмехался: сообщать было решительно нечего. Единственная роскошь, которую товарищ Иванов себе позволял, была охота.

Вот поэтому в один прекрасный августовский в ы х о д н о й день, или, точнее, утро, — товарищ Иванов очутился в Лесной Пади. Точно придерживаясь своих принципов умеренности, товарищ Иванов заказал Степанычу только две утки, и, вооруженный двухстволкой, ягдташем, литровкой и закуской, бодро зашагал в тайгу — сначала на север, потом повернул на восток, потом оглядываясь и прислушиваясь — осторожность не мешает даже и в тайге, — нырнул в какую-то довольно странную кучу кустарников, зарослей и прочего, буйно разросшего-

ся на развалинах чего-то очень похожего на бывшую деревенскую церковь.

Стены церкви еще кое-как стояли, купол провалился, все заросло травой и кустами, так что даже товарищу Иванову, при всей его прозаичности, стало как то не по себе. Товарищ Иванов, все еще оглядываясь и прислушиваясь, разгреб кучу мусора и стены, отодвинул какое-то бревно и извлек небольшой аллюминиевый, повидимому, герметически закрывающийся ящик. Здесь, в этом ящике и лежала книга судеб и сыска.

Она была величайшей драгоценностью в скучной жизни товарища Иванова. Дома он ее, конечно, не держал никогда. И даже при перемещениях с места на место никогда не брал с собой: раньше осматривался на новом месте, подыскивал подходящий тайник, потом придумывал повод возвратиться на старое место, и с тысячами предосторожностей перевозил свое сокровище в новое хранилище.

В ящике была довольно объемистая записная книжка, распухшая от напиханных в нее бумаг. Были в ящике еще коекакие странные вещи, своим подбором напоминавшие то ли содержание карманов Тома Сойера, то ли коллекцию чичиковского ларца. Здесь была пара стрелянных гильз, исковерканная оболочечная пуля калибра 7,65 мм., какие-то плотно закупоренные флакончики, прядь волос, повидимому лишенная всякого романтического значения, и Бог знает, что еще. Товарищ Иванов уселся на мусорной куче, развернул книжку и стал вписывать в нее свою новейшую иноформацию. Это заняло минут десять. Потом товарищ Иванов начал перелистывать предыдущие страницы, что-то с чем-то сравнивая, пересматривать содержание вложенных в книжку бумаг и бумажек — пока не наткнулся на сложенный пополам листик довольно плотной бумаги, на которой твердым и очень своеобразным почерком кто-то спешно набросал несколько мало понятных строк. Тут были каие то сокращения, следы какого то шифра, в довольно странной связи упоминалось имя Медведева: бумажка была найдена на трупе неизвестного человека, обнаруженного на полотне железной дороги. Человек, видимо, попал под поезд, был изувечен до полной неузнаваемости, и товарищ Иванов был назначен произвести следствие по этому поводу. В сущности, — бумажку нужно было бы передать в ведомство — но тов. Иванов стал, как сорока: тащил в свое гнездо, что нужно и что не нужно. В заветной коробочке накопилось уже несколько десятков таких бумажек. Самая нелепая из них иногда вдруг получала совсем неожиданный смысл. Бумажка с именем Медведева пока не имела никакого.

Времена, когда ведомство товарища Иванова занималось изысканиями в области контрреволюции и прочего — прошли давно. Основное задание ведомства сводилось сейчас к поддержанию коммунистической дисциплины среди трудового населения страны. Но с трудовым населением непосредственно сталкивались только низовые органы. Товарищ Иванов работал в областном центре, и если бы его спросили, какие, собственно, задачи выполняет этот центр — товарищ Иванов затруднился бы ответить. Все развивалось как-то само по себе: сначала выслеживали и ловили троцкистов, угнездившихся в недрах „аппарата". Потом искали правую оппозицию. Потом все это раздробилось на какие то трудно уловимые партии, группы, заговоры, интриги — если бы товарищ Иванов имел философское образование, то он определил бы внутреннее состояние ведомства по Гоббсу: война всех против всех. Но товарищ Иванов философского образования не имел.

Сейчас, сидя над своей книгой судеб и слежки, товарищ Иванов казался сам себе чем-то вроде волшебника, видящего сквозь стены и черепа. Случайные фразы, пьяная болтовня, служебные слухи и дела, кое-какие „документики", — все это как то складывалось в причудливые узоры. Протягивались нити между людьми, которые, казалось, не имели между собой ничего общего. Вырисовывались перепутанные партийные группировки, вырисовывались острия каких то интриг. Ни к чему этому товарищ Иванов не принадлежал. Он ждал. Он прощупывал почву, чтобы потом играть наверняка: примкнуть к гарантированным победителям.

Сейчас, в церковушке, вдали от людей, лицо товарища Иванова потеряло свое привычное баранье выражение. На невысоком его челе отразилась какая-то мысль. Даже — много мыслей. Его догадка относительно Светлова приблизила его к Берману. Зато вызывала подозрительную настороженность Медведева. Берман, вообще говоря, был, конечно, сильнее Медведева, — но Берман сидит в Москве, а Медведев царствует в Нелове. Короткая милость Бермана может дорого обойтись впоследствии.

Вся система ведомства и аппарата была построена на сочетании людей, друг друга ненавидящих. Берману ставили помощников, которые ненавидели его, и которых он сам терпеть не мог. В случае с Берманом и Медведевым это было особенно ясно: Медведев, огромный, мясистый, водкопитающийся и плотоядный, — и Берман, как насекомое, — ядовитое насекомое, — высушенное беспощадным солнцем каких то аравийских

пустынь. Медведев, давно усвоивший себе роль широкой русской натуры, грохочущий смехом и матом, — и Берман — молчаливый, недвижный, говоривший только то, что надо, и только таким голосом, чтобы было слышно. Так, вероятно, — думал Иванов — относятся друг к другу степной бык и, скажем, скорпион. Если Медведев успеет наступить на Бермана — останется только не очень мокрое место. А — если не успеет?

Мысли товарища Иванова снова вернулись к клочку с именем Медведева. Он снова развернул этот клочок: нет, не понять ничего. Какие-то закорючки и цифры — тоже неясные. Имя Медведева можно разобрать, — а потом 17, 25, 72, 6, потом снова закорючки — потом ясное слово: среда, — дальше вовсе ничего не понять. Но почерк? Где-то что то вроде этого Иванов когда-то и где-то уже видел. И где и когда?

И вдруг осенило: так и есть — это почерк Бермана, твердый и странный, похожий на какую-то арабскую вязь, — как-будто разборчивый и в то же время путаный и ненужно сложный. Да, конечно, это почерк Бермана. И — еще одна догадка: если цифры означают час, минуту, номер поезда и номер вагона — и если этим поездом и прочее Медведев, действительно, в какую то среду куда-то ехал, — то дело могли идти о бермановской организации его „устранения". При мысли об этом капельки холодной влаги выступили на напряженном лбу т. Иванова. Если Берман не остановился даже перед этим, — то кто остановится перед трупом его, Иванова? Он будет раздавлен мимоходом, как муравей . . .

Товарищ Иванов еще раз попытался представить себе всю картину внутренних взаимоотношений ведомства, партии и прочего и еще раз потерпел полную неудачу. Все это было несколько похоже на ту восьмиэтажную шахматную игру, которую изобрел какой-то досужий шахматист: игра шла в трех измерениях и, например, конь очень путаным путем мог перепрыгнуть из третьего этажа на пятый, путая этим все расположение фигур этого пятого этажа. Появляясь, так сказать, из-под земли. Или, наоборот, падая с неба. С восьмиэтажными шахматами, кажется, никто справиться так и не смог. Не более удачливым оказался и товарищ Иванов.

Восьмиэтажные шахматы партии были подчинены кое-каким правилам. Основное из них заключалось в том, что нельзя было попадаться. Остальные играли только техническую роль. Если бы Берману удалось отправить на тот свет Медведева, и если бы об этом узнала Москва и если бы у Бермана в Москве не нашлось бы достаточных опорных точек, — то Берман бы погиб: не попадайся. Но, в общем, способ обычного, так ска-

зать, нормального убийства был редкостью, — были другие способы, дававшие тот же результат с гораздо меньшим риском. Неужели Берман пытался подослать к Медведеву своего человека? И — если так, то до какой степени Берман доверял этому человеку? — В ведомстве и в партии не было принято доверять ничего и никому. Человек, который покончил бы с жизнью Медведева, держал бы в своих руках и жизнь Бермана. Неужели Берман мог проявить такое легкомыслие? Или — иначе: неужели какая-то угроза со стороны Медведева стала такой близкой, что Берман не остановился даже и перед легкомыслием безвыходности?

Товарищ Иванов чувствовал, что эта проблема ему еще не по силам: слишком мало данных. Нужно ждать. Нужно быть еще более незаметным, еще более серым, еще более безличным. Его, Иванова, время еще придет.

Товарищ Иванов чувствовал, что эта проблема ему еще не робку обратно в дыру в стене, заложил мусором и, переступив порог церковушки, снова надел на себя привычную маску аппаратного винтика. Скоро его шаги замолкли в тайге.

ГЕНЕРАЛ ЗАВОЙКО

Товарищ Медведев нажал какую-то специальную телефонную кнопку и отдал краткое приказание:

— Как всегда. На двоих.

Начальник 27-ой пограничной дивизии войск НКВД, генерал Завойко, издал неопределенно одобрительный звук. Он, как у себя дома, сидел в огромном медведевском кабинете, и огромное кожаное кресло казалось слишком широким для его хотя и воинственной, но довольно маленькой фигуры. Фигура эта была тщательно стилизована под какую-то смесь Денисова и Буденного: усы и подусники, нарочито кривая сабля, общий вид — рубахи и рубаки парня. Любителя и выпить, и закусить, и пройтись в присядку—также и повоевать. В рядах дивизии он пользовался некоторой популярностью: да это было и не очень мудрено. Дивизия охраняла границу от всяких вещей, в том числе и от контрабанды, так что для приобретения популярности было достаточно не слишком строго следить за тем, куда и как уплывала пойманная контрабанда. Кроме того, генерал Завойко усвоил себе простодушный стиль вояки, для которого бездна марксистской премудрости является органически недоступной.

—Мне советская власть поручила держать дивизию, — я дивизию вот как держу, — при этом генерал Завойко пока-

зал маленький, но очень жилистый кулак. — А обществоведение? — Вот вчерась — почитай, — всю ночь просидел. А на утро — хоть бы хны. Хоть шаром покати. У которого один талант, у которого — другой. Мне что товарищ Сталин написал — то и закон. Что я там еще мудрствовать буду!

С товарищем Медведевым ген. Завойко связывало нечто вроде суррогата дружбы. Оба они, в частности, только с очень большим трудом воспринимали некоторую европеизацию партийной жизни, которая проводилась властью в последние годы. Оба они посещали оперу — и оба с глазу на глаз признавались в том, что частушка и гармошка русскому сердцу что-то говорит. А опера? Это вроде политграмоты, ничего не поделаешь, нужно ходить, хотя толку, ясно, никакого.

В кабинет вошел солдат с подносом в руках. На подносе стоял графин водки со слезой, два стакана, икра, и все такое.

— Говорят: „адмиральский час", не знаешь, что это такое?

— Чорт его знает, а мы все-таки выпьем, — ответил Медведев.

Выпили.

— Так что, как я предполагаю, — продолжал Завойко прерванную выпивкой мысль, — товарищ Гололобов тоже сбежал?

— Чорт его знает. Видимо — так. Берман ведет всю эту операцию совершенно изолированно, — а отвечать будем мы.

— Вот то то и оно. С бродягой вышла большущая ошибка.

— Почему ошибка? — забеспокоился Медведев.

— Довольно прозрачно: бродяга куда-то пойдет и поведет свой конвой. Простой ему рассчет: повести на своих — на свою банду. Банда конвой перестреляет — и все тут. Почему м н е не сказали? Ты тут сидишь в центре, в городе, а я по границе все время маячу.

— Нужно было послать три машины, пожалуй, закрытые. А бродягу держать все время под дулом: первая пуля — ему.

Медведев пожал своими тучными плечами и налил еще по стаканчику. — Говоря фактически, в Лыскове какой-то узел — ну, ты и сам знаешь. Берман все с этой старой воблой возится — как ее эту Гололобову, ангельское имя такое — Серафима, что ли? Та что-то, видимо, знает. Взять бы ее просто в оборот — сказала бы.

— Ну, Берман тоже не сапогом сморкается. А, может быть, Серафима это его агентура?

Эта мысль Медведеву в голову не приходила. Но некоторое облегчение ему все таки принесла, — она сильно снижала его личную ответственость за все те таинственные происшествия, которые — одно за другим — нагромоздились в Лыскове.

— Я так кумекаю, — продолжал Завойко. — Приехал этот Светлов на насиженное место. Все готово: кони, провожатые, сообщники, — не мог же он в одиночку перебить целый взвод? Теперь, вот, вашего Кузнецова отправили с бродягой — уж бродяга-то будет знать, куда ему тащиться . . .

— Это фактически. Но — если Серафима была его агентурой, то ему и карты в руки — пусть действует, как хочет.

— Хорошо бы с ним поближе познакомиться, — сказал Завойко.

Медведев посмотрел на него не без некоторого раздражения: первый раз встретил человека, который хотел бы более близкого знакомства с товарищем Берманом. Но Медведев предпочел этой мысли вслух не выражать.

— А — как?

— Да вот, пригласи его на охоту. Здесь все-таки как то оффициально. А там — небо, травка, тетерева . . . .

Медведев очень сомневался в том, чтобы небо, травка и даже тетерева могли бы оказать какое бы то ни было влияние на бермановскую психологию, — но возражать не стал, — что ж, попробовать можно. Собственно говоря, у него не было никакого желания поддерживать с Берманом даже самое отдаленное знакомство, но уж все равно, Берман — тут, и лысковскую историю все равно как-то придется расхлебывать . . .

Поэтому, войдя в кабинет Бермана, Медведев напялил на себя благодушно-товарищеское выражение лица:

— У меня, товарищ Берман, есть конкретное предложение: поедем-ка завтра на охоту. Погода на ять, нужно же проветриться . . .

К его удивлению, Берман согласился почти сразу. Однако, спросил:

— А когда этот бродяга сможет доехать до Троицкого?

— Не раньше, как завтра ночью. Дорога очень плохая, мосты слабоватые, машина тяжелая . . .

О предположениях генерала Завойко Медведев предпочел пока не говорить: кто его знает, может быть, Завойко питает очень уж преувеличенные опасения.

— Ну, что ж. Поедем. Охотник я никакой, но проветриться и в самом деле нужно.

НАЧАЛЬСТВО НА ОХОТЕ

В огромный вездеход — точно такой же, какой повез Степку в его романтическую поездку, сели: Берман, Завойко и Медведев. И, кроме того, два телохранителя — один медведевский,

другой бермановский. Медведевский старался держаться незаметно и тихо — и в дальнейшем нашем повествовании никакой роли не сыграл. Бермановский представлял собою высокого костистого и жилистого мужчину, с костистым лошадиным лицом. Его звали просто товарищ Трофим. На своре он держал огромную полицейскую ищейку, которую звали просто—„Чоб". Медведев считал этих телохранителей по меньшей мере дармоедами, но они были предписаны уставом и обычно вели охрану, так сказать, с двух сторон: с одной стороны охраняли начальство от возможных неприятностей со стороны благодарного населения и, с другой, охраняли более высокое начальство от возможных неприятностей со стороны ниже стоящего. Говоря короче, находясь, вплотную к телам, скажем, Медведева или Бермана, они к о м у - т о должны были докладывать о каждом шаге их подзащитных. В общем — и э т о было чепухой. Все серьезное происходило в стенах всяких учреждений — или вообще в таких местах, где телохранителям вовсе нечего было делать.

Подорожный разговор как-то не вязался. Машина въезжала в ухабы и выезжала из них. Завойко стал вслух мечтать о тех временах, когда советская власть проведет здесь бетонные шоссе, — но перспектива бетонных шоссе не заинтересовала ни Бермана, ни Медведева. Ни голубое прозрачное небо прозрачной сибирской осени, ни уже желтевшая травка по обочинам дороги не производили на товарища Бермана решительно никакого впечатления. Он курил свои подозрительно ароматные папиросы и молчал, как сейф.

По дороге вездеход обогнал тощую машину, в которой ехал товарищ Чикваидзе со своей благоприобретенной — но, как надеялся Чикваидзе, только временной подружкой жизни. Тов. Чикваидзе, приподнявшись на сиденьи, отдал честь начальству и не без некоторой оторопи подумал:

„Так эта стерва и это знала, — что Берман поедет сюда!"

Он боком посмотрел на Серафиму и почему то вспомнил о том, что исчезновение ее бывшего супруга до сих пор оставалось невыясненным. И что — больше этого — Серафима не обмолвилась об этом исчезновении ни одним словом.

— Ну, а что с твоим мужем? — спросил он.

Серафима презрительно поджала свои сухонькие губы.

— То ли запил, то ли сбежал.

— То-есть, как это запил? И как это сбежал?

—Да, вот увязался с какими-то там чалдонами, сидит где-то и самогон дует. А может и сбежал.

— Куда сбежал?

Тут Серафима приняла окончательно таинственный вид и ответила совсем туманно:

— Ну, мало ли куда можно сбежать?

Чикваидзе очень хотелось плюнуть ей в физиономию, потом он передумал и решил плюнуть на дорогу, но передумал опять и только еще раз выругался — сочно, длинно, но не вслух.

К клубу обе машины подъехали почти одновременно. Разношерстная стая собак встретила их разнокалиберным лаем. Особенное неудовольствие вызвал Чоб. Откуда-то из-за угла возник Степаныч и привел своих четвероногих подданных в какой-то порядок. После чего стал столбом и безучастно смотрел, как выгружались пассажиры и свертки, как дядя с лошадиным лицом поправил два пистолета на своем поясе и как какая-то облезлая баба вылезла вместе с товарищем Чикваидзе. Женщины приезжали в заповедник очень редко, — но таких Степаныч здесь еще не видал.

— Ты помоги выгрузиться, — загремел медведевский бас, — что ты этакой чучелой торчишь?

Вместо ответа Степаныч издал свист, от которого Серафима Павловна чуть не присела. Из-за угла, как по щучьему велению, выбежали оба беспризорника — Ванька и Васька. Или — наоборот — Васька и Ванька.

— Вы поосторожнее, — сказал Медведев, — в этом свертке — стекло.

Но беспризорники уже были обучены и без Медведева. Во всех свертках что-то соблазнительно булькало и переливалось, шел запах ветчины, икры, семги, жареного поросенка и прочих жизненных благ.

Один только Медведев чувсвовал себя здесь, как дома. Берман стоял, как изваяние с папиросой в зубах. Завойко разминал ноги и посматривал то на Медведева, то на Бермана. Чикваидзе просто не знал, куда ему собственно деваться и только Серафима Павловна подошла к Берману, еще раз повторила свой классический книксен и сказала сладеньким голоском:

— Прошу здравствовать, товарищ Берман!

Медведев даже оглянулся по дороге к двери: ну, и чучело гороховое, подумал он еще раз. Но Берман сделал полтора шага навстречу Серафиме и подал ей руку. Медведев, как минут десять тому назад Чикваидзе, совсем собрался было плюнуть, — но, как и Чикваидзе, удержался. Нет, Завойко тут путает: никакой агентуры, агентуру так не демонстрируют. Товарищ Медведев был уверен только в одном: в том, что товарищ Берман ничего не делает спроста. И при всем его физичес-

ком отвращении к Берману, тов. Медведев з н а л : творцом или, по крайней мере, одним из творцов данного ведомства со всеми его аксесуарами был товарищ Берман. Так что отвращение смешивалось с уважением. Примерно в пропорции пятидесяти к пятидесяти. В данный момент товарищ Медведев искренне желал, чтобы Берман утонул где-нибудь в болоте...

Но это были только мечты. Возвращаясь к реальной действительности, Медведев взял на себя роль гостеприимного хозяина.

— Так что, товарищи, давайте расписание поездов: кто, куда и насколько. Я, значит, по тетеревам. Вы, товарищ Берман?

Товарищ Берман вынул изо рта папиросу.

— Мне, в сущности, все равно; рыба тут есть?

— Так точно, товарищ Берман — удивленно сказал Медведев. Представить себе товарища Бермана с удочкой в руках — было как-то затруднительно. — Вот туда, версты три-четыре, омуток такой, рыб там — на две пятилетки хватит.

— Так вы меня снабдите — и удочкой и ружьем.

— Теперь — дальше к порядку дня: на какой час приготовить обед?

— На обед я вернусь в Неелово, так что вы, товарищ Медведев, не беспокойтесь. Кое-какая закуска у меня с собой.

Завойко был здесь своим человеком и в особенно тщательном уходе не нуждался. Чикваидзе свистнул свою постоянную собаку и постарался исчезнуть сразу и бесследно. Серафима Павловна своим прежним сладеньким голоском обратилась к Медведеву.

— А можно мне, товарищ Медведев, какую-нибудь корзиночку для грибков; охота — это не наше женское дело, а я бы к обеду свежих грибочков...

Серафиме Павловне было доставлено лукошко, Берману удочка и двустволка, Завойко во всем охотничьем всеоружии махнул приветственно рукой:

— Ну, а я — как всегда — по уткам, по уткам!

Товарищ Трофим с его Чобом стояли недвижно и монументально.

— Вы вот что, товарищ Трофим, — сказал ему Берман, — вы оставайтесь здесь, тут тайга, а не город.

Товарищ Трофим не ответил ничего. Берман зашагал по указанному Медведевым направлению; товарищ Трофим подождал минут десять и тронулся вслед за ним.

— Так что — ведь товарищ сказал, чтобы вам оставаться? . — заметил один из беспризорников.

Товарищ Трофим обернулся своей лошадиной физиономией:

— А если товарищ начальник ногу сломает — кто отвечать будет, ты или я? А ты не в свое дело не лезь, понял?

**
*

У товарища Медведева в клубе была своя постоянная комната. Придя в нее, товарищ Медведев старательно и толково разложил на столе все принесенные с собою блага жизни, и через час его храп уже потрясал массивные стены охотничьего замка НКВД. А вне этих стен — Серафима Павловна делала вид, что она ищет грибы, товарищ Берман делал вид, что он удит рыбу и генерал Завойко делал вид, что он стреляет уток. Где-то вдали, приехавший раньше товарищ Иванов просто спал и во сне все перелистывал свою таинственную книгу, а Степаныч шнырял по тайге, делая вид, что он выполняет данный ему Медведевым заказ: три штуки тетеревей.

ПРИРОДА И НАЧАЛЬСТВО

Когда Берман очутился в тайге, то, казалось, даже деревья и кусты стали смотреть на него с каким-то неодобрительным беспокойством. Бермановская фигурка, действительно, как-то не гармонировала с природой. Уже одна походка человека, который даже и по тротуарам ходить не привык, создавала впечатление чего-то чуждого. Двухстволка за плечами была, как седло на корове. Паучий взгляд, казалось, даже и в тайге выискивал оппозицию и контрреволюцию. Но Берману отношение природы к нему было совершенно безразлично. Он сам среди природы чувствовал себя чужаком. Хотелось поскорее вернуться в свой кабинет и там снова запутывать и распутывать нити и клубки допросов и заговоров. Если бы не особые обстоятельства, то никакими прелестями природа не заманила бы его на свое таежное лоно.

Берман, — все той же расхлябанной городской или даже канцелярской походкой прошел около версты, — перешел какую-то полянку — и, оглянувшись назад, — быстро юркнул за подходящий куст. Отсюда, из-за куста, он стал вглядываться в пройденный им путь. Вскоре на этом пути показалась жилистая фигура товарища Трофима — с Чобом на сворке. Берман покинул свой наблюдательный пост, несколько сот метров прошел более или менее ускоренным темпом, потом из кармана своего пиджака вынул портсигар и, поковырявшись над ним, достал какой-то тюбик, из которого насыпал на свой след две

три щепочки зеленоватого, приторно пахнущего порошка. Впрочем, рассыпая его по траве, Берман не только перестал дышать, но даже и зажал себе нос свободной рукой. Отойдя еще шагов на полсотни от места этого таинственного происшествия, Берман снова залег за кусты и стал приглядываться и прислушиваться.

Товарищ Трофим бодро и размашисто шагал по бермановскому следу. Чоб бежал впереди, пока не добежал до места происшествия. Тут он стал чихать, тереться носом то о лапы, то о траву и вообще проявлять признаки беспокойства и недисциплинированности. Он припал к земле, глаза его стали наливаться кровью. Товарищ Трофим натянул сворку:

— Ну, в чем дело, Чоб?

Вместо ответа, Чоб повернулся и оскалил зубы. Товарищем Трофимом овладело чувство какого-то смутного беспокойства. Чоб продолжал скалить зубы и даже рычать. Товарищ Трофим достал из кобуры пистолет.

— Ну, пошел, — сказал он угрожающим тоном.

Вместо ответа, Чоб всей своей мускулистой массой вдруг ринулся на товарища Трофима. Сворка была длиной метров пять, и даже товарищ Трофим не успел хорошенько прицелиться. Грохнул выстрел. Трофим почувствовал, что он сбит с ног и что страшные зубы Чоба рвут ему лицо. Почти конвульсивно товарищ Трофим продолжал нажимать на спуск пистолета, выстрелы щелкали один за другим, и песьи зубы так же дробили кости трофимовского черепа. Через несколько секунд кончились даже и конвульсии.

Тогда из-за куста выполз Берман — тоже с пистолетом в руке, быстрыми мелкими шажками пробежал к месту происшествия, убедился в окончательной ликвидации и Трофима и Чоба, очень умело ощупал карманы загрызенного, извлек оттуда бумажник, и что-то еще, и снова исчез в тайге.

... Через несколько минут после его исчезновения из тайги, со стороны клуба, показался Степаныч. На сворке впереди него бежала беленькая остроносенькая лайка — незаменимый пес для сибирских охотников. Вероятно, Степаныч услышал выстрелы и пошел на них. Но не доходя двух-трех десятков шагов до товарища Трофима с его Чобом, Степаныч поднял свою лайку на руки, осторожно обошел трупы, спустил лайку с рук и зашагал дальше — то ли в поисках заказанной ему дичи, то ли в поисках чего-то иного.

***

Генерал Завойко сидел на берегу таежного омута. Двухстволка лежала рядом с ним. Здесь, вдали от всякого челове-

ческого „коллектива", лицо генерала Завойко потеряло свое обычное буденовско-денисовское выражение, и на нем проступали ясные признаки беспокойства. Это беспокойство еще увеличилось, когда из чащи послышался хруст валежника. Генерал Завойко на всякий случай поднял двухстволку в направлении этого хруста. Но из тайги вышел только товарищ Берман.

Не производя никаких приветствий, товарищ Берман подошел к Завойко и опустился на травку.

— Револьверные выстрелы — это не ваши? — спросил Завойко.

— Нет, это пришлось отделаться от телохранителя.

— Отделались?

Товарищ Берман утвердительно кивнул головой.

— Я боюсь, товарищ Берман, что вы начинаете делать ошибки.

— А вы не бойтесь.

Генерал Завойко попытался установить в тоне Бермана то ли иронию, то ли утешение — но не установил ничего. Товарищ Берман говорил тоном телеграфного кода.

— Я снова передумал кое-что. Боюсь, что с этим бродягой вы поступили неосторожно.

— А вы не бойтесь, — тем же тоном сказал Берман.

— Хорошо. Но на всякий случай я бы посоветовал вам закрыть моими парашютистами подход к перевалу Ойран-Тау.

— Зачем?

— Ваш бродяга может завести своих конвоиров в засаду.

— У бродяги никаких сообщников нет. Бродяга — это случайность.

— Не знаю. А это тоже случайность — из моей дивизии внезапно откомандирован полковник Мижуев?

— Когда?

— Вчера.

— Вы именно по этому поводу назначили мне это свидание?

— Нет, не только по этому. Медведев получил приказание усилить надзор за дивизией — он за ней, впрочем, и так смотрит. Но моя разведка установила приезд в Неелово двух лиц — вот их фото и прочее.

Завойко вынул из кармана небольшой конверт. Берман как бы мельком, но очень внимательно вглядеелся в фотографии и в несколько строк текста при них.

— Я это возьму с собой?

— Возьмите. Фото не безынтересны, — а?

Берман не ответил ничего.

— О вашем Светлове — никаких новых данных?

— Филеров по дороге ликвидировал он сам. При одном из них были кое-какие н а ш и документы. При осмотре тел они не обнаружены.

Завойко тихонько свистнул.

—Если бы они были обнаружены Медведевым — то . . .

— Документы м о г у т навести на след, — прервал Берман — но это чрезвычайно долгая история.

— Я все-таки, товарищ Берман, — солдат, и предпочел бы погибнуть в бою, а не в камерах вашей системы.

— Я полагаю, что вы предпочли бы не погибать вовсе. Но не в этом дело. Этих людей я знаю. Установите за ними слежку по типу шесть.

— Будет сделано.

— По поводу перевала вы, пожалуй, правы. Не очень вероятно, но все-таки может быть, что Светлов постарается перебраться через границу, там у н и х есть кое-какие опорные точки. Под любым предлогом сплавьте куда-нибудь старшого лейтенанта Головченко . . .

Товарищ Берман говорил в тоне приказания, и его речь была понятна только Завойко — имена, адреса, какие-то схемы и какие-то планы, которые нужно было привести в действие в таких-то и таких-то случаях. Берман говорил медленно, и Завойко мысленно повторял про себя все. Когда беседа кончилась, Берман исчез в тайге, и генерал Завойко попытался вздохнуть с облегчением, но он почувствовал, что никакого облегчения нет. Что в страшной путанице интриг и контр-интриг он, Завойко, к а ж е т с я, уже куда-то влип. Но было уже поздно. А, может быть, на личной аудиенции у Гениальнейшего выложить все? Ну, не все. А так, — как будто он, Завойко, втерся в доверие к Берману со специальной целью добиться таких результатов, с которыми можно было бы оперировать даже и перед очами Вождя Мироздания? Э т о было еще не поздно. Но в любую минуту могут случиться события, после которых будет поздно все.

Генерал Завойко вздохнул еще раз — и еще раз без всякого облегчения, встал, принял снова кавалерийски-забубенный вид, обошел омуток, по камушкам перешел через речку и зашагал дальше. Минут через десять после его ухода, из кучки кустарника, — шагах в двадцать от места встречи друзей, вылезло что-то бесформенное, отряхнулось, поползло к месту беседы и, снуя носом по земле, обнюхало каждую травку. Когда оно встало на ноги, то оно оказалось просто-напросто егерем Лесной Пади товарищем Степаньгчем.

**
*

Товарищ Медведев спал богатырским сном. Товарищ Иванов спал менее богатырским, — но все-таки спал. Серафима Павловна в полчаса набрала целую корзинку грибов—нужных для прикрытия ее дальнейших планов, — планы эти, впрочем, были еще весьма туманны. Товарищ Чикваидзе, — ее незадачливый и кратковременный муж, — с рассеяным и не совсем умным лицом сидел на поваленном бурей дереве и все думал. Этот процесс удавался ему очень плохо. Служба в данном учреждении издали казалась ему сплошным рядом пайков и привилегий. Попав в данное учреждение, товарищ Чикваидзе чувствовал себя, как щенок в машинном отделении — до введения законов и приспособлений по охране труда. Правда, служба товарища Чикваидзе только начиналась, — так, всякие более или менее пустяковые обыски, дознания, следствия, — преимущественно по делам проворовавшихся или пропившихся завхозов, завмагов и прочих виновников истинно магических пропаж товаров и денег. Но с этими виновниками учреждение обращалось вежливо и подолгу их не задерживало. Однако, товарищ Чикваидзе знал и о других случаях, — когда после допросов люди — если выходили, то выходили изувеченными и искалеченными. Повышение по службе означало „работу" именно в этом направлении. Товарищу Чикваидзе было как-то не по себе. Он знал, что отказаться будет или очень рискованно или просто самоубийственно. Потом — еще эта морская корова . . .

Словом, мысли у товарища Чикваидзе были хотя и путанными, но невеселыми. И, вдруг, где-то очень недалеко раздались несколько сухих четких пистолетных выстрелов, один за другим: трах-трах-трах. Товарищ Чикваидзе сразу почувствовал, что дело как-то неладно: с чего в тайге из пистолета стрелять? Эти же выстрелы услышала и Серафима Павловна. И она была достаточно умудрена таежным и политическим опытом, чтобы отличить раскатистый выстрел двухстволки от сухого треска пистолета и чтобы понять, что, очевидно, где-то — совсем недалеко, произошло какое-то вооруженное столкновение.

Обо всем дальнейшем Серафима Павловна подумать не успела. Ее ноги понесли ее по их собственному почину. Задыхаясь и теряя из корзинки грибы, Серафима Павловна бежала по направлению выстрелов, заранее предвкушая радость быть п е р в о й свидетельницей чего-то, — неважно, чего именно, там будет видно.

Таким образом, оба неутешных супруга оказались почти

одновременно над бездыханными телами Трофима и Чоба. — „И сюда ее чорт принес", — подумал товарищ Чикваидзе. — „И чего этому дураку здесь нужно?" — подумала Серафима Павловна. Но так как бездыханные тела лежали тут же, то супружеские переживания на этом и кончились. Серафима Павловна смотрела на роздробленный череп товарища Трофима со смешанным чувством ужаса и сенсации. Сенсация, правда, была слегка испорчена присутствием неутешного супруга . . .

С первого взгляда было ясно, что никакой первой помощи не требуется: товарищ Трофим лежал лицом вверх, впрочем, от лица почти ничего не оставалось, и верхняя часть его была залеплена мозгами. Чоб лежал с окровавленной пастью и был очевидно мертв.

— Отойди, — сказал Чикваидзе и отстранил неутешную супругу рукой — ты тут следы замнешь. Беги скорей в клуб, доложи Медведеву.

— Тут чем-то пахнет, — сказала Серафима Павловна — ее нос деревенской жительницы — да еще и такой, который совался повсюду, — был более совершенным орудием обоняния, чем кавказский нарост на лице товарища Чикваидзе. — То ли а д и к о л о н, то ли пудра какая.

Товарищ Чикваидзе тоже повел носом. Но от бездыханного тела товарища Трофима исходил только слабый спиртный дух, единственный признак недавно угасшей жизни.

— Обязательно пахнет, — сказала Серафима Павловна. — Даже голова как-будто кружится.

Товарищ Чикваидзе еще раз вобрал в свою широкою грудь возможно большой объем воздуха, но опять не почувствовал ничего, — кроме, может быть и в самом деле — чего-то вроде головокружения. И чего-то еще. Товарищем Чикваидзе вдруг овладела злость: „Чего эта дурища всюду свой нос сует?"

— А я тебе говорю, — сказал он внятно и раздельно, — пошла ты к чортовой матери. Слышишь? А то в морду дам!

Серафима Павловна отскочила в сторону, роняя из корзинки свои последние грибы.

— Ты тут, щенок, не разоряйся, а то мы таких, как ты . . .

— Беги, говорю, доложи Медведеву. — Товарищ Чикваидзе постарался взять себя в руки. — Беги сразу. А я тут кругом посмотрю.

Перспектива п е р в о г о сообщения Медведеву примирила Серафиму Павловну с некоторыми репликами неутешного супруга.

Когда неутешный супруг увидел удалившиеся в чащу ты-

ловые формирования Серафимы Павловны, у него даже руки зачесались: шагов сорок-пятьдесят-шестьдесят, — эх, влепить бы заряд дроби! . . Товарищ Чикваидзе даже и двухстволку вскинул, — но снова одумался: „Это, Бог даст, еще успеется — а дух здесь в самом деле какой-то нехороший".

Серафима Павловна бежала, спотыкалась, падала, оборвала юбку, растеряла грибы, бросила корзину — и все бежала и бежала. В клубном здани оказалась только одна живая и бодрствующая душа — кто-то из Васьки-Ваньки. Серафима Павловна побежала к нему и с ужасом обнаружила, что говорить она вовсе не может: не хватает дыхания. Она судорожно втягивала в себя воздух, нелепо тыкала рукой по направлению места происшествия и жестами пыталась объяснить Ванька-Ваське что-то, чего тот никак сообразить не мог. Наконец, Васька-Ванька сообразил принести стакан воды, — а Серафима Павловна за это время успела наглотаться воздуху.

— Мне к товарищу Медведеву, — сказала она.

— Спит.

— Обязательно разбудить! . . Тут убийство! Может — контрреволюция! Этого длинного с собакой — убили. Я как посмотрела . . .

Но Васька-Ванька не слушал дальнейшего. Он повернулся и пошел будить Медведева. Серафима Павловна, все еще задыхаясь и спотыкаясь, пошла за ним. Ванька-Васька просунул голову в комнату:

— Товарищ Медведев, вставайте, скандал произошел.

— А? — спросил Медведев.

— Скандал произошел. Убили кого-то.

— Ого, — сказал Медведев и сел на кровати.

— Тут эта баба прибежала . . .

— Какая я тебе баба, — из-за ванькиной спины выскочила Серафима Павловна, — какая я тебе баба, мужик ты несчастный!

— Ну, в чем дело? — прервал ее Медведев.

Серафима Павловна набрала воздуху и сил.

— Этого длинного, что с собакой. Убили. Личность прямо в клочки. Я там грибы собирала, много их, все боровики.

— Вы грибы бросьте.

— Бросила. Все, как есть, по дороге бросила. И корзинку — тоже.

— И корзинку бросьте — говорите дальше.

— Собираю я, значит, грибы. Слышу — пальба. Как из пулемета — трах-трах-трах. Бегу. Смотрю: лежит этот длинный,

что с собакой, личность — в клочки, собака тоже, и тут стоит этот — как его фамилия, ну, муж мой.

— Чикваидзе?

— Точно так, Чикваидзе — такой ужас, такой ужас, что память отбило. Собака тоже мертвая. Крови то сколько!

— Далеко это?

— Рукой подать. Версты, может, две. Я бежала, бежала, грибы все повылетели, а этот Чикваидзе еще нехорошим словом . . .

— Ванька, ведро воды, — кратко приказал Медведев.

— Я, можно сказать, как пришла, смотрю, ах такой ужас! А тут Чикваидзе, я говорю ему . . .

Голова у Медведева была слегка еще в тумане и настроение похмельное.

— Цыц, сорока, — гаркнул он на Серафиму Павловну, — что ты тут, как пулемет, стрекочишь? . . .

Серафима Павловна так и осталась — с раскрытым на полуслове ртом.

Медведев махнул рукой.

— Ну, идите, потом расскажете, дайте одеться . . .

Серафима Павловна повторила свой классический книксен и с раскрытым ртом выплыла из комнаты. Медведев вышел на двор, Ванька-Васька вылил ему на голову ведро воды, потом Медведев вызвал по телефону Неелово и из Неелова следственную группу — на самолете.

— Останьтесь пока здесь, товарищ Пололобова — я пойду, посмотрю . . .

Товарищ Медведев грузно, но быстро зашагал по тропке. В нужном месте он обнаружил бездыханные тела Трофима и Чоба и на страже их — товарища Чикваидзе с двухстволкой. Медведев осторожно обошел мертвых — человека и собаку — осмотрел все, что можно было осмотреть простым глазом, и пожал плечами.

— Ничего не понять . . .

— Так что, товарищ Медведев, пес, видно, взбесился — с этими, учеными, случается . . .

— Н-да, с учеными — случается, — неопределенно сказал Медведев.

Что тут скрывалось нечто иное — Медведев был уверен. Но что? Какая именно с л у ч а й н о с т ь освободила товарища Бермана от его телохранителя и филера? Может быть, и генерал Завойко не совсем случайно предложил пригласить Бермана на охоту? — Какой охотник из Бермана — даже и водки пить не может? Медведев еще раз и очень внимательно осмот-

рел место происшествия. Судя по внешности, все было очень просто: пес бросился на человека, человек успел выпустить несколько пуль — и, вот, лежат оба. На столь случайный исход не мог надеятся даже и Берман—если это он . . . Медведев засунул руки в карманы штанов и некоторое время безмолвно созерцал расстилавшуюся перед ним картину.

— Товарищ Чикваидзе, вы тут останьтесь до прихода следственной группы, я ее вызвал, будет так через час.

— Слушаюсь, товарищ начальник.

Медведев медленно зашагал к клубу.

***

Серафима Павловна сидела на скамейке перед клубом и переживала сердцебиение. Или даже два сердцебиения. Одно — от непривычного бега, другое от не совсем привычных переживаний. Из лесу показался товарищ Берман — с ружьем и удочкой, но без дичи и рыбы. Сердцебиение прошло сразу.

Серафима Павловна опрометью бросилась навстречу Берману: такое счастье — еще один п е р в ы й доклад!

— Товарищ Берман, ах какой ужас, какой ужас!

Товарищ Берман безмолвно поднял на Серафиму Павловну свои немые глаза.

— Этот ваш, который с собакой, длинный. Убит. Личность прямо в клочки.

— Кем убит? спросил Берман.

— Собакой убит. Наповал. Мозгов-то сколько! Я грибы собирала, грибов ужасть, какая масса, все боровики, слышу — трах-трах-трах, я туда, а там этот, как его, — ну, Чикваидзе, он мне так нагрубил, что я даже и сейчас . . .

— Вы Медведеву сообщили?

— А как же, товарищ Берман, я, как прибежала, запах там такой.

— Где — у Медведева?

— Нет, там, около убитых. Адиколон или что . . .

— Ну, это — от стреляных гильз, теперь порох такой . . .

— Это нет, товарищ Берман, ей-Богу нет, порох — это я знаю . . .

— Вы вот что, товарищ Гололобова, мы, об этом в Неелове поговорим, а пока вы ничего никому не рассказывайте, согласны?

Перед глазами Серафимы Павловны опять пошли радужные круги — вот это — обращение! „Согласны"? А не то, что мужик этот — сорокой обозвал. Ну, мы еще посмотрим, кто там сорокой окажется . . .

Медведев подошел к Берману:

— Ну что, уже слыхали?

— А вы уже видали?

— Видал. Ничего не понять. Товарищ Трофим загрызен на смерть и собака застрелена тоже на смерть. Я вызвал следственную группу, будет здесь, вероятно, через пол-часа. Тогда и поговорим.

— Гипотезы у вас никакой нет?

— Я, товарищ Берман, гипотез не произвожу . . .

Несмотря на почти часовую прогулку, в голове товарища Медведева еще было тускло. Нужно было опохмелиться. Зайдя в свою комнату, Медведев опрокинул скромный стаканчик и закусил его ломтиком лука. В соседней комнате, „конторке" клуба, затрещал телефон. Через минуту к Медведеву вбежал Васька:

— Товарищ начальник, — дежурный по отделению требует срочно . . .

Медведев, дожевывая находу ломтик лука, подошел к телефону.

— Так что, товарищ начальник, сюда звонил секретарь Троицкой партъячейки. Докладывает: на мосту, в четырех километрах от Троицкого, лежит человек, убитый выстрелом в затылок. Убитый раздет догола. Под указанным мостом лежит перевернутая вверх колесами шестиколесная машина НКВД. Под машиной еще один труп, — повидимому, шоффера.

Медведев протяжно свистнул.

— А трупа с цепью на руке нет?

— Не могу знать, о цепи секретарь парткома не говорил ничего. Приказал доложить, что он поставил комсомольский караул на мосту и производит обследование вниз по реке.

— Больше ничего?

— Никак нет, товарищ начальник.

— Хорошо. Через час я буду в Неелове.

Медведев положил трубку и потер руки. Берман, кажется, просчитался. Не все коту масленица. Завойко оказался прав: бродяга завел конвой в засаду. Ясно. А теперь что?

Выйдя на двор, Медведев попросил Бермана на минутку к себе.

— Только что звонили из Неелова. Секретарь Троицкой партъячейки телефонировал, что на мосту найден убитый, а под мостом лежит наша машина. Бродяга ваш, видимо, исчез. Но, может быть, и утонул. Сейчас прибудет самолет со следственной группой — нам нужно улететь с ним.

Товарищ Берман не проявил никакого волнения.

— Нет, мы сделаем несколько иначе. На этом аэроплане я отправлюсь в Троицкое. Вы с группой вернетесь в Неелово на авто и с д р у г о й группой, тоже на самолете, вылетите в Троицкое — там и встретимся.

Что-то в этом предложении Медведеву не понравилось — может быть, плохо скрытое желание Бермана попасть в Троицкое раньше его, Медведева. Но голова все еще работала очень тускло.

— Тогда для разъезда не хватит мест . . .

—Ну, пусть ваши молодожены переночуют здесь — выдумайте им какое-нибудь поручение. Или, лучше, я сам выдумаю . . .

Так перст судьбы снова ткнул Серафиму Павловну в новый узел.

ОПЯТЬ НА МОСТУ

Лейтенант НКВД товарищ Кузнецов сидел под мостом вместе со своим красноармейцем Сидоровым. Лейтенант был мокр до нитки: провалился в какую-то яму в реке. Осенний ночной ветер пронизывал насквозь. Наверху все было тихо. И в голове лейтенанта Кузнецова, казалось, все было ясно: бродяга завел всех в засаду. Потом эта ясность стала слегка затуманиваться.

Нет, на засаду не похоже. Если бы была засада, то всех конвоиров просто перестреляли бы при спуске к реке. Один приличный стрелок с автоматом — и кончено. Завтра здесь будут следственные агенты. От этой публики не укроется ничто. По-видимому, бродяга придумал историю с гнилыми шпалами только для того, чтобы избавиться от него, Кузнецова. Может быть, у него все-таки был хоть один сообщник. Нет, опять не похоже: тогда бродяге нечего было бы кидаться в воду — да еще с прикованным к нему конвоиром.

Рассматривая события с этой точки зрения, тов. Кузнецов понял, во-первых, то, что бродяга его одурачил и, во-вторых, то, что если бы он, Кузнецов успел бы бродягу подстрелить, то еще были бы какие-то шансы избавиться от личной ответственности. В данном же положении этих шансов не было никаких. Прибудет следствие и установит все так, как если бы следственные агенты все время сидели бы в кустах и все фотографировали бы. Тут будут и следы машины, и следы конвоя и какие-то трупы в реке . . . В лучшем случае — Кузнецову грозила ответственность за тяжкий служебный промах. А в худшем?

Группа отправилась по л и ч н о м у приказанию Бермана, а личные распоряжения Бермана были очень категорическими. Значит, дело было не из пустяковых. Что, если вместо обвинения в промахе, будет предъявлено обвинение в с о у ч а с т и и ? Тов. Кузнецов очень хорошо знал традицию данного учреждения — лучше запытать на смерть десяток невинных, чем пропустить одного подозрительного, не говоря уже о виновном. Тов. Кузнецов не был так наивен, чтобы не видеть всей подозрительности этого происшествия. Что же дальше?

Лейтенант Кузнецов сидел под мостом, дрожал от холода и все думал. Конечно, проще бы всего — бросить все и скрыться в тайге. По своей работе в учреждении он знал, как много всякого беспаспортного и подозрительного люда шатается по гигантской территории от Оби до Охотского моря и от Ледовитого Океана до Южного Алтая. Скрыться, заняться золотоискательством, кто в тайге найдет? Но тогда — что будет с семьей?

У лейтенанта Кузнецова была жена и дочь. Женой он, правда, интересовался мало — она была не первой и, вероятно, не совсем последней. Но к двухлетней дочке лейтенант питал чувства, которые для него были новы. Сам то он — сбежит. Семья останется. И по советскому правосудию отвечать будет семья. Лейтенант представил себе девочку погибающей от голода в какой-нибудь колонии беспризорных детей — только тогда весь ужас его положения предстал перед ним во всей его прозаической обнаженности. Словом, так: или он, или дочурка. Третьего выбора, повидимому, не было.

Лейтенант Кузнецов сидел под мостом, дрожал от холода и сырости и все думал. Наконец, выход — такой простой и ясный — был найден . . .

— Ну, что-ж, товарищ Сидоров, давай вылезать.

— Слушаюсь, товарищ командир.

Цепляясь за мокрые камни берега, оба вылезли на мост. Здесь, на мосту, ветер был еще более пронзительным, скудные звезды скупо и нехотя, словно по карточкам, освещали ущелье.

Никаких подозрительных звуков слышно не было.

— Пройди осторожно на ту сторону моста и посмотри, что там, — приказал лейтенант.

— Слушаюсь, товарищ командир.

Сидоров осторожно двинулся вперед. Лейтенант поднял свой пистолет и, целясь в самую верхушку сидоровского черепа, — спустил курок. В лучший мир Сидоров перешел самым комфортабельным из всех возможных путей: без всяких предисловий.

**
*

В течение нескольких дальнейших минут лейтенант Кузнецов развивал стремительную деятельность. Простреленный череп Сидорова он свесил за край моста, чтобы кровь не запачкала его обмундирования. Потом стащил с трупа сапоги, штаны, гимнастерку и прочее — разделся и снова оделся во все сидоровское, — включая и белье, — кстати, все это было сравнительно сухим. Свою собственную фуражку он прострелил сзади и внутренность ее вымазал сидоровскою кровью, — сбросил ее с моста, но не в воду, а на берег. Потом все свое обмундирование он связал в узел, поднял с настила моста чью-то валяющуюся фуражку и исчез в тайге — приблизительно по тому же направлению, по какому исчез и Степка.

Уже завтра тут, конечно, будет следственная группа. Единственный след, который она найдет от старшего лейтенанта Кузнецова — это его фуражка, простреленная сзади и наполненная кровью и мозгом. В списках средне-сибирского отдела НКВД фамилия Кузнецова будет заменена чьей-то иной, семья получит что-то вроде пенсии, а сам Кузнецов будет считаться погибшим на посту. Все—очень правильно. Вопрос об угрызениях совести не обсуждался ни на одном партийном собрании, и этот вопрос был товарищу Кузнецову чужд совершенно. Он никогда не читал Гоббса, но и без Гоббса знал, что человек человеку хуже, чем волк, — человек человеку — чекист.

Пройдя по тайге — ночь — почти ощупью, и день — почти бегом, бывший старший лейтенант Кузнецов разложил костер, сжег на нем все свое бывшее обмундирование, разметал и рассеял его пепел, и начал новую жизнь, с которой мы, может быть, еще столкнемся . . .

**
*

Секретарь Троицкого парткома, товарищ Нечапай, отправляясь рано утром по служебным делам, первым открыл: голый труп на мосту, перевернутый вездеход — под мостом и что-то вроде трупа под вездеходом. Охваченный служебным рвением и чувством сенсации, с замиранием сердца он позвонил в Неелово. Но так как там, кроме дежурного офицера, не было никакого стоющего начальства, то товарищ Нечапай был слегка разочарован. Впрочем, несмотря на это разочарование, товарищ Нечапай проявил значительную административную деятельность: поставив на мосту караул, сам отправился вниз по реке с дюжиной вооруженных комсомольцев — для поисков дальнейших следов или жертв нападения. В нескольких десятках метров вниз от моста группа обнаружила на отмели реки

труп очень основательного гражданина, с отрубленной на запястьи левой рукой и со страшной раной под грудью. Труп был вытащен из воды и осторожно положен на берегу: товарищ Нечапай знал, как опасно путать оставленные преступниками следы их деятельности. Дальнейшие поиски вниз по реке не дали ничего. Метрах в пятистах две речки сливались в одну — достаточно многоводную и быструю, и найти там что-нибудь было затруднительно. Товарищ Нечапай, впрочем, приказал нескольким комсомольцам пройти еще километров десять вниз по реке и сам вернулся в Троицкое.

В Троицком оказалось, что ему из Неелова звонили „разов с двадцать", как сообщил об этом дежурный по комитету. Нечапай предпочел избавить Неелово от двадцать первого звонка и позвонил сам. Дежурный по отделу был видимо не в духе:

— Куда это вас черти носили, товарищ Нечапай?

—Не черти, а по службе. Реку осматривали.

— Не ваше это дело. Приготовьте транспорт. Часа чере два прибудут власти.

— Сколько властей?

— Приедет товарищ Берман — это раз.

У Нечапая даже дыхание захватило: с а м Берман! Значит, дело первостепенной важности. Теперь ему, Нечапаю, нужно уж в грязь лицом не ударить, — кто знает, какие возможности может открыть хотя бы и не очень близкое знакомство с Берманом.

Но дежурный по отделу продолжал:

— Потом прибудет товарищ Медведев со следственной группой, потом, должно быть двое или трое с собаками. Приготовьте транспорт от выгона к мосту, все прибудут на самолетах.

И Берман, и Медведев, и на самолетах! Ну, держись, товарищ Нечапай, такой оказии, может быть, во всю остальную жизнь не представится!

— А на когда транспорт приготовить?

— Товарищ Берман уже вылетел, будет надо полагать часа через два. Товарищ Медведев — попозже. Я еще позвоню через полчаса.

— Так я через полчаса снова буду у аппарата.

В течении тридцати минут товарищ Нечапай проявлял неслыханную административную деятельность. В результате ее на огромный и гладкий, как стол, выгон у Троицкого были отправлены: единственная в Троицком рессорная коляска для начальства и — запас беды не чинит — полдюжины телег, — для простых смертных. Через полчаса товарищу Нечапаю бы-

ло сообщено, что товарищ Берман будет через час — полтора, товарищ Медведев — почти в то же время, может, минут на десять попозже.

Товарищ Берман представлялся Нечапаю в ореоле какой-то далекой таинственной и почти всемогущей власти, что, вообще говоря, соответствовало действительности. И, кроме того, огромной, сановитой фигурой, что, как мы уже знаем, действительности не соответствовало. Поэтому, когда из самолета вылез товарищ Берман, плюгавый, потертый, „сушеный", как впоследствии определил его Нечапай, — Нечапай не сразу признал в нем всемогущее начальство.

— А товарищ Берман где? — спросил он у невзрачного человека.

Невзрачный человек поднял на Нечапая свои буравящие глаза.

— Это — я. Что у вас столько подвод стоит?

У Нечапая стало как-то холодновато на душе: вот прошляпил!

— Товарищ Медведев сейчас прибудет.

— Как это — сейчас?

—Точно так. Мне по телефону из Неелова сообщили. Минут через десять после вас . . .

Товарищ Берман не проявил никакого удивления. Это значило только то, что у Медведева были основания помешать Берману первым попасть на место происшествия. Основания были довольно прозрачны: е с л и на месте происшествия окажутся следы виновности людей Нееловского отдела — то Медведев постарается их замести. Довольно ясна была и техника: Медведев просто вызвал самолеты в Лесную Падь — кстати это было по дороге в Троицкое, вероятно, более быстроходные самолеты, вот они уже поблескивают на горизонте своими серебряными крыльями.

Товарищ Берман, не говоря с Нечапаем ни слова, направился к коляске, сел в нее и закурил папиросу. Товарищ Нечапай остался стоять на выгоне. Через несколько минут снизился первый самолет и товарищ Медведев, разминая находу свое тучное тело, подошел к Нечапаю.

— Это вы открыли происшествие?

— Точно так, товарищ Медведев.

— Хорошо сделали, что поставили караул. Что еще нашли?

— Еще труп — я уже докладывал.

— И больше ничего?

— Больше покамест ничего. Послана группа дальше по реке.

— А лес осмотрели?

— Никак нет. Боялся, наши затопчут там все.

— Тоже правильно. Вы — молодцом!

В груди товарища Нечапая расцвели всякие административные предвкушения: похвала Медведева чего-то стоила. Потом снизились еще два самолета. Из одного вылезли трое мрачных и делового вида людей, вооруженных какими-то аппаратами в кожаных футлярах и сумках. Из второго — тоже трое, не менее мрачных и деловых людей с тремя собаками ищейками. Все они, кроме того, были вооружены коротенькими автоматами — таких Нечапай еще не видал — это были „томми ган".

Товарищ Медведев влез в коляску, в которой уже сидел Берман.

— А вы, товарищ Нечапай, езжайте с нами. Садитесь вот сюда.

Нечапай сел на облучок, и весь транспорт тронулся. Коляска слегка обогнала телеги, и перед мостом Медведев попридержал кучера:

— Стой здесь, не то мы рискуем испортить следы.

Берман не говорил ничего. Мрачные и деловые люди с аппаратами слезли шагов за сто до моста, один пошел по дороге, двое по лесу справа и слева дороги. У моста они соединились, повидимому, не найдя ничего, заслуживающего внимания.

На мосту, свесившись простреленной головой над его краем, лежал голый труп. Сыщики сфотографировали, осмотрели, перевернули его — но ничего загадочного не нашли: ясно, — выстрел в затылок с очень небольшого расстояния. В трупе Медведев опознал одного из подведомственных ему солдат отдела. Потом сыщики осмотрели и сфотографировали дорогу, следы людей и автомобиля на густом слое грязи, покрывавшем настил моста, сняли мерки с этих следов — и вообще проделали целый ряд манипуляций, значение которых осталось для товарища Нечапая несколько таинственным. Внизу, на берегу речки, точно таким же образом, осмотрели труп огромного мужчины. Уже и поверхностный осмотр обнаружил страшную резаную рану под грудью и пулевую рану без входного отверстия: человеку всадили в живот штык винтовки и из этой же винтовки выпустили пулю в упор. Кроме того, у человека оказалось перерубленным запястье. Кисть руки так и не была найдена.

Потом с помощью веревок, комсомольцев и коней товарища Нечапая был перевернут вниз дном и вытащен на берег вездеход, и под ним обнаружен еще один труп — и тоже с головой

раздробленной выстрелом сзади и почти в упор. Лицо товарища Медведева стало постепенно затуманиваться.

— Здесь, товарищ Берман, — сказал один из сыщиков, — никаких посторонних следов нет.

— Им и неоткуда быть.

— Ясно, — сказал Медведев, — никакой засады тут и в помине не было. Но тогда, значит, ваш бродяга как-то ухитрился ликвидировать пять человек.

— Не пять, а пока только три.

— Боюсь, найдут и еще двух.

— Так что разрешите доложить товарищ Медведев, — сказал Нечапай, — там, внизу, речка впадает в другую, воды там много, а лодок нет, я послал за лодками в соседний колхоз.

— Во всяком случае, — сказал Медведев, — соучастие этих двух не найденных исключается абсолютно. Но как этот ваш бродяга ухитрился ликвидировать пять человек?

— Сопровождение было недостаточно.

Медведев пожал плечами и несколько секунд молчал.

— Нет, не могу сказать: для засады и двадцати человек могло оказаться недостаточным. Но для сопровождения одного безоружного арестанта — пяти человек за глаза довольно.

— Тем не менее — вот видите . . .

Однако, Берман был относительно доволен. Засада могла бы означать катастрофу. Индивидуальный побег давал еще кое-какие шансы. Берман сошел с моста, сел в коляску и закурил. Медведев стоял на мосту, расставив ноги и наблюдая за неторопливой и основательной деятельностью сыщиков. Осмотрев мост, они спустились под него, обнаружили там следы Кузнецова и Сидорова, ножевые порезки на сваях моста и пришли к Берману, имея, в сущности, довольно точную картину всего происшедшего. Повидимому, лейтенант Кузнецов решил почему-то проверить, — выдержат ли сваи двухтонный вес вездехода. Кузнецов взял с собою одного красноармейца. Наверху остались четверо: шоффер, бродяга, боров, и еще один красноармеец. Последние двое, судя по следам на настиле моста, сошли с машины. Следовательно — бродяга очутился лицом к лицу только с двумя. Перипетии борьбы Степки с боровом и красноармейцем можно было восстановить с достаточной степенью точности: следы ног, следы упавших тел, кровь и так далее. Отрубленная рука борова ясно указывала на то, что бродяга остался цел. Смятый и сорванный мох на камнях берега показывал на его дальнейшее направление: обратно к мосту. Гибель шоффера и автомобиля объяснялась

совершенно удовлетворительно. Менее ясна была судьба лейтенанта Кузнецова. Бродяга мог просто пристрелить его сверху. Во всяком случае, если бы лейтенант Кузнецов остался бы в живых — он как-то дал бы о себе знать.

— Не совсем ясно, — сказал пожимая плечами Медведев, — зачем бродяге нужно было возвращаться на мост? Оружие у него уже было, вероятно, от убитого им конвоира.

— Продовольствие, — сухо предложил Берман.

— С винтовкой он уж достал бы себе продовольствие. И с меньшим риском ... Как никак — еще трое вооруженных людей ...

Берман не ответил ничего. Он курил свои подозрительные папиросы — одну за другой — и, казалось, думал о чем-то, очень мало связанном с происшествием на мосту.

— Теперь, — сказал он — нужно пустить ищеек.

— Больших шансов нет. Ночью моросило. Инцидент произошел по меньшей мере пятнадцать — семнадцать часов тому назад ... Но нужно, конечно, попробовать ... Предприимчивый гражданин — ваш бродяга, однако ... Боюсь, что наших людей слишком мало — нужно с ними послать конных комсомольцев.

— Пошлите, — сказал Берман.

Из тайги на взмыленной лошади прискакал мальчишка — лет шестнадцати, веснущатое лицо которого горело восторгом приключения. Не доезжая еще шагов ста до начальственной группы мальчишка стал орать пронзительным голосом:

„— Нашли, нашли, нашли!"

— Кого нашли? — спросил Нечапай, когда мальчишка подскакал поближе.

— Красноармейца нашли. Совсем целый.

— Что, жив?

— Какое жив! Должно быть — утоп. А ран никаких. Там, — мальчишка показал рукой куда попало, — верстов с пять будет ...

— Ну и Кузнецова найдут, — сказал Медведев.

— Проблематично, — Берман показал на голый труп, все еще лежавший на мосту.

— Почему проблематично?

Берман глубоко затянулся папиросой.

— Мы можем предположить, что бродяга раздел убитого, чтобы воспользоваться его обмундированием. Но тогда он оставил бы здесь свою собственную рвань. Потом: если Кузнецов вот с этим красноармейцем — как его? ...

— Сидоров ...

— . . . С Сидоровым были под мостом, то, значит, Сидоров убит НЕ бродягой.

— А кем же? — удивленно пожал плечами Медведев.

— Допустим — Кузнецовым.

— А зачем?

— Этого мы п о к а не знаем. Эй вы, товарищ! . . .

Старший сыщик подошел к Берману.

— Что вы думаете об убийстве вот этого солдата? — спросил Берман.

— Позволю доложить, что это мало объяснимо.

— Но что, вы д у м а е т е ?

— Так что в момент первого столкновения офицер с солдатом были под мостом. Арестованный бросился в воду сразу же. Офицер с солдатом провели внизу довольно долгое время, сидели, топтались, много следов. Так что это не арестованный.

— Что: не арестованный? — раздраженно переспросил Медведев.

— Не арестованный стрелял в солдата. Кто-то другой.

— А кто же мог?

— Не могу знать, товарищ Медведев. Но с близкого расстояния. Мои люди еще обследуют э т и следы.

— А берег по нашу сторону вы осмотрели?

— Точно так. Ничего подозрительного.

— Вот об этом-то я и говорю, — сказал Берман.

Медведев еще раз пожал плечами.

— На каком счету был у вас этот старший лейтенант? — спросил Берман.

— У меня все люди абсолютно проверены.

— Таких людей, товарищ Медведев, в природе не бывает.

Медведев только покосился на Бермана и не ответил ничего. Здесь, в тайге, у него не было того ощущения бермановского всемогущества, которое давило его в доме №. 13. Здесь в тайге, он мог Бермана задушить одной рукой — мечта была глупой, но она была. Он мог приказать арестовать Бермана и пристрелить его тут же на месте, — кроме сыщиков никто, кажется, не знал действительной власти Бермана. Этот проект тоже был глупым проектом, но он как-то ставил Бермана на одну доску с ним, с Медведевым.

**
*

Медведев, ничего не говоря, решительно встал, слез с коляски и направился на мост. Там двое из сыщиков ползали на четвереньках по настилу, во что-то вглядывались, что-то измеряли.

— Ну, что? — спросил Медведев.

— Очень много натоптано, товарищ начальник. Вот тут следы офицерских подошв, совсем около трупа. А ушли только солдатские подошвы. Вот тут кто-то сидел — может быть переодевался. Нашли офицерскую фуражку, прострелена и вся в крови, вот поглядите.

Фуражка имела очень неапетитный вид, но Медведев видывал и не такие виды. Он с торжествующим видом обернулся к Берману:

— Ну, вот видите — кузнецовская фуражка тоже прострелена сзади.

Берман с осторожной брезгливостью взял в руки новое вещественное доказательство и стал его осматривать с чрезвычайной внимательностью. Медведев стоял, расставив ноги и на душе у него снова начинало накипать роздражение:

— Значит, кто-то ликвидировал и Сидорова и Кузнецова. Ясно, как апельсин.

Медведеву Берман не ответил ничего. Экономным движением руки он подозвал к себе Нечапая.

— Вы, товарищ, скачите сейчас же в Троицкое и передайте в Неелово по телефону мой приказ: сейчас же опечатать квартиру старшего лейтенанта Кузнецова.

Медведев даже побагровел от негодования.

— А — это зачем?

— А затем, товарищ Медведев, — сказал Берман оффициальным тоном, — что эта фуражка была прострелена пустой. Посмотрите на выходное отверстие — ни одного осколка черепной кости.

Трудно было бы подсчитать, сколько простреленных черепов видел — и продуцировал — на своем веку товарищ Медведев. Поэтому, взяв в руки простреленную фуражку, он понял сразу: Сидорова застрелил старший лейтенант Кузнецов. Но зачем?

Как бы услышав его невысказанный вопрос, Берман сказал — попрежнему кратко и оффициально:

— Самое вероятное: бознь ответственности и попытка замести следы. Но могут быть и другие объяснения . . . Сколько дней хода до перевала?

— Хорошего хода — дня четыре.

— Значит — верхом дня три?

— Точно так.

— Но полоса альпийских лугов начинается раньше?
— Точно так — но не на много.
— Ну, значит, остается авиация...

В ТАЙГЕ

Бывший лейтенант Кузнецов шагал, сам не зная куда — только бы подальше. И — поскорее. На ходу он передумывал свои действия на мосту и все больше и больше проникался неприятным ощущением какой-то технической ошибки. По своему служебному опыту он уже знал давно: человек торопится, иногда даже и волнуется, а потом приходит спокойная следственная група, которой ни торопиться, ни волноваться совершенно незачем, и, вот, в плановых наметках преступника оказываются вопиющие дыры. Могли, например, найти стреляную гильзу — нужно было найти ее самому, но было темно... Следы на мосту... Погода была влажная, следы, вероятно, остались. Могут найти — с ищейками — и остатки сожженного обмундирования. Металические пуговицы сгореть, ведь, не могли... Ну, мало ли что еще... Словом, настроение у бывшего лейтенанта было придавленное.

***

По той же тайге, но в совершенно определенном направлении шагал и Степка. В противоположность бывшему лейтенанту, — Степка захлебывался от восторга. Не только потому, что он снова был на свободе, что где-то, не так уж далеко, ждет его Лыско, а при нем, Лыске, есть еще и спирт — а, главным образом, от восторга перед самим собой: вот как ловко он все это обтяпал — и этого цыганистого комара провел, и борова на тот свет отправил и машину перекинул в воду — айда Степка, знай наших! Единственным темненьким пятнышком на правой руке Степки болталась цепь. Нужно было по боровским карманам пошарить, — там наверное был ключ от цепи. Ну, всего сразу не сообразишь, а там видно будет.

Сквозь ночь и тайгу Степка шагал медленно и осторожно: не дай Бог свернуть себе ногу так близко от этого проклятущего моста — уж завтра-то там будут всякие люди, начнут искать... И этот цыганистый комар, наверно, прилетит. Степка окончательно решил отряхнуть со своих ног прах

своей таежной родины и смываться то ли к сойотам, то ли к китайцам. Тут рано или поздно поймают, и уж тогда не убежишь...

На первом же привале Степка попытался избавиться от цепи. Браслет был довольно широк, но не на столько, чтобы просунуть сквозь него жилистую бродяжью руку. Разве разбить его? Степка положил руку с браслетом на камень и другим камнем сплюснул браслет по одному диаметру. Потом — по другому, перпендикулярному. Потом еще и еще раз. Через полчаса на браслете появилась трещина. Еще через полчаса браслет лопнул, наполняя Степку новым восторгом перед самим собой. — „Эх, быть бы мне министром или генералом!...” Но эта перспектива даже Степке казалась достаточно отдаленной. Спертый с авто чемодан был ближе.

Степка раскрыл чемодан. Там были: белый хлеб, какие-то консервы, колбаса, коробка с кетовой икрой и прочее и прочее. И что самое важное — была аллюминиевая фляжка емкостью литра в два. Вид фляжки наполнил степкину душу новым порывом восторга: Не будут же люди воду или чай во фляжке возить!

Во фляжке, действительно, не было ни воды, ни чаю. И пробка была такая занятная — ровно стаканчик. Степка налил стаканчик, но чей-то голос сурово сказал:

„Опять напьешься и опять влипнешь!”

Степка опустил руку со стаканчиком. В самом деле — прошел он верст с двадцать, не больше, ночью по тайге не побежишь. Уж и сейчас, наверно, на мосту сидят чекисты, все нюхают, а потом с собаками пойдут по степкиным следам. Мысль о собаках привела Степку в несколько нервное настроение: как это он до этих пор о собаках не вспомнил? И, — еще. — о том, как он в Лыскове, вот тоже так: надрался и проболтался. И еще тоже из-за спирта попался у этого проклятого коопа. Вот теперь — в самый раз бы выпить. А собаки?

Другой, тоже нездешний голос, шептал Степке о том, что вот уже сколько дней ни маковой росинки не было. И в горле совсем пересохши после таких волнений. И что одна стопочка, — что она значит?

Так сидел Степка, со стаканчиком почти уже у губ и с гражданской войной на душе: выпить — не выпить? Первый голос, наконец, одолел. Степка, тяжко вздохнув, вылил стаканчик обратно во фляжку, и за этот подвиг был возна-

гражден новым припадком восторга: „Железный человек этот Степка — эх, быть бы ему генералом!"

Но на хлеб, икру и прочее никакого запрета не было. Основательно подкрепившись, Степка начал соображать. Прежде всего — где именно Лыско? Степка припомнил: так — речка, так мост, так Троицкое с его паршивым коопом — от моста Степка шагал на полдень — все это вырисовывалось в его бродяжьем мозгу с точностью фотографического снимка. Словом, Лыско был почти найден. Оставался вопрос о собаках. Но и против собак были свои способы. Степка пожертвовал стопку водки на омовение своих подошв и, как показали дальнейшие события, его очередные предохранительные меры были уже излишними. К вечеру того же дня сыщики с ищейками дошли до кострища и дальнейших следов ищейки унюхать уже не смогли.

Степка, шагая все дальше на полдень, норовил использовать всякий ручей, чтобы пройти по его дну несколько сот шагов, обертывал свои ноги травой и ветками, потерял на этом часа два пути, но после полудня все-таки нашел Лыско.

Лыско, стреноженный, пасся на прежнем месте. Завидя Степку, он приветливо заржал. Ближайшее знакомство принесло Лыске некоторое разочарование: не было слышно такого близкого и привычного сивушного духа, — Степка это или не Степка? Но Степка уже обнимал лыскину шею, трепал его по плечу и говорил всякие хорошие слова, не очень приличные по содержанию, но очень ласковые по тону. Содержания Лыско, к счастью, не понимал, но тон не оставлял никаких сомнений.

Степка навьючил на Лыско остатки своей ноши, взял в руки повод и оба друга двинулись дальше: до ночи нельзя было и думать об остановке. Поздним вечером, развьючив и стреножив Лыско, Степка устроился под какой-то мохнатой елью — и сейчас никакие голоса, ни здешние, ни нездешние, не стояли между Степкой и фляжкой. Ночь была — хоть глаз выколи, костра Степка не решился развести, снова стал моросить мелкий осенний дождик — очень холодный дождик на этой высоте, но под елью было сухо, и Степка предался неограниченному наслаждению жизнью.

Следущие дни повторяли райскую эпопею, пережитую Степкой и Лыской до приключения у Троицкого коопа. Какая-то мысль, однако, слегка беспокоила Степку. Проанализировав состояние своей психики, Степка, наконец, открыл эту мысль: водка как-то очень уж быстро утекала, а ни

в какие коопы Степка уже больше не ходок: хватит. В особенности сейчас, после подвига на мосту — сейчас уж вся красноармейщина на ноги поставлена...

С каждым днем Степка и Лыско уходили все дальше и выше. Лес стал редеть и мелчать. Тайга прерывалась все большими и большими луговыми прогалинами. Степка старался их обходить, но это удавалось не всегда. Однажды, идя по мелкому перелеску, Степка услыхал какой-то странный гул, несущийся откуда-то сверху. Подняв голову, Степка сквозь жидкие ветки перелеска увидел тускло поблескивающий своими аллюминиевыми крылями самолет. Самолеты Степке приходилось видать, — очень редко, но приходилось. Они всегда вызывали у него ощущение какой-то обиды: вот тут месишь, месишь тайгу, а этот, почитай, сто верст в час летит! Самолет летел медленно и низко, как коршун, высматривающий свою добычу. Почти инстинктивно Степка с Лыской нырнул под самое густое в пределах достижения дерево и стал ждать. Самолет летел не прямо, а кругами — опять же, как коршун. Острые степкины глаза разглядели на нем двух человек. Один правил машиной, а другой смотрел на расстилающуюся под ним тайгу, луга, перелески скрозь какой-то агромадный бинокль. Чего-то, значит, ищет. Только — чего?

И вдруг тревожная мысль, острая, как укол, вонзилась в степкины мозги. А вдруг ищут именно его, Степку, чего ж им тут больше искать? И, в самом деле! Этот цыганистый комар — видно большущее начальство. И допрашивал он Степку не из-за прошлогоднего снега. Конвоиров дали целых пять человек. На такой машине везли, о каких Степка и слыхом не слыхал. Дался им этот портфель?

Степке пришла в голову запоздалая идея — выбросить портфель ко всем чертям, — пусть подавятся. Но было ясно, что это ничого не спасает: сейчас гонятся за ним, Степкой, на душе у Степки, помимо всего прочего, — еще и три чекистских жизни — нет, тут уж никакой портфель не поможет. Да и кто будет знать, что он уже не у Степки?

Самолет покружил, покружил над самым степкиным перелеском и полетел кружиться на другое место. Но скоро острый степкин слух уловил гуденье другого самолета, потом — где-то очень далеко — начали гудеть еще несколько. Становилось нехорошо.

Степка привязал коня к дереву, взял бинокль, влез на сосну и стал смотреть. Так и есть: там, где перед перевалом

расстилается огромная луговина — кружатся и спускаются еще несколько самолетов. Другие кружатся поближе и с них падают словно хлопья снега, — огромные этакие хлопья. Больше не было видно ничего.

Степка слез с дерева в достаточно тревожном настроении. Через перевал, значит, ходу нет. Через гребень с Лыском никак не пройти, — да еще неизвестно, можно ли пройти пешему. Кроме того, через луговины днем идти было нельзя — вот вылетит такая железная сорока — и поминай, как звали: на луговине никуда не укроешься.

Степка снял с коня весь его багаж, часть запихал под подходящий куст — жалко было, да что поделаешь! Все, самое нужное засунул в спинной мешок и дошел до такой степени самоотвержения, что даже и водку с собой не взял. Некоторые размышления вызывал только портфель: он не был тяжел, путного в нем ничего не было — какие-то бумажки, прочитать которые у Степки не было ни охоты, ни квалификации, потом портрет вот этого Светлова — Степка еще раз достал бумажку и еще раз посмотрел на портрет: образованный, видимо, мужчина — этот Валерий Михайлович Светлов — вишь сколько денег за него обещано! После некоторого колебания Степка запрятал портфель в свой мешок — плеч не давит, а пригодиться может.

Уже стемнело. Ведя Лыско на поводу, Степка стал перебираться через луговину. После нее — начинался небольшой спуск заросший жидким лесом. Дальше почва опять подымалась до самого гребня — Степка знал эти места — шла сначала луговина, потом — шел спуск, заросший мелким лесом, потом снова подъем — голый, густо засыпанный мелким камнем. И, дальше — почти отвесная стена гребня.

Сейчас можно было перебираться через луговину — ночью никакой самолет ничего не увидит. Степка сел верхом на Лыску и шагом тронулся вперед. Где-то еще гудели самолеты, вызывая у Степки неуютное чувство, что он ничем, кроме ночи, не защищен. И, вдруг, в нескольких верстах от него, на небе показалась небольшая яркая точка. Через несколько секунд она вспыхнула нестерпимо ярким пламенем. Степка успел соскочить с коня и заставить его лечь на землю — и сам лег рядом. Точка все разгоралась, — но от Степки она была слишком далеко, может и Степки еще не видно. Но, если загорелась одна, — почему не загореться и другой?

Когда ракета потухла, Степка стремительно повернул назад — в перелесок. Едва он успел — вместе с конем —

устроиться под деревом, как новые и новые ракеты стали вспыхивать над предгорьем, освещая местность на десяток верст кругом. Степка понял, что дело его совсем плохо: сзади, конечно, чекисты с собаками, спереди — гребень, сверху — самолеты, да еще и с ракетами. Перевал, конечно, заперт. Нужно будет сворачивать направо и пробираться, как-то, через гребень.

Степка уселся под деревом и стал думат:. Горы тут такие, что и днем — неизвестно, пройдешь ли, а ночью и подавно. Днем же с самолета все видно, как на ладошке. Впрочем, с этими проклятыми ракетами и ночью все будет видно. Степка чувствовал, что он загнан в угол.

К этому чувству примешивалось и нечто вроде гордости: всю чекистскую машину против него, Степки, в ход пустили. Он еще раз подумал о портфеле, о документах, о таинственном Светлове и решил со всем этим не расставаться ни в каком-случае. Мало ли что может быть? Документы, видно, важные. Может, продать кому удастся?

Но это было отдаленной перспективой. Ближайшая сводилась к тому, что нужно бежать, как можно дальше и как можно скорее. Степка со вздохом стал развьючивать Лыско, снял с него и седло и уздечку, из своего собственного багажа выкинул все, кроме портфеля, кое-каких запасов, винтовки, топорика, патронов, бинокля и кое-чего еще. Потом Степка срубил большую мохнатую, густую еловую лапу и стал прощаться с Лыской.

— Так вот что, брат, кончилось, брат, наше счастье. А?

Лыско не ответил ничего, только втянул в себя воздух и переступил с ноги на ногу.

— Вот, брат Лыско. Ты тут, значит, оставайся, а я, значит, — пойду. Может и увидимся еще, а?

Степка потрепал Лыску по шее, погладил по морде и вдруг почувствовал, что его глаза сами по себе начинают моргать.

— Ах ты, зверь ты такой, поросячий, — сказал Степка, — хороший ты, брат, зверь, ну прощай, брат, живи себе, Бог дасть, еще увидимся . . .

Лыско жалобно заржал. Степкины глаза снова стали моргать сами по себе. Степка обнял лошадиную голову, чмокнул ее куда попало и, потом решительно махнув рукой, повернулся и стремительно зашагал прочь. В одной руке у него была еловая лапа, другой он старательно вытирал глаза.

Где-то в темном небе гудели самолеты и светились их огни. Вдруг вспыхнула ракета, Степка быстро лег на землю

лицом вверх и прикрыл себя еловой лапой. Самолет пролетел прямо над Степкой, но под лапой было спокойно: кусты можжевельника и ельника были разбросаны повсюду, и кто мог догадаться сверху, что под одним из таких кустов лежит человек? Ракета потухла, и Степка стремительными шагами двинулся дальше. Теперь нужно пройти возможно больше и возможно скорее.

Так всю ночь — от ракеты до ракеты, шагал Степка, держа наискосок направо, чтобы и от перевала было подальше и к гребню поближе. Начинало светать, и Степка боялся, что до настоящего рассвета ему не удастся добраться до каменных завалов у подножья гребня, в которых можно было бы как-то укрыться даже и днем. Кроме того, даже Степкины волчьи ноги начинали давать себя чувствовать.

Рассвело. Часа, пожалуй, с два не было никаких самолетов — и Степка шагал изо всех своих сил, карабкаясь все выше и выше по каменным осыпям. Уже вдали, верстах в двух-трех, виднелась стена гребня, почти отвесная стена, изрезанная сверху вниз впадинами, расселинами и промоинами, а по горизонтали чем-то вроде гигантского карниза, нависшего над каменными завалами внизу. Степка шагал так стремительно, что не сразу услыхал гул очередного самолета. Но тот был еще далеко. Степка снова лег на землю и снова укрылся своей лапой. Самолет пролетел над Степкой, улетел вдаль и потом, как бы раздумав, повернул назад — описывая огромную дугу и креня свои блестящие крылья. Сейчас он летел совсем низко — Степка не мог сказать, на какой именно высоте, но что-то очень низко. Степке снова стало как-то нехорошо. С чудовищной скоростью, почти на высоте хорошего дерева, самолет оглушительно прожужжал над Степкой, потом вихрь воздуха поднял лапу и отбросил ее в сторону. Самолет круто взмыл вверх, снова повернулся назад и, пролетая над Степкой, стал сыпать какие-то блестящие штучки, вроде как паутина. Штучки медленно опускнулись на Степку, блестя на солнце серебряными нитями. Степка понял, что скрываться больше нечего. Бросив лапу, и сняв из-за спины винтовку, он бросился бежать. Самолет все кружился над ним, описывая круги с версту в диаметре, и все посыпая Степку своими блестящими штучками. Штучки оказались безвредными, и Степка понял, что они только указывают кому-то на то место, где сейчас из всех своих волчьих ног, по гальке и камням, рытвинам и ямам бежит Степка, спасая свою безнадежную жизнь.

Гребень был все ближе и ближе. Вправо, наискосок была какая-то расселина — глубокая и черная, видимо, заросшая кустарником. Расщелина могла быть спасением. На бегу Степка все-таки обдумывал свое положение, и решил живым не даваться никак: все жилы вытянут, все суставы выворотят, а в чем ему, Степке, сознаваться? Да еще и убитые конвоиры. Нет, пули из винтовки — в красноармейцев. Пулю из пистолета — себе в лоб.

Загудели новые самолеты и из них стали сыпаться такие же белые грибы как те, которые Степка в бинокль заметил у перевала. Грибы падали на землю и из-под них выскакивали люди. В форме и с винтовками. В детали Степка всматриваться не стал. Один из грибов упал по дороге между Степкой и расселиной; от гриба отделился и выскочил красноармеец. Степка вскинул винтовку, и едва успел красноармеец как следует стать на ноги, как Степка спустил курок. Красноармеец нелепо ткнулся лицом в камни и замер. Степка повернулся назад и в несколько последних выстрелов вложил все свое таежное хладнокровие и весь свой охотничий опыт. Винтовка была автоматической, а Степка не имел обыкновения давать промаха. От тех грибов, которые упали подальше, вскакивали новые люди — много людей — и бежали к нему, но они были далеко, с полуверсту. Степка снова бросился бежать, туманно изумляясь тому, что в него не стреляют, — должно быть живым хотят взять — ну, это еще бабушка надвое ворожила. Но подбегут ближе — ногу прострелят, чтобы и бежать не мог и живым попался. Если ногу, то еще хорошо — успею застрелиться, а если в живот? потеряешь сознание — и потом будут жилы вытягивать и суставы ломать. Степка закинул винтовку за плечи, на бегу вытащил пистолет, чтобы успеть не даться живым. Гребень был уж в нескольких шагах, расселина зияла черным своим провалом, и Степка понял, что выхода нет. К нему бежало десятка два человек и, пока он будет карабкаться по расселине, ему из винтовок все суставы перебьют. Уже окончательно выбившись из сил, задыхаясь и спотыкаясь, Степка бежал вдоль гребня и вдруг сразу — с карниза этого гребня затрещали новые выстрелы и откуда-то справа из какой-то ложбины выскочил красноармеец с винтовкой наперевес, с искаженным от злобы и страха лицом и заорал:

— Сдавайся, говорят тебе, сукин сын!

Степка уже ни о чем не думая, выпустил в красноармейца несколько пуль подряд и только потом с ужасом сообразил,

что для него самого может быть и пули никакой не осталось. Ну, теперь все равно — конец. Степка всунул ствол пистолета в рот и с ужасом почувствовал, как тяжело это маленькое-маленькое, но последнее, самое последнее движение: нажим на спуск. Сердце колотилось, как раненая птица, перед глазами ходили кровавые круги, кто-то сверху что-то орал, и вдруг Степка заметил, как перед самым его носом, извиваясь, падает веревка — а на веревке петля. Какой-то медвежий голос сверху, с карниза, ревел ревмя:

— Сунь, паря, ногу в петлю, вытянем!

Степка не соображал уже ничего. Взяв в зубы пистолет, он всунул ногу в петлю и какая-то нездешняя сила поволокла его вверх. Снизу и сверху трещали выстрелы, пули щелкали по камням гребня, какие-то складки расселины, очевидно, как-то защищали Степку от каких-то пуль. Степка стукался то головой, то коленями, то плечами о камни, почти теряя сознание, судорожно сжимал веревку, а нездешняя сила все волокла и волокла его вверх, вверх, вверх...

СЕРАФИМА ПАВЛОВНА ДЕЙСТВУЕТ

Из Троицкого Берман прилетел в несколько раздраженном состоянии. Его теория заговоров и контрзаговоров допускала существование случайностей, вклинивающихся совершенно неожиданно в самый блестящий план. Но та же теория говорила о том, что если случайности начинают повторяться, — они перестают быть случайностями. Побег бродяги — это уже не первая „случайность". Сидя у себя в кабинете и перебирая в памяти всю картину происшествия на мосту, поскольку ее можно было восстановить на основании следов и прочего, — Берман, так сказать, разрывался пополам. Одна половина видела совершенно ясно: ни о какой засаде и речи быть не могло. Другая половина догматически признавала, что целая полдюжина случайностей вырисовывалась в какую-то общую картину. И где-то на заднем фоне этой картины неуловимо туманно смотрели серые глаза научного работника гражданина Светлова. Взрыв на Атомграде ном. 3. Пропажа украденных в САСШ производственных данных. Гибель филеров. Ранение и смерть Кривоносова. Исчезновение портфеля. Гибель конного взвода. Убийство или самоубийство Гололобова. Исчезновение Жучкина. Побег бродяги. Слишком много случайностей. И не было ли все происшествие на мосту только инсценировкой? Для того, чтобы очень.

продуманному плану действия придать вид чистой случайности?

Данных для решения этого вопроса еще не было. Значит, нужно собирать новые данные... На столе тонко пропищал служебный телефон. Берман нехотя взял трубку. Звонили из комендатуры.

— Так что, товарищ Берман, эта самая товарищ Гололобова пришла. Говорит, какое-то открытие сделала. Беспременно требует вам доложить.

У Бермана не было никакого желания видеть товарища Гололобову. Но — новые данные?... Все может быть...

— Дайте ей пропуск...

В кабинет товарища Бермана Серафима Павловна вошла с таким видом, как будто в чреслах своих она несла то-ли драгоценную фарфоровую вазу, то ли чашку с нитроглицерином. Войдя, она повторила свой классический книксен и сказала сладеньким голоском:

— Честь имею кланяться, товарищ Берман.

С каждой новой встречей Берман открывал в Серафиме Павловне все новые очарования. Сейчас она казалась ему особенно отвратительной. Обычным предельно экономным жестом руки он указал ей на кресло. Серафима Павловна села на краешек и сидела прямо, словно аршин проглотила. Берман молчал.

— Так что, товарищ Берман, — этот мужик — вот, что у вас там в клубе, — он представляется...

— Как это — представляется?

— Представляется. Никакой он не мужик, по образованному свистит.

— То-есть, как это можно свистеть по образованному?

— Да вот так... — Серафима Павловна откашлялась и к несказанному удивлению Бермана, запела — жиденьким, тоненьким и совершенно фальшивым голоском:

— Любовь, как птичка, всегда свободна,
Законов всех она сильней...

Товарищ Берман никогда не имел никаких музыкальных ни склонностей, ни вкусов, но и он не без содрогания подумал о том, что может быть товарищ Гололобова собирается спеть всю арию Кармен. Но на второй строке ария была закончена. Серафима Павловна смотрела на Бермана с видом победительницы в битве при Каннах. Берман пожал плечами.

— Ну — и что?

— Откуда у этого мужика, чалдона, такие песни? А?

— Мало ли откуда? Вот — принесли сотрудники граммофон, он услыхал и запомнил...

— Где мужику такое запомнить! И потом, еще: палкой по песку писал и подошвой затер.

— Ну — и что?

— Так он же представляется неграмотным. Что неграмотный будет писать?...

По долгому своему опыту товарищ Берман знал, что вот этакие безмозглые и въедливые бабы открывают иногда такие вещи, какие никакому нормальному следователю в голову не придут. Ария из Кармен поддавалась объяснению, — правда, с трудом. Что касается палки, — то, конечно, у неграмотного человека рефлекса такого и возникнуть не может.

— А как и что он писал?

— Сидел на скамейке, что у главного входа. Не было никого. Только я, — так, знаете, издали, как будто по грибы. Смотрю, сидит этот чалдон и палкой по песку что-то пишет. Потом встал, затер подошвой — ничего не разобрать... И, вот воду пил — а мизинец вот так: — Серафима Павловна оттопырила мизинец и показала, как именно Степаныч пил воду. Берман закурил папиросу.

Все это, в отдельности взятое, может быть, и пустяками. Взятое вместе, как-то наводит на размышления. Берман знал, что по сибирской тайге шатается много таких людей — бывших белогвардейцев, одичавших за годы скитаний и лишений. К числу их мог принадлежать и Степаныч. Ария из Кармен, писание палкой по песку, и что может быть самое главное — уничтожение написанного? Значит, что-то написано было?

Берман взял блокнот и что-то написал на нем.

— Вот вам, товарищ Гололобова, записка в кассу — там получите. Поезжайте завтра в клуб и приглядитесь основательнее. Пусть и ваш муж с вами поедет.

— Ну, зачем он, я...

— Нужно. Иначе будет выглядеть подозрительно. А так: он на охоту, вы за грибами. Всего хорошего. Машину вам подадут завтра в восемь утра...

Серафима Павловна еще раз присела в своем книксене и торжественно выплыла вон. И на часового, который окликнул ее: „эй, ваш пропуск, гражданка" — посмотрела с таким видом, точно ей было нанесено личное оскорбление:

ее, Серафиму Павловну — о каком-то пропуске спрашивают! Пропуск, однако, пришлось показать.

**
*

Товарищ Чикваидзе сидел у себя дома и пытался тренькать на гитаре какой-то кавказский мотив. Мотив не удавался. Серафима Павловна стала для Чикваидзе, как хроническая зубная боль, часто перемежающаяся с припадками тошноты. Но что было делать? Что было делать? В тысячный раз проклинал товарищ Чикваидзе тот роковой момент, когда, в Лыскове, он потерял относительную невинность и в сотый раз обдумывал проекты ликвидации Серафимы Павловны. Проекты были весьма разнообразны: от доноса до отравления. Но все они, — товарищ Чикваидзе понимал это достаточно ясно, — не годились никуда.

Об этих планах Серафима Павловна не подозревала ничего. Она плыла домой, то-есть к Чикваидзе, словно на каком-то надушенном облаке: вот это обращение! И ордер в кассу (правда, ордер мог бы быть и покрупнее), — и „машину вам подадут", ну и вообще. Какая-то щелочка в настоящий мир. Эх, съел мою молодость тот проклятый Гололобов, туда ему и дорога, собаке собачья и смерть... На товарища Чикваидзе она посмотрела так, как если бы она была Эйфелевой башней, а он чем-то вроде муравья. У товарища же Чикваидзе, когда она вошла в комнату, появилось страстное желание то ли Серафиме проломать голову гитарой, то ли гитару изломать о Серафиму. Но опять же оба проекта не открывали решительно никаких дальнейших перспектив.

Серафима Павловна, войдя в комнату и небрежно кивнув головой Чикваидзе, так же небрежно вынула из своей полинявшей сумочки не очень уж толстую пачку кредиток и подошла к зеркалу. Ей все никак не удавалось поймать себя в профиль, — только повернешься, обратно — профиль куда-то пропал, как будто его и не было. Серафима Павловна была убеждена, что уж что, а профиль у нее и до сих пор неотразим.

Глядя на себя в зеркало через плечо, Серафима Павловна сказала деловым тоном:

— Значит, завтра едем в этот клуб. В восемь утра.

— Чего мне в клуб?

— Берман приказал — значит, поедешь. Мне нужно

в клуб. А одной, говорит Берман, одной мне ехать неудобно. Это всякий интеллигентный человек понимать должон.

Товарищ Чикваидзе почувствовал новый приступ кровожадности и безпомощности. Вот, даже денег ухитрилась у Бермана перехватить, значит, никуда не уйти. Товарищ Чикваидзе постарался не скрипеть зубами. Серафима Павловна повертевшись некоторое время перед зеркалом, также небрежно бросила:

— Ну, я пойду за покупками, — и ушла. Даже и походка у нее стала какой-то величественно наглой.

Товарищ Чикваидзе подошел к зеркалу — тому самому, в которое так упорно прятался профиль Серафимы Павловны, и погрозил в него кулаком. Однако, никакого облегчения этот жест не принес. Товарищ Чикваидзе снова взял гитару, но даже и тренькать не смог. Постепенно, очень постепенно в его мозгу начали вырисовываться разные возможности. Например.

Более или менее непосредственным начальником его, товарища Чикваидзе, является, конечно, товарищ Медведев. Товарища Бермана товарищ Медведев ненавидит лютою ненавистью — об этом был довольно точно информирован весь дом ном. 13. Теперь: Серафима Павловна как-то ухитрилась прилипнуть к Берману. Берман уедет. Медведев — останется. В какое положение попадет он, товарищ Чикваидзе? Была и другая перспектива: в том, что Серафима Павловна — дурища несусветимая — не сомневался даже и Чикваидзе. Как-то, где-то и на чем-то она сорвется. Берман как-то использует ее для своих таинственных целей, — и потом выбросит вон, как гнилую тряпку. Что в этом случае ожидает его, товарища Чикваидзе? И не попытается ли Серафима Павловна свой будущий провал как-то переложить на его, Чикваидзе, плечи? Или, просто, что-нибудь так напутает и наврет, что никакой нормальный следователь не поверит ни одному слову товарища Чикваидзе?

Дело было плохо решительно со всех сторон. Для прояснения мозгов Ччкваидзе подошел к шкафу, достал оттуда бутылку водки, налил полный стакан и выпил его одним духом. Водка несколько оживила конструкционные способности товарища Чикваидзе, и первая мысль, которая пришла ему в голову, была очень проста: пойти к Медведеву и искренне покаяться: вот, дескать, влип в эту морскую корову, а теперь деваться некуда. После первого стакана водки эта мысль казалась товарищу Чикваидзе почти гениаль-

ной. Второй стакан внес некоторое отрезвление. Медведев использует покаяние и даст какое-то задание, — чорт его знает, какое. Тогда — при наличии Серафимы Павловны и ее блата у Бермана, товарища Чикваидзе может съесть товарищ Берман.

Товарищ Чикваидзе считал себя, — как и все люди в мире, — достаточно умным человеком, однако недостаточно информированным. Вот, если бы ему побольше информации, то он бы как-то выкрутился. Но информации не хватало. В том узле, который запутался на станции Лысково — товарищ Чикваидзе не понимал абсолютно ничего. Он никак не мог понять даже и того интереса, который товарищ Берман проявлял к Серафиме Павловне. Щенок в машинном отделении. Какие-то рычаги, какие-то кнопки, какие-то провода. Что, — к чему, не понять никак. А — один неосторожный шаг — и поминай, как звали...

Товарищ Чикваидзе решил, что вставать каждый раз для стакана водки не имеет никакого смысла, совершенно напрасная трата сил. Он поставил бутылку на стол и стал думать совсем всерьез. После некоторого количества времени и водки, план его действий вырисовался с достаточной определенностью. Для того, чтобы проверить определенность плана и трезвость мысли, товарищ Чикваидзе встал, порылся в одном из своих чемоданов и извлек оттуда старый, довольно основательно проржавленный револьвер какой-то очень старинной системы, в барабане которого торчали еще три патрона. План был ясен. Завтра оба любящих, хотя и временных, супруга поедут в Лесную Падь. Что ему, товарищу Чикваидзе, стоит выпустить все три патрона в любвеобильную грудь Серафимы Павловны? Свой служебный пистолет он возьмет, как и всегда, с собой, в нем будут целы все патроны и не будет загрязнен ствол. Револьвер он куда-нибудь уж забросит. Кому в голову придет? Вот, был же убит телохранитель товарища Бермана. Никто об этом убийстве его, товарища Чикваидзе, ни слова не спросил. Найдут в тайге бездыханное тело Серафимы Павловны и где-то там же в тайге полубездыханный труп товарища Чикваидзе с пустыми бутылками около. — Нет, никому и в голову не придет.

Когда Серафима Павловна вернулась домой с какими-то покупками из чекистского распределителя, она нашла товарища Чикваидзе в состоянии бурного оптимизма.

— Опять напился? спросила она презрительно, снова пытаясь найти свой исчезающий профиль в этом паршивом

зеркале, — но товарищ Чикваидзе был неуязвим ни для каких издевательств с ее стороны. Перед ним маячил день его освобождения от Серафимы Павловны — товарищ Чикваидзе с истинным вожделением в сердце своем представлял себе, как он, одну за другой, всадит все три пули в безмозглые телеса Серафимы Павловны.

Ровно в восемь утра великолепная машина стояла у подъезда квартиры товарища Чикваидзе. Серафима Павловна уже часов с пяти прислушивалась к призывному гудку: наконец-то реализуется ее мечта, подъезд, авто, шофер, — совсем, как в американском кино. Товарищ Чикваидзе ни о чем этом не мечтал. Вчерашняя бутылка водки только очень постепенно испарялась из его сознания и вчерашнее решение только очень постепенно вступало в свои права. Пока Серафима Павловна возилась со своим туалетом, товарищ Чикваидзе запихал в свой рюкзак свои обычные охотничьи приспособления: одеяло, водку, папиросы, и, сверх этих приспособлений уложил туда же завернутый в газету револьвер.

Поздняя осень размалевала тайгу всеми цветами радуги. На темно-зеленом, синем, почти черном фоне елей и сосен, — ольха, береза, осина переливались золотом и пурпуром. В глубоком осеннем небе стаи журавлей, мирно курлыкая, беспаспортно летели на юг. Но ни до тайги с ее расцветкой, ни до журавлей с их курлыканием, ни Серафиме Павловне, ни товарищу Чикваидзе не было никакого дела. Оба они были погружены в нечто отдаленно похожее на размышления.

Серафима Павловна была убеждена, что Степаныч „представляется", что никакой он не мужик и что тут нечто скрывается. Но — что именно? И как это скрытое вытащить на свет Божий? Несмотря на все усилия, никаких планов в голове Серафимы Павловны не появлялось. — Ну, там посмотрим . . .

Приблизительно таков же был ход мыслей и в голове товарища Чикваидзе. С каждым километром пути планы ликвидации Серафимы Павловны становились все более и более неясными. Кроме него и Серафимы Павловны, никаких посторонних лиц в клубе не будет. Товарищ Чикваидзе с сердечным прискорбием вспомнил, что и товарищам и соседям он уже жаловался на эту морскую корову и даже высказывал искреннее пожелание, чтобы ее черти взяли. Нет, все это как-то сложнее, чем казалось раньше. Ну, там посмотрим...

Влюбленные супруги молча подъехали к охотничьему клубу. Как обычно, разномастная стая собак встретила их разноголосым лаем. На лужайке, шагах в пятидесяти паслись кони. Из клуба вышел Степаныч и тоже, как обычно, молча оглядел приезжих. Никаких чувств на его лице не отразилось.

— А я к вам по грибы, дорогой мужичок...

Товарищ Чикваидзе оглянулся. В соответствии со сладеньким тоном, вся физиономия Серафимы Павловны приняла совсем уж сахаринное выражение. „Ну и гадюка", подумал Чикваидзе и еще раз с наслаждением вспомнил о своем старорежимном револьвере — из этого уж можно понаделать дыр... „Дорогой мужичок" ничем не реагировал на сладенький голосок Серафимы Павловны. Он слегка потоптался на месте, потом молча повернулся и вошел в дом. Оба пассажира постепенно слезли с машины.

— Когда прикажете обратно? — спросил шофер, но спросил не у товарища Чикваидзе, а у Серафимы Павловны, — что снова подняло в душе товарища Чикваидзе всякого рода кровожадные соображения.

— Я сама в Неелово позвоню, — небрежным тоном сказала Серафима Павловна.

„Значит, торчать тут собирается, — подумал Чикваидзе. — Ну, чем дольше, тем лучше...Отсюда уж живой не уйдет...

В клубных комнатах было пусто, чисто прибрано и холодно. Товарищ Чикваидзе разыскал Степаныча и приказал ему затопить печку в одном из „номеров", как назывались отдельные спальни для более или менее высокого начальства. Серафима Павловна пошла переодеваться и снова возникла перед товарищем Чикваидзе в наряде, представляющем собою не слишком живописную смесь Дальнего Запада Америки с среднесиберским текстильторгом. На ней были ослепительно желтые сафьяновые сапожки, пестрая, квадратиками, блузка, вокруг шеи был замотан синий с красными разводами платок, лиловый с розовыми разводами шарф покрывал ее голову и только для юбки не нашлось соответствующей заместительницы. Товарищ Чикваидзе посмотрел на Серафиму Павловну с видом плохо скрытого скептицизма. Серафима Павловна, презрительно поджав губы, взяла свою корзинку и, не говоря ни слова, направилась в лес. Степаныч принес вязанку дров, с грохотом сбросил ее на пол и стал затапливать печку. Товарищ Чикваидзе взвалил на спину свой рюкзак, взял двухстволку и тоже пошел в лес.

Яркие краски Серафимы Павловны еще мелькали среди деревьев. Товарищ Чикваидзе пошел в приблизительно противоположную сторону, потом, сделав большой обход, очутился в тех местах, где, по его соображениям, должна была околачиваться Серафима Павловна. Для Чикваидзе не было никакого сомнения в том, что грибы — это только камуфляж. Но что, в самом деле, эта стерва собирается здесь делать? Над этим вопросом товарищ Чикваидзе ломал свою голову всю дорогу, но никакого, даже приблизительного ответа найти не мог. Что, в самом деле, ей делать тут, в тайге? Единственное, что могло бы быть — это какие-то розыски по поводу убитого телохранителя товарища Бермана, — но для этой цели не Серафиму же Павловну посылать? Это предположение исключалось начисто. Но так же начисто исключались и все другие предположения.

Совершив несколько маневров, товарищ Чикваидзе напал на след Серафимы Павловны — помятая трава, обрезанные ножки грибов... Товарищ Чикваидзе полез на четвереньках, и яркие краски Серафимы Павловны снова мелькнули среди кустов. Серафима Павловна лежала животом на земле и сквозь ветки кустарника смотрела на клуб. „Значит, в клубе что-то ищет", подумал товарищ Чикваидзе.

До Серафимы Павловны было шагов сорок и ее яркие краски представляли собою соблазнительную мишень. Товарищ Чикваидзе вытащил из кармана револьвер, взвел для верности прицела курок, но потом сообразил, что все это ерунда: до клуба шагов полтораста, выстрел услышит Степаныч, да за сорок шагов из этого аркебуза не очень-то попадешь. С тяжким вздохом товарищ Чикваидзе запрятал револьвер снова в карман и утешался мыслью о том. что не все еще потеряно и что остается по крайней мере день, а то и больше.

Полежав некоторое время, Серафима Павловна встала и, описав около клуба полукруг, очутилась с другой его стороны, — где снова улеглась на живот и снова стала смотреть. За нею — большей частью на четвереньках, — следовал почти невидимый товарищ Чикваидзе. Так оба кружили вокруг клуба, пока товарищу Чикваидзе это занятие не стало надоедать. Было очевидно, что Серафима Павловна вовсе не собирается удаляться вглубь леса, а здесь, у самого клуба, ничего сделать было нельзя: Степаныч что-то там хозяйничал во дворе, из конюшни доносился забубенный свист кого-то из беспризорников. Нет, ничего не выйдет. Глу-

по. Если бы была малокалиберная винтовка, это еще туда-сюда: выстрела почти не слышно, можно было бы неверняка в голову влепить.

Стал накрапывать мелкий дождик и товарищу Чикваидзе стало скучно. Не так далеко, верстах в четырех, на берегу речки стоял такой уютный рыбачий шалаш — вот туда бы залезть! Ни Бермана, ни Медведева, ни Серафимы Павловны, — только он, товарищ Чикваидзе, тайга, небо, два литра водки и закуска. Дождик стал усиливаться. Ну, и пусть себе стерва мокнет, не без злорадства подумал Чикваидзе, и зашагал к шалашу.

Серафима Павловна продолжала описывать круги вокруг клуба, как коршун вокруг своей добычи. Промокнуть она успела до костей. Яркие краски среднесибирского текстильторга потекли у нее по лицу. Потом дождик как-то унялся, Степаныч со своим беспризорником пошли в лес, и Серафима Павловна почувсствовала себя, как Цезарь, когда тот, сняв штаны, вошел в воды Рубикона: или сейчас или никогда!

Поставив на землю корзинку с грибами, Серафима Павловна стала, как привидение, обходить клуб. Никого. В „канцелярии", украшенной по стенам закупленными у Степаныча трофеями — тетеревиныби чучелами, оленьими рогами, медвежьими головами и прочим, стоял также железный шкаф с нарезным оружием и патронами к нему. Нарезное оружие и патроны находились на „особом учете", и ключ от шкафа раньше хранился у соответствующего сотрудника НКВД. Но так как сотрудники менялись и исчезали, а, вместе с ними, исчезали и ключи, то в конце концов очередной ключ был доверен Степанычу, а патроны были пересчитаны и были сданы под расписку, если бы Степаныч в расписках понимал хоть что нибудь. Впрочем, наличного запаса огнеприпасов не хватило бы даже на самое скромное восстание.

В общем, в клубе было пусто. Серафима Павловна обошла все пристройки и конюшни: там тоже было пусто, ни Степаныча, ни беспризорников К задней стене клуба было пристроено жилье Степаныча. На его стенках были прибиты для просушки всякого рода звериные шкуры, у дверей была навалена всякая всячина: дрова, валежник, какие-то мешки, какие-то тряпки. Сердце у Серафимы Павловны то замирало, как мышь под метлой, то билось, как сумасшедшее, — но Серафима Павловна все-таки вошла в свой Рубикон.

Если Степаныч больше всего походил на барсука, то его жилье больше всего напоминало барсучью нору. Маленькое

оконце тускло освещало русскую печь в одном углу норы, грубо, но солидно сбитый стол посреди нее и нечто, вроде кровати, накрытое какими-то звериными шкурами. Запах этого жилья никак не напоминал парфюмерного магазина: пахло порохом, зверьем, собаками, прелью, кашей, дымом, овчиной и чем-то еще. Серафима Павловна остановилась посреди комнаты, не зная, что и с чего начать.

Опыт по части обысков у нее уже был. Но там это все было по иному. Рядом стоял ее треклятый Гололобов с пистолетом в руке, стояли милиционеры или, по крайней мере, комсомольцы, где-то по углам ревели бабы тихо и спокойно: никто на Серафиму Павловну и пальца поднять бы не смог. Да и что это за обыски? Искали запрятанное сало или муку, иногда при этом находили обручальные кольца или серебряные часы — все это шло — теоретически в Госфонд, а практически, — кто его там разберет? Здесь же было неизвестно, что, собственно, искать и также неизвестно было, где, собственно, находится сейчас Степаныч. Если подозрения Серафимы Павловны были верны, то они означают, что Степаныч с ней не поцеремонится. И только сейчас Серафима Павловна ясно почувствовала, чем она рискует. От страха на ее лбу выступил холодный пот, еще больше размазывая яркие краски текстильторга. Дрожащими руками она полезла в помойное ведро и ничего там не обнаружила. Потом подняла шкуры с кровати и под шкурами тоже не было ничего. За это время глаза Серафимы Павловны кое-как привыкли к темноте, и она увидела всякие звериные головы и птичьи чучела — доделанные и недоделанные, деревянные полки прочно прибитые к стенам избы и заменявшие собою кухонный и рабочий столы. На одной из таких полок стояла огромная миска с кашей, — вероятно для собак. Серафима Павловна полезла рукою в миску, расплескала кашу на пол и остановилась от недоумения и от серцебиения. Вот если бы тут, рядом, два милиционера с оружием — тогда другое дело. Серафима Павловна почувствовала, что больше она не выдержит, повернулась на каблуках, поскользнулась на расплесканной каше и грохнулась на пол, падая, изо всех сил ухватилась рукой за полку. Полка оборвалась.

Поднялась Серафима Павловна только с большим трудом. В голове звенело, грохот падения, казалось, разбудил тайгу на сто верст кругом. Серафима Павловна упала бы в обморок, если бы обморок давал хоть какие бы то ни было надежды.

Но, вот, от оторванного края полки в моховую прослойку между бревнами тянулась какая-то проволока. На несколько секунд Серафима Павловна забыла и Степаныча и сердцебиение. Проволока была телефонной. Серафима Павловна стала тащить ее из щели и вот, словно обухом по голове, — раздался звериный рык Степаныча:

— А ты тут, стерва, чего?

В узкое окошко избы просунулась его голова. Перед ним. окаменевшая от ужаса, стояла Серафима Павловна, растягивая в обеих руках свою находку. Степанич сделал гигантское усилие, пытаясь протиснуться в окно. Ужас подсказал Серафиме Павловне гениальный жест — бросив проволоку и схватив обеими руками миску с кашей, она нахлобучила миску на голову Степаныча. Звериный рык прервался сразу, и голова исчезла. Не помня себя от страха, визжа поросячьим визгом, Серафима Павловна выскочила на двор. И двор и тайга вертелись у нее перед глазами, изо рта самопроизвольно вылетал раздирающий уши визг, а ноги так же самопроизвольно несли ее неизвестно куда. И почти бессознательно, по старому таежному инстинкту, она бросилась к коню.

Степаныч отпрянул от окна, как будто его обварили кипятком. Каша залепила все: глаза, нос, рот, уши. Рукавами и полами своего зипуна он, отплевываясь и ругаясь, постарался привести в порядок хотя бы глаза. Выбежав за угол своей пристройки, он увидел, как Серафима Павловна, словно несомый бурей ком пестрой бумаги, летит к коню. Один ствол у Степаныча — чок — был заряжен крупной дробью, другой — цилиндр — мелкой. Для поисков нарезного оружия времени не было.

Степанич вскинул двухстволку, и Серафима Павловна почувствовала, как будто сотни раскаленных розг хлестнули ее по голому телу. Невероятным усилием воли и ног она даже не вскарабкалась, а взлетела на спину коня. Степанич лихорадочно перезарядил оба ствола, но понимал: уже поздно. Тем не менее, еще два заряда крупной дроби понеслись вслед Серафиме Павловне, и еще сотни раскаленных розг хлестнули ее по тыловым формированиям.

Но часть дроби попала и в коня. Взвившись от боли, он понесся, как бешеный. Серафима Павловна, как и почти все сибирячки, природная наездница, обеими пятернями ухватилась за конскую гриву, сжала ногами бока лошади и поймала себя на том, что вместо дикого визга твердила и твердила: Господи, помилуй! Конь сумасшедшим галопом несся по единственной от леса дороге — по дороге на Неелово, и на его спи-

не, окровавленная, полубезумная от страха и боли, неслась Серафима Павловна — то визжа, то призывая Господа, — неслась навстречу своей дальнейшей судьбе.

СТЕПАНЫЧ СЖИГАЕТ КОРАБЛИ

Визжащий комок пестрой бумаги исчез за лесом. Опустив двустволку стволами вниз, Степаныч равнодушно провожал ее глазами. Потом вытащил из-за спины охотничий рог и протрубил в него нечто вроде кавалерской зари. Гулкий звук прокатился над тайгой, откликнулся какими-то отголосками и замер. Той же равнодушной походкой Степаныч вошел в свою конуру, и, не глядя ни на какие открытия Серафимы Павловны, взял полотенце, подошел к корыту, снял зипун и тщательно смыл с себя все следы позорного происшествия с кашей. Вместе с этими следами, казалось, смылось и обычное баранье-барсучье выражение его лица.

Один из беспризорных адъютантов Степаныча, на этот раз оказавшийся Васькой, вынырнул из тайги.

— Это я, дяденька.

— Вижу, что ты.

— Что-то вы, дяденька, необнаковенный сегодня какой-то?

— А я, башибузук, всегда необыкновенный.

— А что это — башибузук?

— Вот, вроде тебя.

Из тайги выскочил и другой беспризорник, — по закону исключенного третьего, оказавшийся Ванькой. Степаныч осмотрел все свое войско и сказал:

— Вот что, ребята: пахнет расстрелом.

— Как расстрелом? Почему расстрелом?

— Расстрелом. А почему — не вашего ума дело. Нужно бежать. Идем.

Степаныч пошел к клубному зданию. Беспризорники последовали за ним. По дороге Степаныч приказал по армии.

— Я сейчас смотаюсь в тайгу. Вы оседлайте трех верховых коней и трех вьючных. Возмите крупы, сала, одеяла, палатку, две двустволки, патроны... Ну, там — соли и прочего. Сахару, чаю, — так недели на три. Оденьтесь потеплее. Тут этот кавказский человек где-то околачивается. Если до меня придет сюда — пулю в лоб. Или в живот. Словом, куда нибудь.

— А пулю откуда?

— А, вот сейчас.

Степаныч вошел в „канцелярию", отпер железный шкаф

и передал восторженным башибузукам две винтовки с надлежащим количеством патронов. Третью он взял себе. Кроме того из отдельного ящика в шкафу он достал три автоматических пистолета — опять же с надлежащим запасом патронов.

— Один из вас пусть седлает, другой сторожит. Этот кавказский человек . . . .

— Чикваидзе? . . .

— Все равно . . . может подойти в любую минуту. Стрелять сразу. Никаких предварительных переговоров. Поняли?

— Поняли, — в один голос сказали оба башибузука.

— Ну, а что значит „предварительные переговоры"?

— Это значит, чтобы матом не крыть.

— Правильно. Ну, так я в тайгу, а вы тут действуйте.



Степаныч взял с собой веревку, топор, винтовку, сел на коня и направился к той развалленой церковушке, в которой товарищ Иванов хранил свою книгу страшного суда. В развалины церковушки Степаныч залез, как в свой собственный карман, достал аллюминиевый ящичек, открыл его, перелистал последние записи товарища Иванова, положил книжку обратно в ящичек, запихал все это в свой спинной мешок и направился дальше.

В версте-полутора стоял огромный старый кедр. Степаныч привязал топор к веревке, закинул его за один из нижних сучьев и с ловкостью, несколько неожиданной для его неуклюжего тела, вскарабкался наверх. Метрах в семи-восьми от земли оказалось дупло. Степаныч засунул туда свою руку, и извлек металлический ящик, размером в небольшой чемоданчик, спустился вниз, отвинтил от ящика его боковую стенку и произвел какую-то манипуляцию. В результате этой манипуляции, в ящике загудело нечто вроде моторчика, и через несколько минут вспыхнула маленькая-маленькая зеленая лампочка. Степаныч произвел другую манипуляцию, в результате которой выскочила дощечка с телеграфным ключем, на котором Степаныч стал что-то настукивать. Зажглась красненькая лампочка и из какой-то щелки поползла узенькая бумажная лента, с точками и черточками. Все эти манипуляции заняли около четверти часа, после чего Степаныч завинтил ящик, засунул это в тот же спинной мешок и затрусил домой.

Ванька и Васька были уже в полном вооружении. Кроме высоких кожаных сапог, кожаных курток на меху, у каждого было по топору, кинжалу, пистолету, винтовке, дву-

стволке и по паре восторженных глаз. Кони стояли оседланные и навьюченные. Степаныч осмотрел все это одобрительно-ироническим взором.

— Вот, Монтигомо — Ястребиные Когти!

— А что это, дяденька?

— А, вот вроде вас.

— А вы давеча по иному сказали.

— Бывает и по иному — эх, учить вас надо.

— Чему учить?

— Ну, хотя бы грамоте.

— Да кто ж учить будет?

— Я буду.

— Так вы сами неграмотный.

— Я вчера неграмотным был, сегодня я уже грамотный.

— Так разве можно — в один день?

— Бывает, ну, катимся. Тащите соломы.

Степаныч направился к сараю и взял два снопа соломы. Близнецы тоже взяли по два. Степаныч вошел в свою конуру.

— Ну, теперь валите солому, а на солому все, что попадет. Иллюминацию устраивать будем.

— А что такое иллюминация?

— А это — когда весело горит.

— Пожар, значит?

— Веселый пожар. Валите все.

Безпризорники, охваченные радостью разрушения, стали валить на солому все: и чучела, и кровать, и стол, и табуретки. Потом принесли еще несколько снопов и положили их в спальнях, канцелярии и прочих местах. На солому набросили дров.

— Ну, — а теперь — все окна и двери настежь и тащите керосин.

Несколько бидонов с керосином были вылиты на солому и дрова. Все это Степаныч торжественно поджег спичкой. Вольный лесной ветерок, пропитанный озоном и прочими такими веществами, вливался в раскрытые окна и двери. В сарае, наполненном соломой, сеном и дровами, не нужно было даже и керосина.

— Ну, а теперь — айда!

— Дяденька, может, можно посмотреть?

— Что посмотдеть?

— А как гореть будет.

— Ну, на это уж товарищ Берман посмотрит. Айда.

Серафима Павловна была в полу-бесчувственном состоянии. Даже и визжать перестала, — кстати, кто тут, в тайге, услышит? Она бы охотно упала в обморок, но падать с конской спины, хотя бы и в обморок, было небезопасно. Судорожно сжимая коченеющими пальцами конскую гриву, Серафима Павловна неслась на бешеном, раненом коне куда-то вдаль-вдаль-вдаль. Временами ей казалось, что она умерла и что это черти несут ее куда-то, — в ад, что ли? А вдруг он и в самом деле существует? Вот — что сзади так нестерпимо печет... Серафима Павловна захотела было даже и перекреститься, но для этого нужно было выпустить гриву... В воспаленном мозгу возникала то икона в доме ее родителей, то паучье лицо Бермана, то лицо ее мужа — таким, каким она видала его в последний раз. **В последний раз...** Но все это опять заглушалось болью, страхом, скачкой, Откуда-то из-под земли неслись какие-то страшные голоса. С предельным усилием воли Серафима Павловна открыла глаза. Какая-то полутьма, какие-то черти с огоньками во рту что-то кричат и брасаются на нее, Серафиму Павловну. Ну, значит, кончено, вот тебе и союз воинствующих безбожников — обманули, сволочи...

Какие-то руки вцепились в Серафиму Павловну и стащили ее с коня. Конь стоял, дрожа всем телом, и потом грохнулся на землю. Какой-то дядя начальственной внешности протиснулся сквозь толпу колхозников:

— Что это тут за скандал?

— Вот, товарищ Петров, — какаясь-то баба на коне и вся в крови.

— Какая баба?

— Да вот, поглядите, конь тоже в крови. Должно быть из Лесной Пади скачет. Еле перехватили. Конь-то без узды.

Товарищ Петров, секретарь Песковской партячейки, наклонился над телом Серафимы Павловны.

— Вы женщина, откудова?

Серафима Павловна снова открыла глаза. Вокруг нее стояла толпа возбужденных мужиков и баб, а над ней склонялся какой-то дядя с горящей цыгаркой в зубах. Нет, чертями не пахло, безбожники, может, и не такие дураки...

—Телефон у вас есть? — спросила Серафима Павловна умирающим, но повелительным голосом.

— Ну, есть, а вам что?

— Сейчас же вызовите мне товарища Бермана. Скажите — Серафима Павловна убита, очень важное сообщение.

Имя Бермана произвело магическое впечатление.

— Вы тут чего, сволочи, столбами стоите? Не можете товарищу помочь? Возьмите так — несите в партком. Я, товарищ Серафима Павловна, сей минут вызов сделаю, вы уж потерпите, сей минут.

**
*

Товарищ Берман, услыхав от дежурного по телефону, что его опять вызывает Серафима Павловна, чуть было не поддался соблазну послать ее окончательно к чортовой матери. Но дежурный по телефону предупредил сразу:

— Это, собственно, звонит секретарь Песковской ячейки, — говорит, Серафима — как ее — тяжело ранена.

— Ранена? Ну, давайте ее сюда.

Из телефонной трубки раздался надоедливый, но на этот раз слегка патетический голосок Серафимы Павловны.

— Я убита, товарищ Берман.

— То-есть — как убиты? Вот, ведь, разговариваете.

— Ах, это все равно! Меня убил этот ваш сторож. Два раза стрелял. Насквозь. Я при смерти. Я там такое нашла... Не могу по телефону. А он из ружья...

— Что вы там нашли?

— Ах, не могу по телефону.

— Вышлите всех из комнаты и скажите.

Серафима Павловна, несмотря на ее предсмертное состояние, почувствовала себя где-то у самого порога власти. Прикрыв трубку ладонью, она повернулась:

— Вы, товарищи, оставьте помещение, идет служебный разговор.

Товарищи на цыпочках оставили помещение. Подождав несколько секунд, Серафима Павловна прошептала трагическим шопотом:

— Телефон.

— Ну, я у телефона.

— Ах нет, Я нашла телефон!

— Где нашли?

— У этого мужика. У сторожа, телефонный провод. А он меня застукал и убил.

— Ага. Позовите мне этого секретаря.

— Товарищ секретарь, товарищ секретарь... Передаю трубку...

— У телефона Берман. Я приеду через ... сколько до вас километров от Неелова?

— Около тридцати.

— Приеду через полчаса или сорок минут. Вы пока эту женщину уложите в постель, сильно она ранена?

— Не могу знать, — но вся спина в крови.

— Я привезу врача.

— Осмелюсь доложить, товарищ Берман, что Лесная Падь, кажись, горит, как быдто зарево. Мне-то не видать, а у которых глаза получше, говорят — зарево зачинается...

— Хорошо. Пока.

Товарищ Берман положил трубку и по другому телефону заказал: вездеход, санитарную машину, врача, две пожарных машины, следственную группу и сто солдат на грузовиках. Вездеход и врач должны быть готовы через пять минут. Хорошо бы на самолете, но вечером приземлиться будет слишком опасно.

Берман закурил таинственнию папиросу. Серафима Павловна, повидимому, оказывается той каплей, которая переполнила чашу „случайностей" и открыла пути к какой-то закономерности. Это как будто, первый признак существования где-то в нееловском отделе — или около него, — какой-то крепко сплоченной группы, которая раскинула свои щупальцы от Лыскова с его таинственными происшествиями до Лесной Пади с ее не менее таинственным проводом. Телефонный провод, это во всяком случае, нечто реальное. Если только он не сгорит в пожаре.

В вездеходе товарища Бермана уже ждал врач — тот же, — кругленький, жовиальный, пахнущий сигарами и коньяком. Врач поздоровался с Берманом отчасти подобострастно, отчасти игриво, но никаких вопросов задавать не стал. Дорогу до Пескова проехали быстро, тряско и молча. Товарищ Петров уже ждал на крыльце парткома.

— Так что, осмелюсь доложить, товарищ Серафима Петровна как будто плохи. Бредят, что ли. А зарево — изволите сами видеть.

Берман посмотрел на темнеющий небосклон. Там, где-то вдалеке, действительно что-то розовеет. Но городские глаза Бермана не смогли различить больше.

— Это, товарищи, как Бог свят, — пожар, — вмешался какой-то вертлявый мужиченко. — Глаза у меня охотницкие, за сто верстов видят. Как Бог свят, — Лесная Падь горит — вот так и полыхает, вот так и полыхает!

Берман, не отвечая ничего, вошел в дом. Серафима Павловна лежала на парткомовской кравати, и даже при свете паршивой лампочки было видно, что с ней плохо. И лицо и платье были в крови, слова вылетали путаные и не совсем сознательные и из них Берман мог установить только то, что он уже знал: в конуре сторожа Серафима Павловна открыла телефонный провод, сторож накрыл ее на месте преступления и стрелял в нее. Для дальнейших выдумок сил у Серафимы Павловны не было.

— Осмотрите ее и доложите мне, — сказал Берман врачу.

Врач с суетливой помощью секретаря парткома кое-как раздел Серафиму Павловну, которая начинала терять сознание, — тем более, что это ничем уже не грозило. Осмотрев Серафиму Павловну со всех сторон, врач доложил:

— Как будто ничего серьезного. Дробовые ранения и сзади. Так что, вероятно, никакие органы не затронуты.

— Сейчас придет санитарная машина, — отвезите Серафиму в госпиталь. Примите все меры к ее выздоровлению.

Товарищ Берман вышел к машине. Сейчас даже и его городские глаза могли отметить зарево. Вдали над лесом, на фоне уже совсем потемневшего неба, медленно-медленно подымался багровый цветок пожара. Берман готов был скрипеть зубами: все следы будут сожжены.

Машина двинулась дальше, в тьму, освещенную только лучами фар, по неровной проселочной дороге. Берман торопил шофера, хотя понимал ясно: пожарные машины прибудут не раньше, чем через полчаса-час. Что за это время сможет сделать он, Берман, и что за это время останется от охотничьего замка НКВД и его тайны?!

Над головой Бермана низко прогудел самолет. Потом другой. Потом — третий. Это мог быть только Медведев. Вероятно, попытается замести даже и оставшиеся следы... Нужно торопиться.

***

Подъехав к клубу, Берман, действительно, застал там Медведева. Медведев, расставив ноги и засунув руки в карманы, смотрел на огненное зрелище. Сухие бревна здания горели, как спички. Пламя вздымалось к черному небу, заполнило собою всю внутренность дома, широкими языками пробивалось сквозь окна и двери, весело трещало и бурлило, металось под ветром из стороны в сторону. К зданию нельзя было подойти и на пятьдесят шагов. Где-то гудели самолеты.

— Я приказал сбрасывать огнетушители, — сказал Медведев. — Но, кажется, и это не поможет.

Берман не ответил ничего и даже не спросил, как это Медведев очутился здесь раньше него, Бермана. Пламя как-то странно гипнотизировало его. Он, конечно, видел пожары. Но это было в городах, где каменные стены оказывали огню долгое и упорное сопротивление. Здесь же, казалось, все радовалось этому перевернутому вверх ногами водопаду пламени. Радостно горели сухие бревна и так же радостно смотрел на это зрелище черный ночью лес — только первые ряды деревьев выхватывались из тьмы отсветами пожара... Раздался глухой взрыв и снопы искр и головешек так же радостно взлетели над пламенем.

— Это просто порох взорвался. Там есть еще и боевые патроны, — тоже сейчас будут взрываться, — спокойно сказал Медведев.

— Как давно служит у вас этот сторож?

— Не у меня, — пожал плечами Медведев. — Он тут, кажется, с самого основания „Динамо".

— Что вы о нем знаете?

— Ничего. Думаю, что и знать нечего. Мужик, таежник, неграмотный, — словом — дикарь.

— А не ошибаетесь ли вы?

Медведев снова пожал плечами.

— Таких, как он, здесь — как муравьев в лесу... Ошибаюсь ли я? Какие у вас основания так думать?

— Есть основания. Серафима Павловна открыла телефонный провод в его сторожке. Он в нее стрелял и ранил, — кажется, легко. Потом, вот, поджег клуб и, конечно, скрылся....

Медведев резко повернулся к Берману всем своим корпусом.

— Это — всерьез?

Берман показал рукой на пожар:

— Сами видите... А Серафиму Павловну я уже допрашивал...

— А где ее муж?

— Вероятно, где-то здесь околачивается.

— Г-м, — сказал Медведев. — Я полагаю, что наш товарищ Чикваидзе давно бы рад от своей половины отделаться, — так что, может быть, тут дело вовсе и не в стороже. Пока что нет ни одного из них. Кстати, — а где же беспризорники?

— Тоже нет.

Медведев еще раз сказал „г-м". Положение обострялось. И как бы он ни отговаривался тем, что не был с самого начала посвящен в дело научного работника товарища Светлова, все-таки — Лысково, погибший патруль, исчезнувшие Жучкин, Гололобов, убитый Кривоносов, бегство бродяги, и, вот, теперь, пожар клуба. И все это на его, Медведева, территории, на территории, на которой он, Медведев, теоретически отвечал за все: и за недостаток классовой бдительности и за недостаток бдительности вообще...

Пожар продолжал полыхать. Самолеты, снижаясь на несколько десятков метров над тайгой, сбрасывали огнетушители, но в общем попадали мимо.

— Нужно бы отойти, — сказал Медведев, — еще по голове ляпнут.

— Пока что едем в Песково — или как там его. Здесь часов еще на пять хватит.

НЕПРИЯТНОСТИ ТОВАРИЩА ЧИКВАИДЗЕ

Серое осеннее утро осветило серую дымящуюся паром и дымом кучу бывшего охотничьего клуба „Динамо". Такую же серую, как и лицо товарища Бермана, молча присутствовавшего при частичных раскопках этой кучи. Несколько людей в брезентовых овероллях и газовых масках бережно разгребали не до конца прогоревшие бревна, стараясь не попадаться под струи воды из брандспойтов: обе пожарные машины продолжали работать полным ходом. Кое-где из-под пепла и мокрой грязи вдруг пробивались языки пламени, но, в общем, от клуба остались три печи и железный шкаф, сиротливо склонившийся на бок и смятый, как картонная коробка. Никаких надежд на раскопки товарищ Берман не возлагал. Самое большее, на что можно было рассчитывать, это на какие-то сгустки расплавленного и остывшего металла, которые могли бы подтвердить открытие Серафимы Павловны. Но сейчас, после пожара, товарищ Берман не видел никакой необходимости в дальнейших вещественных доказательствах правильности рассказа Серафимы Павловны... Однако...

Мозг товарища Бермана не был приноровлен для того, что называется полетом воображения, — тем не менее можно было предположить, что здесь, в клубе, как-то сложилась приблизительно такая же обстановка, как и на Троицком мосту: была заранее подготовлена, как по нотам разыгран-

ная, инсценировка с участием по меньшей мере трех действующих лиц, пожертвовавших для этого даже и тыловыми формированиями Серафимы Павловны. Но Берман сейчас же отбросил эту мысль. Тот светловский бродяга был опытным пройдохой. Чикваидзе был откровенным бараном и его временная супруга — откровенной дурой. Многолетний опыт научил товарища Бермана разбираться в людях не очень сложного склада характера. Нет, все это вздор... Но что во всем этом НЕ вздор?

— Позвольте доложить, товарищ Берман...

Берман даже вздрогнул — товарищ Медведев подошел к нему сзади и мрачно расставив свои массивные ноги, держал в руке допотопного вида револьвер. Товарищ Медведев лично руководил сотней отборных пограничников, которые должны были ощупать всю местность вокруг пожарища.

— Ну, — разрешающе сказал Берман.

— Нашли Чикваидзе. По вашему распоряжению обыскали и его. Ничего. Пьян совершенно. Вот только этот револьвер — к чему он ему?...

Действительно, звено пограничников, ощупывая берег речки, заметило пару сапог, вызывающе торчавшую из рыбачьего шалашика. Солдаты звена, как охотники медвежью берлогу, окружили шалашик, держа винтовки на изготовку. Старший звена подошел к выходу из шалашика:

— Эй, кто там, вылазай!

Сапоги не ответили ничего. Старший потянул за один из них. Из шалаша донесся слегка хриплый, но совершенно ясный ответ с сильным кавказским акцентом. В переложении этого ответа на литературный язык, он звучал бы так:

— Пшел к чортовой матери!

Голос показался как-то знакомым. Пограничник сказал еще раз: — „а, ну, вылезай" и получил тот же самый ответ. Тогда, ухватившись за оба сапога, он вытащил из шалашика полуживое тело, принадлежавшее, как оказалось, товарищу Чикваидзе.

Тело товарища Чикваидзе пахло большим количеством водки. Оно кое-как привело самое себя в сидячее положение и повторило свою сентенцию еще раз. Пограничники, опустив винтовки, рассматривали тело с видом понимающего и дружественного сочувствия.

— В чем дело? — сказал Чикваидзе, пачему чэловеку спать не дают, — а?

— Так что, товарищ Чикваидзе, — сказал старший, —

клуб сгорел. И вообще. Ну, там увидите. А что у вас тут в шалашике?

— А тэбэ какое дэло?

— Приказано обыскать всех и все, что только попадется.

— Ну, и ищи.

Товарищ Чикваидзе, сделав над собою героическое усилие, встал и сильно кренясь на обе стороны поочереди, направился к речке. Один из пограничников нежно поддержал его под руку. Став на колени перед водой, товарищ Чикваидзе кое-как смочил свое обремененное думами чело. Старший на четвереньках заполз в шалашик, обнаружил там две пустые литровки, двухстволку, автоматический пистолет и рюкзак. В рюкзаке была всякая мелочь, вроде полотенца и прочего, но оказалось и нечто твердое. Вытащив это нечто, старший обнаружил старинной системы револьвер. Все, кроме револьвера, было совершенно понятно. Револьвер был непонятен вовсе. Была двухстволка — понятно: шел человек на охоту. Никакой дичи не оказалось — тоже понятно — шел на охоту и пришел в шалашик. Пистолет полагался по службе. Но зачем к этому пистолету, еще и револьвер? Старший положил револьвер в карман...

Вот именно этот револьвер и показывал сейчас товарищ Медведев товарищу Берману — сопровождая этот показ теми же недоуменными соображениями, какие пришли в голову и старшему звена.

— А что Чикваидзе по этому поводу говорит? — спросил Берман.

— Я с ним, товарищ Берман, не хотел без вас разговаривать, — дипломатически ответил Медведев, — да вот и его самого ведут.

Последнее было не совсем правильно. Товарищ Чикваидзе шел сам, правда, слегка придерживаемый одним из пограничников.

— Зачем у вас этот револьвер? — спросил Берман.

— Папробавать, — ответил Чикваидзе, слегка качаясь взад-назад.

— На ком попробовать?

— На... — тут товарищ Чикваидзе чуть-чуть запнулся. — Папробавать, — сказал он еше раз.

— На ком? — я вас спрашиваю.

— Н-на... на дереве...

— Зачем?

— Ынтересна.

— Почему интересно?

— Так.

Товарищ Чикваидзе соображал еще очень туго, но кое-что уже начал соображать. Соображения были неутешительные. Но самое умное из них состояло в том, чтобы показаться еще более пьяным, чем он был в самом деле.

— Что значит „так"? Отвечайте, когда вас спрашивают!

— Так, — еще раз ответил Чикваидзе, сильно покачнувшись вперед. Берман отскочил в сторону, а пограничники схватили Чикваидзе за шиворот. Равновесие было восстановлено.

Чикваидзе неопределенно развел руками.

— Так... Так, например, вот это — новый пистолет, а вот это — старый пистолет, кто, спрашивается, лучше? Я из лука тоже пробовал. Нэ попадешь.

— Сколько вы выпили?

— Два.

— А вы знаете, что с вашей женой случилось?

— С-с-сдохла?

— Почему вы думаете, что сдохла?

— Нэ думаю. Желаю. Чтобы сдохла.

— Когда вы ее видели в последний раз?

— В лесу.

— Я спрашиваю: когда?

Товарищ Чикваидзе покачнулся еще раз.

— Нэ знаю, пьян был. А сейчас — это когда? Сейчас это завтра?

— Отведите его в машину, — сказал Берман пограничникам. Пограничники, подхватив Чикваидзе под обе жабры, повели его к веренице машин, стоявших невдалеке.

— Товарищ Медведев, — спросил Берман, — есть у вас тут опытный следователь под рукой?

— Есть, товарищ Берман.

— Пусть сейчас же продолжает допрос. Этот тип не так пьян, как представляется.

— Ну, все-таки, — констатировал Медведев снисходительно, — два пустых литра при нем все-таки нашли.

— Револьвер, действительно, мало объясним. Служебное оружие было при нем. Но, вот, кажется, еще новости несут.

Один из старших пограничников, щелкнув каблуками, поднес руку к козырку:

— Разрешите доложить, товарищ Медведев?

— Докладывайте.

— Так что в развалинах часовни найден тайник. Пустой. Несколько кирпичей было вынуто. Кто-то еще вчера подъехал верхом к часовенке и что-то взял из тайника.

Медведев мрачно посмотрел на Бермана. Но на Бермана тайник особенного впечатления не произвел.

— А следы и направление сторожа установлены?

— Так точно. Три верховых коня, три вьючных, направление юго-юго-запад.

— Ну, этих-то мы найдем, — сказал Медведев. И жестом руки отпустил пограничника.

— Да, — сказал он, — забыл вам доложить. Двустволка Чикваидзе осмотрена. Стволы чисты, патроны все налицо, полный патронник. То же и с служебным пистолетом. Довольно ясно: приехал — и сразу за водку; вчера — литр и, кажется, сегодня утром — другой. Вот только револьвер...

— Узнаем и о револьвере, — сказал Берман.

— Сейчас — думаю, к полудню, прибудет кавалерия — три эскадрона пойдет по следам. Этот чалдон следы, конечно, запутает. Жаль, что я так поздно догадался — кавалерию нужно бы иметь здесь еще вчера. И геликоптеры — тоже. Ну, все равно. Муравей не скроется...

Берман ничего не ответил. Конечно, это его, Бермана, промах. Нужно было сейчас же после телефонного разговора с Серафимой Павловной послать на грузовиках хотя бы десятка два конных пограничников и геликоптеры. С самолета очень трудно осветить тайгу. С геликоптера можно заглянуть под любой куст. Но это не так важно. Три человека, шесть лошадей. Их найдут... Если будет стоять хорошая погода. А если дождь?

Если дождь?... Этот таинственный сторож был — на данный момент, — единственным близким ключом к тайне. Если он будет пойман — ключ будет в руках Бермана. Или, по крайней мере — отмычка. А если нет?

... Два дня стояла прекрасная погода. Целый кавалерийский дивизион обшаривал тайгу. Около десятка геликоптеров жужжали над каждой расщелиной. К концу второго дня начался затяжной осенний дождь. И сторож и его беспризорники канули в воду.

ПЕЩЕРНЫЕ СНЫ

Валерий Михайлович чувствовал, что он не заснет. Так уютно потрескивали остатки костра, так бессильно, за могу-

чими стенами пещеры выла пурга, так приятно ныли натруженные ноги, было такое редкое ощущение полной и абсолютной безопасности, и, вот, лезли в голову всякие мысли — старые мысли, беспокойные и навязчивые.

Валерий Михайлович призвал на помощь свою интеллектуальную дисциплину и попытался выключить все эти мысли сразу, — но выключатель отказался действовать. Валерию Михайловичу пришла в голову мысль, что недаром святые пустынножители забирались в пещеры — здесь, может быть, как-то ближе к Богу и к совести. Но, может быть, страшно человеку быть ближе и к совести и к Богу... Вот, для Еремея Павловича — Бог разумеется само собой: кто безбожный, тот и безмозглый. Для Валерия Михайловича все это было не так просто. Бог был чем-то вроде безмерно сложной математической формулы, переполненной неизвестными величинами. Формула — она действительно существовала. Но неизвестных было слишком много — и от решения этой формулы лучше было отказаться навсегда. Но — можно ли было отказаться? Там, „в миру", это было довольно просто. Здесь — в пещере, это оказалось сложнее...

Валерий Михайлович сел на своей постели и собрался было налить себе еще одну стопку водки, как что-то распахнуло полотнище, игравшее роль двери в пещеру и чья-то рука просунулась между стеной и полотнищем. Валерий Михайлович — почти молниеносным движением — схватил пистолет, взвел курок и направил ствол на то место, где за рукой можно было предполагать чье-то туловище. Рука продолжала действовать дальше. Полотнище распахнулось еще шире и вслед за рукой показалась чья-то оглядывающаяся голова, плохо видная в полутьме, потом верхняя часть туловища и, наконец, целый человек.

Человек был одет в меховую одежду довольно странного покроя, на голове у него красовалась целая копна темных волос, перевязанных чем-то вроде цветного ремня, а в правой руке — человек держал каменный топор. Да, это был каменный топор. Неолитического периода — гладко обтесанный и отшлифованный, но все-таки каменный — топор. Валерий Михайлевич как-то бессознательно опустил свой пистолет.

Человек был среднего роста, очень плотно сколочен, с чуть-чуть монгольскими чертами лица. За спиной у него висел колчан со стрелами, лук и какой-то меховой мешок. Человек внимательно оглядел пещеру и тихонко свистнул.

На этот свист из-за того же полотнища появилась женщина — тоже в меховой одежде странного покроя и тоже с каким-то мешком за спиной. Оба пришельца направились к костру, осторожно переступив через спящего и похрапывающего Еремея и не обращая никакого внимания ни на Валерия Михайловича, ни на его пистолет.

Валерий Михайлович сидел, как завороженный: вот этого еще не хватало. Мечтал о питекантропе — и питекантроп явился во плоти. Впрочем, это не были питекантропы. Оба уселись у костра и сейчас при его свете Валерий Михайлович смог рассмотреть своих новых соседей по пещере. Оба они были словно выкованы из какой-то тугой бронзы. Мужчина был крепок и жилист, женщина была гибка, сильна и как-то странно грациозна. Их меховые одеяния едва ли были приноровлены к морозу и пурге. Руки от плеча и ноги от колен оставались голыми. И Валерий Михайлович мог любоваться мускулами мужских рук и гибкостью женских. Женщина сняла и развязала свой мешок, достала оттуда кусок медвежьей ноги, мужчина отрезал от этого куска порцию фунтов в десять, продел ее на палочку и очень ловко приспособил эту палочку над костром.

Оба уселись у костра, грея над ним свои руки, и оба казались чрезвычайно веселыми. Мужчина что-то рассказывал своей подруге на совершенно незнакомом Валерию Михайловичу языке и потом, вскочив на ноги, стал иллюстрировать свой рассказ телодвижениями. Мимический талант у него был огромен. Не понимая ни слова из его рассказа, Валерий видел, как человек боролся с медведем, какие зубы и когти были у этого зверя, как зверь и человек схватились в первобытной схватке за кусок мяса — медвежьего или человечьего, и как спорный кусок достался все-таки человеку.

Валерий Михайлович подозревал, что человек врет сильно. Женщина смотрела на него раскрытыми и восторженными глазами и что-то „вечно женственное" сияло из этих глаз. Что-то вечно петушиное было в мимическом рассказе мужчины — казалось, что вот-вот мужчина захлопает крыльями и победоносно заорет: ку-ку-ре-ку! Или, как индюк, распустит свое оперенье и гаркнет: „Здравия желаю, ваше превосходительство!"

Но ничего этого мужчина не сделал. Окончив свое повествование, он вытащил из меховой сумки нож — опять же каменный, и срезая с медвежьей лапы куски уже поджаренного мяса, распределял его между собою и своей подругой.

Фунтов десять изчезли в несколько минут. Мясо было еще полусырым, но ни мужчина, ни женщина, видимо, никогда не имели нужды в зубном враче. Когда мясо было съедено, женщина мягким и гибким движением улеглась головой на колени мужчины — Валерию Михайловичу это показалось странно знакомым... И что-то вообще знакомое было в этой сцене у костра...

Ах, да... Тогда, на речке, в лесу... Костер, Вероника. На костре Валерий Михайлович жарил — правда, не медвежатину, а просто окуньков, выуженных тут же, — какие вкусные были эти окуньки! Вероника, смеясь и обжигая пальцы и губы, поедала окуньков одного за другим, Валерий Михайлович с комическими жалобами рассказывал, какой окунь сорвался у него с крючка, сосны вокруг стояли, как добродушные, сочувственные и очень все хорошо понимающие хранители такого молодого, такого примитивного и такого неповторимого счастья. Потом...

Мужчина положил обратно в мешок свой каменный нож, вдохнул в себя полную грудь воздуха и медленно наклонился над женщиной. Валерий Михайлович сжал зубы и закрыл глаза.

Когда он их открыл, оба спутника были уже на ногах. Оба были как-то радостно веселы, и в глазах женщины был тихий свет найденного и удовлетворенного счастья. Мужчина взял в правую руку свой топор, и оба исчезли во тьму, ночь и пургу. Валерий Михайлович хотел было вскочить и посмотреть, куда это они ушли — но полотнище распахнулось еще раз, из-за него выглянула голова мужчины, и эта голова сказала внятным, четким московским говором:

„Ну, и не дурачье разве?" и исчезла очончательно.

Валерий Михайлович вскочил, протирая глаза, все-таки хотел было заглянуть за полотнище, но понял, что сны — они не возвращаются. Наливая себе стакан водки, Валерий Михайлович заметил, что его руки дрожат. Еремей, Потапыч и Федя спали сном праведников, кони похрустывали овсом, костер совсем догорал,— Валерий Михайлович подбросил в него свежих сучьев, — пурга выла попрежнему и выключатель Валерия Михайловича попрожнему отказывался работать.

Выпив залпом стакан водки, Валерий Михайлович набил трубку и облокотившись на постели, — капитулировал. Спать все равно не удастся. Так вот — в те годы, когда всякий юноша мечтает стать чем-то вроде Наполеона — мечтал и он, Валерий Михайлович. Мечтал о том, как он, Валерий, даст

человечеству свободу и власть, — свободу от эксплоатации и власть над стихией. Весенние дни 1917 года были наполнены восторженными предчувствиями свободы и власти. Теперь — он, Валерий Михайлович, сидит в пещере, а Вероника сидит в тюрьме. Там же, в той же тюрьме сидит и Глеб Степанович, — старый друг, приятель и даже учитель. Теперь перед Валерием Михайловичем стоит задача освободить Веронику, убить Глеба Степановича, взорвать лаборатории тюрьмы, и тогда останется — борьба со „свободой" и борьба со „стихией". Свобода в данном конкретном случае персонифицировалась в ближайшем образе товарища Бермана, а власть и в Бермане, и в Глебе, и в тех тюремных лабораториях, где слепая сила человека пытается раскрепостить слепую силу атома и — может быть — привести то ли Землю, то ли всю галактическую систему, то ли всю вселенную в ее первобытное состояние — в состояние — **небытия.**

Вероника сидит в качестве заложницы, и ей пока ничто не угрожает. Глеб Степанович имеет все, чего только угодно его маниакальной душе — все, кроме свободы, которая ему не нужна. Ему, впрочем, очень многое не нужно. Он, конечно, маниак — или стал маниаком. Но он, конечно, также и гений. Что он еще успел выдумать, сидя в лаборатории Нерчинского изолятора и комбинируя математические доказательства бытия Бога с такими же доказательствами иллюзорности времени, пространства и бытия? Основная идея Глеба Степановича состояла в том, что он, Глеб Степанович, является орудием Божьего Промысла, предназначенным реализовать день Страшного Суда путем атомного взрыва всей вселенной. Вся вселенная Бермана интересует очень мало, но для разрушения капиталистической вселенной Берман использует Глеба Степановича до конца... Что будет, если он, Валерий Михайлович, не успеет прекратить хилиастическую *) деятельность Глеба Степановича? Правда, около месяца тому назад в Москву был послан из изолятора заказ на какой-то новый чудовищный циклотрон — машину для разложения атома, выполнение этого заказа займет не меньше года, следовательно, непосредственной опасности нет. Кроме того, Валерий Михайлович чувствовал, что ему надо как-то отойти от злободневности заговоров, борьбы, подпольщины, убийств, побегов и прочего — и обдумать все это с какой-то иной точки зрения. Чисто теоретически все было ясно: была

*) — „Хилиастический" — относящийся к вере в скорый конец мира.

допущена какая-то основная ошибка. Всё последующее было только попыткой какими-то мелкими паллиативами **) исправить эту основную ошибку, — лечить не болезнь, а только ее симптомы. Но от теории никакого моста к практике не было...

...Как будто тогда, в веселые и роковые дни весны 1917 года, была взорвана дверь — или плотина или стена, загораживающая дневной мир от какого-то черного. И сквозь февральскую дыру хлынуло что-то поистине сатанинское — бессмысленное, бесчеловечное, безбожное. Ведь, в самом деле, чего хотят все эти Берманы? Не счастья же человечества под эгидой диктатуры пролетариата? Какие черные сатанинские импульсы толкают людей на эту бесконечную вереницу убийств, пыток, голода, страха? — Нет, все это как-то нужно передумать с самого начала. Может быть, и в самом деле — двинуться к Еремею на его заимку?



Когда Валерий Михайлович проснулся, костер уже горел и на костре мирно булькал чайник. Еремей шатался по пещере, что-то делал и пытался говорить тихо — это не всегда удавалось ему. Увидев, что Валерий Михайлович уже проснулся, Еремей снял узду со своих голосовых связок:

— Ну, как спалось, Валерий Михайлович? А — хорошо здесь, в пещере, можно сказать, как у Христа за пазухой...

Раскаты его голоса разбудили Потапыча. Он сел и стал протирать ладонями свое медно-красное лицо. Потом протянул руку к бутылке и, убедившись в том, что она уже пуста, решительно встал, достал из своего тюка новый литр, налил стакан и сказал, — так, ни к кому не обращаясь: — Эх, нужно опохмелиться...

—Сегодня — опохмеляйся, сколько в тебя влезет, — сказал Еремей, — а завтра — ни-ни. Завтра, должно, опять пойдем и чтобы ты ни маковой росинки — понял?

— Ну, до завтра еще успеется, — облегченно констатировал Потапыч, и опрокинул стакан в глотку. — А сегодня — что? Только пить и спать. Уже должно быть полдень — что тут делать? Ишь его, как пурга воет!

Федя высунул свою заспанную физиономию из-под полушубка и совсем собрался было снова нырнуть обратно, как из одного из тюков Валерия Михайловича раздался тонкий, но довольно пронзительный писк.

**) — „Паллиатив" — полумера.

— А это что? — изумился Еремей, — что, и цыплята у вас там, что ли?

Валерий Михайлович довольно поспешно стал распаковывать тюк.

— Нет, не цыплята, — радио.

— Ишь ты — изумился Потапыч, — вот что значит техника!

Валерий Михайлович извлек из тюка совершенно такой же аппарат, каким орудовал Степаныч. Произвел над ним те же манипуляции и минут на пятнадцать погрузился в точки и тире, которые возникли на бумажной ленте, выбегавшей откуда-то из таинственных недр аппарата. Еремей, Потапыч и Федя хранили почтительное и почти суеверное малчание.

Когда таинственные переговоры Валерия Михайловича были закончены, он тщательно сложил и запрятал в тюк свой аппарат. В начале этих переговоров Федя, с видом полной незаинтересованности, нырнул под свой полушубок, Еремей деликатно пошел возиться у коней, Жучкин посмотрел одним глазом на Еремея и другим — на бутылку, с независимым видом налил и хлопнул еще стакан. Валерий Михайлович вернулся на старое место и закурил трубку.

— Скажите, Еремей Павлович, далеко этот второй перевал?

— Это — сойотский?

— Не знаю уж, какой. Сколько их здесь?

— Да всего два — вот наш и тот, сойотский...

— Далеко он отсюда?

— Дня два. Если по той стороне итти — и в день можно сделать. А по этой — обходить надо. Хорошо, что мы на сойотский не пошли — он то легче, да по дороге совсем плоские горы, попади мы там под эту пургу, и тут же — крышка. Нам мимо него все равно итти. Вот кончится пурга...

— Мне придется на этот перевал завернуть, — сказал Валерий Михайлович.

Еремей вопросительно поднял брови, но не спросил ничего.

— Тут один человек должен через перевал этот бежать... — как бы отвечая на невысказанный вопрос, сказал Валерий Михайлович.

Федя сейчас же высунулся из-под полушубка, а Жучкин, воспользовавшись минутой сенсации, нацедил себе еще стакан.

— За этим человеком большевики шлют и самолеты и парашютистов...

— Что это за пара . . . , как его там?

— Это стрелки — с самолетов на таких зонтиках прыгают вниз, — авторитетно разьяснил Жучкин.

— Именно, — подтвердил Валерий Михайлович. — Словом — человек, видимо, существенный . . .

— А вы его знаете? — спросил Еремей.

— Знать — не знаю, а выручать надо.

— Я этот перевал знаю, как свою заимку, — сказал Еремей, подходя к костру и усаживаясь. — Перевал — не трудный, плоский. Справа горы, и слева горы. Скажем так: если сидеть на такой вот горе — то версты на две, на три, все, как на ладошке. А на горах — с той стороны — и ямы, и овраги, и всякое каменье. Можно засесть — никто не увидит оттуда. А тебе — видно все. Как на ладошке.

Еремей поправил какое-то полено в костре и уселся приблизительно в позе роденовского „Мыслителя", наморщив лоб, подперев подбородок своим мощным кулаком и являя вид глубочайшей задумчивости.

— Так что вот так: если пурга сегодня спадет, мимо перевала мы пройдем после завтра. Устроим привал — там места есть, опять тайга пойдет — невысокая, а густая, как баранья шерсть. Потапыча мы, значит, с караваном оставим — пусть стережат, по горам наш Потапыч — не ходок (Жучкин не без лицемерия вздохнул, собрался было что-то возразить — но не возразил), а мы, значит, вдвоем . . . Федя тоже пусть с караваном останется.

— А вам-то, собственно говоря, какого чорта . . . — спросил Валерий Михайлович.

— Мы, Валерий Михайлович, не для чорта, а для Бога стараемся, — сказал Еремей, и в его голосе мелькнули ноты какой-то строгости.

Валерий Михайлович промолчал: в самом деле — вот же выручили его — совершенно незнакомого человека . . . Почему не попытаться им выручить и другого . . . Впрочем, сколько раз Валерию Михайловичу приходилось попадать в такие положения, из которых даже он, при всей ясности его мышления, не видел абсолютно никакого выхода — и выход приходил вот от таких неожиданных людей, как Еремей с его сотоварищами . . . Да . . . в этой революции зло дошло до предельной в истории мира концентрации. Но и добро кристаллизуется в такие вот сгустки, как Еремей с сотоварищи . . .

— Там, значит, на горе, с той стороны, как бы, скажем,

галдарея, али балкон — продолжал Еремей свои размышлений вслух. Тон у него был — как у начальника штаба, которому главнокомандующий поручил разработать оперативные детали и который покорнейше просит в эти дела уж не вмешиваться...

— На эту, скажем галдарейку, можно и с этой стороны перебраться — не через перевал. Оттуда видно все. Вот только стрелять плохо— сверху вниз, попадание плохое, нужно бы пристреляться, я там как-то изюбря застрелил... С той стороны на эту галдарейку не забраться никак: стена и все тут. Словом — сиди, как в театре... А пока что и закусить можно: пурга заладила на весь день...

СТЕПКА ПО ТУ СТОРОНУ

Когда нездешняя сила выволокла Степку наверх, он опутился лицом к лицу с какой-то нечеловеческой образиной, и первое, что ему пришло в голову — это преисподняя. Впрочем, Степко находился в почти полусознательном состоянии. Сердце колотилось, как пойманный мышенок, и воздуху не хватило — в особенности на этой высоте. Нездешняя сила пригнула Степку к земле и нездешний голос прорычал:

— Катись на карачках, а то подстрелят...

Ничего не соображая, ни о чем уже не думая, Степка пополз на четвереньках куда-то вниз,стукаясь то лбом, то коленями, то локтями о камни и чувствуя, что даже и его силы приходят к окончательному концу. Пули щелкали по отвесной каменной стене и, визжа противным визгом, разочарованно уносились куда-то в сторону. Степка не мог сказать, как долго пришлось ему ползти, когда нездешний голос прорычал:

— Ну, теперь вставай!

Степка, шатаясь, поднялся на ноги. Перед ним стоял медвежьего вида мужик с винтовкой в руке. Около мужика стоял человек, лицо которого показалось Степке как-то странно знакомым: где он мог его видеть? Потом таежная зрительная память выхватила из кривоносовского портфеля плотный лист бумаги с объявлением о наградах за поимку научного работника, — вот только нули перепутались...

— Ай, да, спасибо Валерию Михайловичу, — прерывающимся голосом сказал Степка...

Валерий Михайлович даже брови поднял:

— А вы откуда меня знаете?

Вместо ответа Степка пощупал рукой свое горло:

— В глотке пересохши, — прохрипел он и покосился на фляжку Валерия Михайловича.

Валерий Михайлович сочувственно понимающим оком осмотрел Степку:

— Ну, потом можно будет промочить...

— Ну, валяй, ребята, нечего тут лясы точить — проказал Еремей и ткнул рукой вниз в тайгу, — катись туды...

Степка попытался итти, но уже не мог. Ноги подкашивались и голова шла кругом. Он пошатнулся, упал, с трудом поднялся на ноги и попытался итти дальше.

— Стой! — проревал Еремей.

Степка покорно остановился.

— Повернись спиной!

Степка повернулся.

— Расставь ноги!

Степка расставил ноги. Какая-то нездешняя сила подняла его, как котенка на воздух и опустила на еремеевскую шею.

— Ну, теперь — полным ходом!

В одной руке Степка все еще держал свою винтовку, а другой рискнул все-таки вцепиться в еремеевскую шевелюру. Еремей прыгал с камня на камень, как горный баран. Впереди еще лежали версты две голых каменных осыпей, и только за ними курчавилась тайга. Степка стал приходить в себя.

— Мне бы, Валерий Михайлович, еще бы шпоры; совсем кавалеристом стал бы...

Валерий Михайлович посмотрел снизу вверх на исцарапанную, избитую, отчасти окровавленную и во всех частях немытую степкину физиономию: „Нет, этой физиономии он никогда в своей жизни не видал. Ну, еще будет время... А сейчас нужно торопиться, нужно очень торопиться".

Сидя на „галдарейке" Валерий Михайлович успел в бинокль осмотреть все подходы к перевалу. У подножья другой горы, кое-как покрытой кустарником и карликовыми деревьями, на складном трехногом стуле сидел, конечно, сам Берман. Валерий Михайлович никогда не видел его во плоти, но хорошо знал его внешность по фотографиям. Да и без фотографии Бермана можна было узнать сразу — такие истинно насекомые лица встречаются не так уж часто. Перед Берманом на треножнике стоял мощный морской бинокль, рядом — по всей вероятности полевой радиоаппарат: зна-

чит, Берман лично руководил всей этй операцией и, значит, на перевале она не кончится...

Действительно, из-за горы со страшным ревом и гулом вылетел самолет, и круто завернув, взял курс на беглецов.

— Ну, — проревел Еремей — сейчас нужно за камни — эй, слезай-ка, паря, довольно покатался!

Степка спешился и с удовольствием отметил, что уже может итти самостоятельно. Самолет приближался со страшной скоростью, и его пулемет обливал камни свинцовыми струями. Но летчики могли стрелять только в направлении полета, пули щелкали по камням, за камнями, тесно прижавшись к ним, лежали все трое беглецов, но было ясно, что рано или поздно до них доберутся.

Самолет выпустил пулеметную очередь, описал над долиной круг и летел обратно. Беглецы переселились на другую сторону камней.

— А, вот, вы, Валерий Михайлович полюбуйтесь, как наш брат, таежник, птицу пулей в лет бьет, — сказал Еремей и, стоя на одном колене, старательно и как-то даже осторожно приложился из своей винтовки. Сухой, короткий винтовочный выстрел утонул в страшном гуле самолета. Только сейчас, в первый раз в жизни, Валерий Михайлович почувствовал, что значит скорость порядка четырехсот-пятисот километров в час, когда наблюдатель сидит метрах в сорока — пятидесяти от линии полета. Самолет промелькнул, как грохочущая молния, пролетел, не меняя курса, еще с версту и почти перпендикулярно врезался в почти отвесную стену горного хребта. Вспыхнуло желтое пламя, донесся глухой взрыв, и по склонам хребта посыпались какие-то обломки и осколки...

— Ну что? — спросил Еремей, досылая новый патрон.

Валерий Михайлович не ответил ничего, но, конечно, никакой „аппетический" прицел не может заменить глаз, практики и твердости руки вот такого Еремея.

— Ну, а теперь — во все лопатки, ребята...

Бросились во все лопатки. Из-за горы взмыл новый самолет, но, повидимому, его внимание было привлечено главным образом судьбою первого: с откосов горы еще катились обломки и остатки, еще пылал бензин желтоватым пламенем. Удостоверившись, что для первого самолета уже никакой помощи не было нужно, — второй самолет повернул к тайге и пулемет снова защелкал по камням. Еще тридцать, еще двадцать, еще десять шагов — вот уж и кусты, промоины, овраги, чаща. Снова залегли

в какую-то каменную щель, по краям которой снова покропил свинцовый дождик, потом новая перебежка шагов в двести, и тут Еремей решил прекратить бегство:

— Какого, спрашивается, чорта? Мы его видим, он нас — чорта с два. Вот мы его сейчас.

— Давайте все втроем, — сказал Валерий Михайлович.

Три винтовки поднялись навстречу самолету. Тот летел совсем низко, выключив мотор, и, как коршун, парил почти над самыми верхушками леса. Три выстрела слились почти в один, самолет накренился на правое крыло, потом перевернулся через него и въехал куда-то в тайгу. Донесся новый глухой взрыв, но не было ничего видно.

— Ну, теперь можно и не торопиться, — сказал Еремей. Теперь если еще одна такая сорока вылетит — все равно ничего не увидит.

— Ну, кажись, пронесло, — сказал Еремей, — да вот еще и тучка подходит.

Обрывок заблудшей тучки, цепляясь за выступы скал и за вершины деревьев, медленно сползал в долину, окутывая беглецов спасительным, но холодным и мокрым туманом. Несмотря на туман, Еремей уверенно вел свою группу до места стоянки лошадей, — Феди и Жучника. Степка зашагал было с показной бодростью, но скоро снова скис. Когда подошли к стоянке, он бессильно опустился на землю.

— Ну-с, — спросил Валерий Михайлович, — так откуда же вы меня знаете?

Степка все тем же классическим жестом пошевелел пальцами у горла:

— Совсем пересохши, — прохрипел он.

Еремей налил из фляжки хорошую кружку водки. Степка жадными глазами смотрел, как водка из фляжки переливается в кружку, и боялся только одного: как бы Еремей не налил бы всего полкружки. Но эти опасения были преувеличенными. Степка, зажмурившись, как кот, которого гладят под подбородком, медленно высосал всю кружку. Глаза его приобрели прежний жуликоватый вид.

— Вот тут, Валерий Михайлович, все бумаги...

Из своего рюкзака Степка достал злополучный портфель и протянул его Светлову — не без скорбной мысли о том, что вот какие голенища можно было бы соорудить, а теперь, вероятно, пропало дело. Светлов присел на вьюк и быстро просмотрел содержание портфеля. На его лице не отразилось решительно ничего.

— А как этот портфель к вам попал?

— Так что, товарищ Валерий Михайлович, шел это я, да еще там были люди, и видим — мертвые красноармейцы, — это у речки под Лысковом. Ну, конечно, зачем мертвым обмундирование?... А потом попал я в это самое Лысково. В горле пересохши. Зашел это в трактир, говорю: вот — лежат там мертвяки — а меня, р-раз — и к начальству, Кривоносов там какой-то. Ну, стали меня и туда, и сюда, вижу я, пропасть тут можно. Ну — дело было вечером, даже, скажем, уже ночью, я это на лампу — дмух — ну, что там валялось — под мышку и айда — только меня и видели.

Светлов не задавал никаких вопросов. Жучкин презрително фыркнул:

— Ну и золоторотец ты, брат, как я вижу!...

Степка боком посмотрел на Жучкина.

— А на какой это роте ты пузо такое нажил — небось, на советских хлебах! Тоже на краденых...

Жучкин поперхнулся.

— Ну, значит, спер это я это барахло и в тайгу. А там меня у какого то-сь кооператива и застукали. Привезли в Неелово, — да на допрос — вот к этому цыгану, Берману или как его там. Все спрашивали про какую-то Дуньку, да про ейного отца, да где живет. Ну и про портфель тоже.

— Вишь ты, — сказал Еремей, — а я тут при чем?

— Уж я, дядя, этого не знаю. Где, спрашивает, живет дунькин отец. Ну, всякого народа позабирали полную тюрьму и все выспрашивали. Я вижу, дело дрянь. Говорю — могу показать, где дунькин папаша живет, а там уж видно будет. Ну, повезли, значит меня на машине такой, — здоровенная машина — одних колес шесть штук. Ну, я по дороге и сбежал.

— А как же вы сбежали?

Степка обвел взором всех собравшихся и решил, что все равно никто из них не поверит. Он махнул рукой:

— Канительная история. Ну, там пырнул одного, да с моста — в воду. А как вы-то меня — словно ждали у этого перевала?

— А мне по радио сообщили, — сказал Светлов.

Но о радио Степка не имел никакого представления.

— Телефон такой — без проволоки, — вот тут ты говоришь, а за сто верст слышно, — пояснил Жучкин.

Степка с сомнением пожал плечами, но спорить не стал.

— Вы Лесной Пади не знаете — охотничий заповедник около Неелова? — спросил Светлов. — Там о вас гово-

рили, — вот мне этот разговор по радио и передали...

— Ну, это там по радию или не по радию, а без вас, Валерий Михайлович, тянули бы из меня жилы в каталажке... А что я могу сказать? Какая такая Дунька, какой-такой ейный папаша — откуда мне знать?

— А я вот и есть — дунькин папаша, — сказал Еремей.

Степка повернулся к нему — и потом развел руками:

— Ну, значит — судьба такая. Только скажу я вам, дунин папаша, что поймают вас — это, как Бог свят. Потому цыган этот — народу может с тысячу по тайге поарестовал и всех допрашивает — где это живет такой мужик, по фамилии Дубин, по обличью — медведь, на заимке, где речка и озеро, по дороге к сойотам... С чего вы ему сдались?

Еремей пожал своими плечами.

— А и в самом деле — с чего?

— Довольно ясно — сказал Светлов. — Берман думает, что мы вместе с Потапычем сбежали — а куда?

— Тут о бабе одной разговор был, — стервозная такая баба, — пояснил Степка. — Это к ней на квартиру меня в Лыскове привели.

— Гололобова? — спросил Жучкин.

— Как быдто.

— Ну и дела. Думали, что в тайге, — как иголка в стоге сена, а вот сидим тут, как мышь под метлой, а ежели пустят самолеты, так до папаши доберутся, — это раз плюнуть.

— Нужно устроить так, чтобы не добрались, — сказал Светлов.

— А как вы это устроите?

— Довольно просто. Скажите, Еремей Павлович, мы, значит, сейчас шли, так сказать, наперерез перевалу? — Светлов достал клочок бумаги и схематически набросал: подход к перевалу, две горы, сторожащие его справа и слева, спуск с перевала к юго-востоку и место, в котором находился в данное время караван. С первого взгляда Еремей в этом наброске не понял ничего. Но потом при совместных усилиях Светлова и Жучкина кое-что выяснилось: там, где должна была быть одна гора, на план была положена еловая шишка, на месте другой — другая шишка. План приобрел наглядность.

— Так вот: Берман сидел здесь, — Светлов ткнул карандашом, — как можно не через перевал добраться до этого места ?

— А вам зачем это? — изумился Еремей.

— Видите ли — Берман до вас доберется обязательно. Заимок тут не так уж много. А у вас такие особые приметы, что за версту видно.

— То-есть, какие ж это приметы?

— Ну, знаете ли, таких мужичков, как вы, даже и на Святой Руси водится не так уж много. А если арестовано несколько сот таежников, то кто-то из них ведь знает и вас и вашу заимку. Пошлют самолеты...

— Да, это действительно, — раздумчиво сказал Еремей. —Придется, значит, заимку бросать...

— Ну, не так уж плохо дело, — сказал Светлов, подымаясь на ноги. — Пусть Федя с Жучкиным пока посидят здесь, а мы пойдем поговорим с Берманом. Он там сидит один, поговорить можно будет.

Еремей наклонился вперед и уставился на Светлова, как баран на новые ворота. Жучкин сказал что-то вроде: „Ну, это уж извините", и даже Степка выразил предельное изумление.

— Тут от этого самого цыгана еле ноги унесли, а теперь ему прямо в зубы?

—Ну — зубы, это как сказать — у кого острее...

В глазах у Валерия Михайловича появились смеющиеся огоньки. Еремей еще раз пожал плечами:

— Ну, вы, Валерий Михайлович, человек образованный, вам виднее...

ВСТРЕЧА „ДРУЗЕЙ"

На этот раз Берман решил взять на себя лично наблюдение за всей операцией. С каждой неудачей, а неудачи нарастали, как снежный ком, — у него все больше и больше крепло подозрение в наличии какой-то очень хорошо обдуманной организации, которая как-то заранее подготовила для Светлова и его соучастников всю эту цепь кажущихся случайностей. Никак не исключалось участие Медведева в этой организации. Поэтому Медведев был отстранен, — под более или менее благовидным предлогом продолжения поисков столь таинственно исчезнувшего Степаныча, а поиски Степки Берман взял целиком на себя.

На склоне горы, поросшей мелким кустарником и заваленной камнями, для Бермана был поставлен складной стул, бинокль и радио передатчик. Этот наблюдательный пост

давал возможность видеть все подходы к перевалу. Берман видел парашютистов, спрыгивавших с самолетов, и, наконец, увидел и цель всей этой экспедиции: Степку, нагруженного винтовкой и рюкзаком, видимо, уже совершенно выбившегося из сил и бежавшего к горному тупику, из которого никакого спасения не было. Берман вжался глазами в окуляры бинокля: Бродяга бежал к почти отвесной каменной стене, за ним — все ближе и ближе, — бежало около десятка пограничников и вот тут-то началось непонятное.

Пограничники стали падать, как кегли. Один из них почти схватил было бродягу — но упал, как подкошенный, — видимо, бродяга застрелил его в упор. И — вот — бродяга повис в воздухе, как мыльный пузырь, поплыл все вверх-вверх-вверх — и изчез за карнизом горы.

Берман почувствовал холодный пот на лбу. На своем весьма разнообразном веку он видывал всякие вещи, но еще не видал, чтобы человек мог бы подыматься на воздух, так сказать, сам по себе, — без применения каких бы то ни было механических приспособлений. Вытерев со лба холодный пот, Берман приник к биноклю. Там, на карнизе, как будто какие-то люди еще. Что-то неясное мелькнуло и нырнуло за камни, — не то зверь, не то человек. Потом показалась какая-то голова — еще и еще одна — и опять все исчезло. Значит — бродягу тут кто-то ждал. Как кто-то все-таки ждал его на мосту у Троицкого. Как кто-то ждал Светлова в Лыскове. Но как и кто-мог заранее знать, что он, Берман, бросит на этот перевал самолеты и парашютистов?...

Берман откинулся от бинокля и снова вытер холодный пот. Ах, да, этот егерь в Лесной Пади. Да, этот разговор с начальником дивизии на берегу речки, который мог бы быть подслушан егерем. Но если и этот разговор мог быть и подслушан и передан — тогда, значит...

Это могло значить очень многое. Берман собрал все свои силы. Сейчас все-таки нужно сделать все, чтобы поймать бродягу. По радио Берман дал приказ самолетам продолжать поиски по ту сторону перевала. Пеших пограничников трудно было собрать, они рассеялись по предгорью и радио связь была только с двумя пунктами, где сидели командиры парашютных взводов. Берман приказал собрать людей и послать их через перевал, — хотя ясно понимал, что шансов на успех нет уже почти никаких. Может быть — самолеты...

Было видно невооруженным глазом, как уцелевшие парашютисты собирались около своих командиров, как один са-

молет, потом другой, пронеслись сквозь узкую щель перевала. Потом затарахтел пулемет — у Бермана стало легко на сердце: значит, беглеца все-таки обнаружили. Потом раздался глухой и тяжкий взрыв, который в пределах вероятности мог означать только одно: гибель самолета. Потом другой — более глухой, но, конечно, такого же значения. Оставалась надежда на пехоту. Но как медленно, — как муравьи — пробиралась она к перевалу... Берман послал еще около дюжины пограничников, которые составляли нечто вроде его личного эскорта, и стал ждать. Больше ничего не оставалось делать. Он закурил свою таинственную папиросу и попытался еще и еще раз охватить непонятные происшествия последних дней... Час проходил за часом, папиросы исчезали одна за другой... И, вдруг, со стороны горы раздался какой-то, как-будто бы как-то знакомый голос:

— Эй, ты, цыганская образина...

Берман повернулся. Если бы он увидел призрак своей давным давно помершей мамаши — впечатление было бы не таким потрясающим. Но вместо давным давно помершей мамаши к Берману шествовал бродяга. Вид у бродяги был изысканно хамский, даже и походка как-то каррикатурно повторяла походку Бермана — носки врозь, колени подогнуты, ноги волочатся. За спиной бродяги болталась винтовка. В руке белело нечто вроде бумажки. На физиономии была написана такая наглость, что Берман готов был зубами скрипеть. Несколько в стороне от линии, по которой двигался бродяга и шагах в ста позади его, из за кустика выглядывало дуло винтовки, устремленное непосредственно на Бермана.

Берман понял, что он, наконец, попался.

Берман хотел было оглянуться вокруг, но сдержался. И не оглядываясь, он знал, что никакой помощи ждать нечего: даже телохранителей он послал на перевал, стрелки-парашютисты разбросаны у подножья хребта в версте-двух от его самолета, чья-то винтовка не спускает с него своего прицела — на расстоянии ста-полутораста метров промаха она, конечно, не даст, а рядом стоит этот таежный бродяга... От бродяги довольно ясно несло водкой. В своей безопасности он настолько был уверен, что даже винтовки из-за спины не снял. В руках у него белел какой-то клочок бумаги, а на лице было написано, так сказать, торжество победителя.

— Ну, что, попался, насекомая сволочь, а помнишь, как ты на меня борова твоего напущал?...

Степка куражился. Повторяя классический жест борова,

он сжал свою жилистую длань в кулак, но даже и не замахнулся. В лице Бермана было все-таки что-то такое, что вызывало известный респект даже и у Степки. На этом лице не пошевелился ни один членик, на нем не было ни испуга, ни удивления — не было ничего. Берман понял, что беленький клочок бумажки мог относиться только к нему, и молча протянул руку — как протянул бы он ее своему подчиненному, вошедшему в его кабинет с какой-нибудь телеграммой. Степка разжал кулак и передал бумажку Берману. На ней, косым, мелким, и твердым почерком было написано:

„Следуйте за подателем, вам ничто не угрожает"...

„Следовать", конечно, приходилось. Почерк был хорошо знаком — у Бермана годами выработалась профессиональная память на лица, почерки, имена, даты и прочее такое. Да, почерк был знакомым. Один из отделов подведомственного Берману учреждения занимался даже и графологическим анализом почерков различного рода людей, пытаясь таким образом установить их слабые и их сильные стороны. Берман вспомнил графологические определения автора данной записки и вспомнил одну из слабых сторон, указанных в этом определении: привязчивость к людям. Этой черты характера Берман не понимал вовсе, но считался с ее наличием у других людей. Насколько Берман мог вспомнить, никаких иных слабых сторон определение не указывало.

Берман поднялся, ничего не говоря и не глядя на Степку. Направление было ясным и без этого бродяги: на винтовку. Степка старался не стоять на линии прицела. Так же молча, спокойно, — как если бы он переходил из своего кабинета в медведевский, Берман зашагал по направлению винтовки. Степка шел сзади и злился на самого себя, что покуражиться ему так и не удалось. Вот тут бы трахнуть этого цыгана по шее — да как-то не выходило. Эх, нужно было сразу — а теперь сзади, как-то ни с того, ни с сего... Степка опять сжал свой кулак, опять разжал, и остатки своего куража сформулировал в угрожающем тоне:

— Ну, вот теперь-то мы с тобой поговорим...

Но и на эту фразу Берман не ответил ни слова. Замолчал и Степка. И только на половине дистанции сказал угрюмо:

— Теперь — держись левее...

Берман слегка завернул влево. Винтовка старательно следовала за всеми его движениями.

За осыпями огромных валунов, в промежутках поросших

низким кустарником, сидел на каком-то камне человек, которого Берман знал так хорошо, как немногих людей в мире, и которого он видел в первый раз. Все те данные — биографичиские и даже графологические, которые мог собрать об этом веловеке чудовищный информационный аппарат, находившийся в распоряжени товарища Бермана, были давно собраны, систематизированы и даже изучены. Все это Берман знал почти наизусть. Знал — по десяткам фотографий и это лицо и эту жилистую, по военному подтянутую фигуру и спокойные серые, как будто чему-то усмехающиеся глаза. Но все попытки увидеть этого человека лично — то-есть в стенах подведомственного товарищу Берману учреждения — до сих пор кончались полным, и большей частью кровавым, провалом. Никогда — при всем разнообразии своего жизненного опыта, не мог товарищ Берман предположить встречи с этим человеком вот в такой обстановке: на горном перевале, среди валунов и разорванного мокрого тумана — и под дулом чей-то внимательной и настойчивой винтовки. Встречи, при которой он находился бы в полной власти этого ;человека. Что он, этот человек, сделает дальше? В голове Бермана мелькнула мысль о плене и пытках, но он отбросил ее, как технически ни к чему не ведущую: выхода все равно нет. Сейчас еще нет. Потом, может быть, — появится?

Валерий Михайлович коротким жестом предложил Берману сесть на соседний камень. Берман смахнул с него какую-то ветку и молча сел. Валерий Михайлович, не торопясь или делая вид, что не торопится, засунул руку в карман и вынул оттуда кожаный портсигар, из которого извлек папиросу и еще какую-то бумажку. Из другого кармана извлек спички, закурил и только тогда — опять-таки медленно и не торопясь — протянул бумажку Берману.

Берман, так же молча, взял бумажку. Как ни тренированы были составные части лица товарища Бермана, с них сбежали и последние следы того, что можно было бы назвать человеческой окраской человеческого лица. Валерий Михайлович протянул руку и взял записку обратно.

— У нас, собственно, есть и другие образцы вашего почерка, — сказал он, — но и это нам не помешает.

Берман тоже полез в карман за папиросой. Валерий Михайлович предупредительно поднял руку:

— Не вынимайте ничего, хотя бы отдаленно похожего на револьвер: вам прострелят руку.

Но Берман вынул портсигар и молча закурил. Инициативу

дальнейшей беседы лучше было предоставить гражданину Светлову.

— Я полагаю, — сказал Валерий Михайлович, — что соотношение сил для вас сейчас совершенно ясно?

Берман молча кивнул головой. Эта записка, или даже ее фотокопия, представленная гениальнейшему или его верным клевретам — если такие вообще имеются, — означала бы гибель, какую именно, об этом товарищ Берман знал достаточно ясно по своим собственным ведомственным указаниям. Да, он находился в полной власти у этого человека. И не только потому, что чья то внимательная и старательная винтовка размозжила бы ему пальцы, если бы вот сейчас, вместо портсигара, он вынул бы из кармана „нечто, хотя бы отдаленно похожее на револьвер", но потому, что эта записка была более страшной угрозой, чем все винтовки мира вместе взятые. Если бы ему удалось не дать обратно этой записки Светлову... Но он ее и проглотить не успел бы: откуда-то издали, конечно, смотрела винтовка, старательно и внимательно следя за каждым его движением и не было никаких оснований предполагать, чтобы эта винтовка дала промах. Перед ним — в двух шагах сидела с кажущейся неизбежностью жилистая фигура Светлова, а сзади, вероятно, стоял бродяга с его розовыми воспоминаниями о борове, цепи, и прочем таком. Берман чувствовал, что он как бы связан по рукам и по ногам, и что он даже и шевельнуться не может в направлении, которое было бы нежелательным этому человеку.

Валерий Михайлович выпустил струйку табачного дыма, медленно слившегося с мокрым обрывком горного облака, и неторопливо продолжал.

— Есть, кажется, такой одесский анекдот о двух умных людях, которым не о чем разговаривать — они и без разговора понимают. Мы, кажется, находимся именно в этом одесском положении...

Берман продолжал молчать.

— В виду этого я предлагаю вам некоторую... как бы сказать — ну, кооперацию. На всякий случай изложу ее основные пункты.

Берман продолжал молчать. Да, он, этот человек, взял его в плен. Теперь он, этот человек, собирается отпустить его на свободу, которая будет, может быть, еще худшим пленом, чем сейчас. Берман вспомнил старинную сказку о Кощее и о том яйце, на которое если надавить, то и за

тысячи верст Кощей начнет задыхаться. Записка играла роль кащеева яйца.

— Но прежде, чем перейти к этим пунктам, я хотел бы вас предупредить. То, что вам сообщил на этих днях начальник дивизии — товарищ Завойко, — вы, вероятно, помните вашу беседу на берегу речки в Лесной Пади — это не совсем полно. Завойко правильно предупредил вас о том, что его подчиненные, входящие в вашу организацию, откомандировываются не случайно, Но он вас не предупредил о том, что при малейшем колебании ваших шансов, он уже спланировал свой переход на сторону будущего победителя...

Берман внутренне усмехнулся: у этого человека, видимо, сохранился еще достаточный запас наивности — одна из слабых сторон, каких не уловил даже и графологический анализ. Он, Берман, заранее учитывал заблаговременный переход любого из его сотоварищей на любую сторону,которая может обещать победу.

Нет, он, Берман, все-таки не так наивен, как этот человек. Может быт, здесь есть какие-то шансы. Но — откуда этот человек мог знать и о его, Бермана, беседе с Завойко? Но это — не вопрос данной минуты.

— Возможность такого перехода вы, конечно, понимаете и без меня, — спокойно продолжал Валерий Михайлович. — Дело, однако, заключается в том, что Завойко уже вел кое-какие переговоры с товарищем Ивановым — вы, вероятно, помните — вот тот самый, который первым предложил теорию нерчинского изолятора.

Берману окончательно стало не по себе. Теория нерчинского изолятора была изложена в присутствии трех людей: Бермана, товарища Медведева и этого самого Иванова. Как мог этот человек знать о разговоре, происходившем в кабинете Медведева в страшном доме № 13? Если бы этот разговор выдан был Ивановым — этот человек не стал бы расшифровывать своего соучастника. Остается значит, один Медведев? Но, тогда, откуда этот человек мог знать разговор с Завойко? Берман понял, что кащеево яйцо еще более чувствительно, чем он это предполагал минуты две тому назад... Но он продолжал молчать.

— Завойко нужно убрать, пока не поздно. Мы, видите ли, о вас заботимся, как любящая мать: вы находитесь целиком в нашей власти, а всякий иной человек на вашем месте в нашей власти будет находиться не так скоро.

Берман понимал и это. И это означало по крайней мере

какую-то передышку. Какой-то — пусть временный, просвет. Сейчас он должен делать или должен делать вид, что делает все, что ему прикажет этот человек. Всякий иной на его, Бермана, месте не будет никак зависеть от этого человека — по крайней мере, долгое время. Но что именно потребует от него сейчас?

— Завойко, впрочем, уберем мы сами, — продолжал Валерий Михайлович. — Я только хотел вас предупредить, что это будет дело наших рук. Ваши неудачи последних дней подействовали на него катастрофически. Так что времени осталось не так и много. Словом, к изчезновению Завойко вы, пожалуйста, не проявляйте особенного интереса. Кроме того, мне, вероятно, понадобится самолет, — об этом вы будете в свое время поставлены в известность...

...Степка смотрел на обоих собеседников, как баран на новые ворота. Сначала вовсе ничего нельзя было понять. Хорошо было бы, если бы Валерий Михайлович сначала съездил бы этого цыгана по морде и потом приказал бы Степке и Еремею прикончить его, как тарантула. Ну, может быт, и не по морде — Валерий Михайлович человек, видимо, благородный, но зачем же с такою гадиной возжаться? Потом это недоумение перешло в удивление: смотри ты его — у Бермана и самолеты, и солдаты, которые с неба прыгают, и целая тюрьма, и всякие машины, полицейские, целая армия — а, вот, сидит тут Берман ни жив, ни мертв, а Валерий Михайлович приказывает ему, как генерал рядовому... Степка смутно догадывался о магической роли таинственной бумажки, но эта роль значительно превышала способности его воображения. Было ясно одно: недаром за Валерия Михайловича такую уйму денег обещали. А все-таки: чего бы проще: стукнуть этого гада прикладом по черепу — и все тут...

Товарищ Берман докуривал папиросу и все молчал. Кащеево яйцо оказалось в таких железных рукавицах, о каких он даже и не догадывался. Все неприятности, все неудачи последних дней — начиная с гибели взвода в Лыскове и кончая таинственным спасением вот этого самого бродяги, который сейчас стоит за его, Бермана, спиной, начинали принимать формы заранее обдуманной шахматной задачи — с матом на третьем или четвертом ходе. В сущности, это был почти мат. Теперь он, Берман, волей-неволей должен стать послушным орудием в руках этого человека — и не было никаких оснований предполагать, что с этим орудием будут долго церемониться...

— Мы с вами, мистер Берман, — продолжал Валерий Михайлович, — попутчики до некоей станции — вы знаете, какой. Не совем, правда, равноправные попутчики. Но я хочу вас предупредить еще об одном: мы не станем ставить вам таких условий, которые для вас были бы невыполнимы.

Берман, конечно, понимал и это: невыполнимых условий этот человек ему не поставит. Это было бы так же нелепо, как если бы он, этот человек, стал бы рубить дрова микроскопом. Его, Бермана, будут беречь... Для того, чтобы в каком-то конечном счете раздавить его, как клопа.

Берман очень хорошо знал этого человека. Но только сейчас, сидя против него на холодном, сыром камне перевала, Берман понял, что он знал его недостаточно. Но, может быть, он несколько недостаточно знал и других людей?

Ему пришло на ум сравнение с анатомией. Да, она изучает человеческие органы. Но не живые, а уже мертвые... Так, может быть, и он, Берман, изучал людей — уже полумертвых от тюрем, страха, допросов, пыток. Или — других — полуживых от общей атмосферы тех же тюрем, того же страха, тех же допросов и тех же пыток, — атмосферы, которую создали они же, эти люди. Здесь перед Берманом сидел человек, который, видимо, не боялся вообще ничего. Который каким-то странным — малопонятным для Бермана — образом, ухитрился жить вне всех трех измерений советского быта. Может быть... может быть, Берману в первый раз в его жизни пришлось видеть духовно свободного человека. Но Берман зажмурил мозг перед этой мыслью, как люди зажмуривают глаза перед ударом. Эта мысль не имела никакого смысла вообще и была бы совершеннейшим идиотизмом в данный момент. Он, Берман, жил в трех измерениях, какое ему дело до четвертого, если оно даже и существует?

Берман напряг свои зрительные органы и мельком взглянул в глаза Светлова. Нет, там не было ничего. То-есть, вообще ничего. Ни ненависти, ни даже любопытства. Это были совершенно спокойные, сероватые глаза и они смотрели на Бермана так, как если бы он, Берман, был продавцом газет на углу, и у него случайный прохожий — в данный момент вот этот человек, — покупал ежедневную свою вечерку. Берман почувствовал нечто вроде обиды: все-таки он, Берман, не был уж такой личностью, к которой можно было бы не проявить вовсе уж никакого — ну, хотя бы

исторического, интереса. Никакого исторического интереса взгляд Светлова не проявлял.

— Так вот — сказал Светлов, как бы резюмируя предшествующую беседу. — Поиски Еремея Дубина вы, значит, прекратите сейчас же.

У Бермана мелькнула новая мысль: „Ах, вот это, значит, и есть та слабая сторона, на которую указывал графологический анализ: привязчивость к людям. Но — если так, то почему этот человек ни разу не упомянул имя Вероники Светловой?

— Хочу вас, в частности, предупредить, что это вообще бесцельно. Вы понимаете сами — я мог бы и не предупрежать...

Да, конечно, он, этот человек, мог бы и не предупреждать... Но, может быть, Еремей Дубин открывает все таки какие-то возможности?...

— Не буду вас дольше задерживать, — продолжал тем же спокойным тоном Светлов, — Ваше отсуствие может быть замечено, — это ни вам, ни нам ни к чему. Стоит ли вам говорить, что если что-либо случится, скажем, со мной, по вашей, конечно, инициативе — то соответствующие факсимиле будут переданы в соответствующие инстанции автоматически. Так что мы с вами на некоторое время представляем собою, как бы это сказать — некое общество взаимного страхования. На этом, я думаю, мы покончим наш... монолог. Полагаю, что мы скоро увидимся еще раз.

Светлов поднялся с камня. „Аудиенция окончена" — с некоторым оттенком злобы подумал Берман. Окончен и „монолог". Берман посмотрел вокруг себя: внимательная винтовка скрылась в клубах надвинувшегося облака, — но это не играло никакой роли: Берман понимал, что и без этой внимательной винтовки, малейшее подозрительное движение с его стороны вызовет некую физическую реакцию со стороны этого человека — и тут шансы Бермана будут равны нулю. Кроме того, сзади стоял бродяга. Берман неловко поднялся с камня — достал еще одну папиросу и закурил ее не без некоторого деланного спокойствия.

—Вы, конечно, правы, — сказал он — это был монолог. Ваши условия я вынужден принять такими, какими вы их изволили изложить — без всякой дискуссии. Но не исключена возможность, что при нашей ближайшей встрече я смогу предложить вам некий встречный план. Может быть, рас-

стояние между нами — или часть его — можно, как немцы говорят überbrücken? *)

Светлов посмотрел на Бермана как то сверху вниз. Не только потому, что Светлов был высок, строен и широкоплеч, а Берман был крив, низок и узок, а как-то иначе. И Берман понял, что никакие мосты тут невозможны. Но может быть возможна кооперация?

— На каком-то отрезке пути — наши цели совпадают — продолжал он. — Что будет после этого отрезка — не входит в задачи сегодняшнего дня...

Светлов еще раз посмотрел как-то сверху вниз.

— Я все-таки боюсь, что ваше отсутствие будет замечено. Вы сможете в этом тумане найти свой самолет?

Берман повернулся и молча пошел к самолету. Действительно, в этом тумане не трудно было и мимо пройти. Берман сел на свой складной стул и по радио передал приказ прекратить поиски. Потом он вынул из внутреннего кармана никеллированную коробочку, достал из нее ампулу и шприц. В нем все росло ощущение какой-то наклонной плоскости, по которой он катился, катился все эти дни, пока, наконец, не докатился до перевала. Все это нужно обдумать. Не сейчас. Не здесь...

НА ЗАИМКУ

Когда бермановская спина исчезла в клочьях мокрого и склизкого тумана, Еремей вылез из-за своего камня и подошел к Светлову.

— Ну, что, Валерий Михайлович, что ж вы такую гадину выпустили?

— Пригодиться еще, Еремей Павлович, — весело ответил Светлов.

— Эх, — сказал Степка, — мало денег за вас обещали — я бы больше дал.

— А у вас есть?

— Если бы были!... Я раз самородок нашел...

— Ну, и...?

— Пропил. Сами посудите — и день и ночь в тайге, лазишь это по воде, во рту пересохши...

— А что это за цыган такой? — спросил Еремей.

— Это, папаша — оффициозным тоном заявил Степка, —

*) перекинуть мост

самый больщущий большевик на всю Сибирь. Видали, папаша, как его наш Валерий Михайлович чехвостил? — Ты мне, говорит, сукин сын, смотри, ты мне, говорит, эфиопская твоя рожа, а ни-ни...

— А врать вы, Степка, сильно умеете? — смеясь глазами, спросил Светлов.

— Зачем врать? Разве ж я вру? Только вы это по-образованному говорили, а я — как уж умею. Эх — сказали бы вы мне по шее его съездить — вот я бы съездил! Вот я бы уж ему прописал, как это всяких боровов на меня напущать! Виданное ли дело — человека на цепь к борову присупонивать?

— За ним, дорогой мой Степка, и не такие дела водятся, — сказал Светлов.

—Дела? — возмутился Степка. — Какие дела? Вот, ежели самородок найти, или, скажем, поле запахать — так это, я понимаю, — дела. От таких делов людям польза есть...

— А самородок-то вы пропили?

— Ну, и что ж, что пропил? Сами понимаете, день и ночь в воде, во рту пересохши... Кому я какую вредность сделал? Ну, пропил. Людям польза. Люди заработали — кто на самородке, кто на водке. И закусить было чем, не то, что в этом паршивом Лыскове — травою людей кормят... Спрашиваю: нет ли какого вещества, а он мне — „хоть подошвой закусывай". Виданое ли дело?

— Как я полагаю, Валерий Михайлович, трогаться бы пора — смотрите — тучи сползают...

— Давайте трогаться, Еремей Павлович. Теперь вы сможете спать спокойно...

— А я, дорогой Валерий Михайлович, когда ж это я неспокойно сплю?

Светлов, — тоже чуть-чуть сверху вниз, — он был немного выше Еремея, посмотрел на эту медвежью фигуру и внутренне согласился: не было никакой возможности представить себе сочетание Еремея и бессоницы. Вот — только многих, очень многих вещей Еремей Павлович не знал вовсе... Как-то совсем по глупому, неожиданно для самого себя Валерий Михайлович запустил свои пальцы в баранью шерсть, произраставшую на еремеевском черепе, на каковой жест Еремей ответил также неожиданно для самого себя — держа в левой руке винтовку, правой облапил Валерия Михайловича и нанес ему — другое выражение трудно было бы придумать, — истинно медвежий поцелуй. Степка, при

виде этого зрелища, как-то странно хмыкнул и стремительно стал вытирать глаза.

Валерий Михайлович с трудом оторвался от еремеевского поцелуя.

— А скажите, Еремей Павлович, — когда вы вашу жену целуете, так это вы тоже с переломами костей?

— Хороший вы человек, Валерий Михайлович, вот что я вам скажу. У этой-то, — Дуньки моей, ум, может, и бабий, а вот, поди ж ты... Ежели вы, говорит, этого научного работника не выручите — в монастырь, говорит, пойду. А? Слыхали вы такое дело? Это — Дунька-то — в монастырь! Вы Дуньку-то видали?

— Видал. В монастырь ей, действительно, трудно.

— В монастырь, говорит, — возмущенно повторил Еремей.

— А я, всхлипывая сказал, почему то растроганный „давно уже забывший, что такое дом", Степка, — я тоже в монастырь... Но потом, сообразив, что уже его-то аскетическим планам не поверит решительно никто, прибавил — А куда, я вас спрашиваю, больше податься? Вот пошел человек водку покупать, а его — цап — и в конверт. Куда, я вас спрашиваю, податься?

— На заимку, — уверенно ответил Еремей. — На заимку!

— Пошли, — сказал Валерий Михайлович...

Тучи, действительно, стали плотно обволакивать перевал. Спустившись по ту его сторону — Еремей, шедший во главе отряда, стал как-то разбираться в каких-то приметах пути, но разобрался очень скоро — на ходу. Чем ниже, тем туча становилась гуще и плотнее. Опять пошла тайга и в этой тайге под прикрытием какого-то каменного отвеса был обнаружен и караван. Паслись кони, горел костер, — уже сильно стемнело, что-то булькало на костре. Федька спал сном новорожденного праведника, а Жучкин мирно обгладывал какую-то кость и столь же мирно допивал какую-то бутылку.

— Ну, скажу я тебе, — укоризненно загудел Еремей, — совсем ты окологоликом стал.

— Чем?

— Окологоликом. Вот — сидишь, и опять сосешь. А — если советские патрули? А? Тогда — что?

— Как я, папаша, полагаю, наш Валерий Михайлович не зря же пошел с этим Берманом разговаривать. Так ты что же, папаша, — Валерия-то Михайловича дураком что ли считаешь? Сказано было, чтобы, значит, этого Бермана прекратить, стало быть Бермана и прекратили...

— Свинья ты, вот что я тебе скажу, свинья ты и больше ничего. Налей, однако, и мне стаканчик. Тут такие дела... Опять же и есть хочется.

— Понятное дело — цельный Божий день на ходу, во рту пересохши...

Светлов сразу уселся у костра.

— А есть-то у вас имеется что-нибудь на виду?

Потапыч извлек из костра баранью ногу.

— Обрезывайте сверху, снутри еще не пропеклось.

— Тут, можно сказать, во рту ни маковой росинки, — констатировал Степка, — так ты мне, браток, тоже накапай...

Сумерки и туман спускались и сгущались над стоянкой. Степка под влиянием сытости, безопасности и водки начинал чувствовать приливы храбрости.

— И как это вы его чехвостили, Валерий Михайлович, — начал было он.

— А и в самом деле, — сказал Еремей, — власть вы над ним что ли имеете?

— И еще как! — подхватил Степка. — Это он самый, что меня в тюрьме допрашивал, где это дунькин папаша живет...

— И что это я им сдался?

— Они думают, — сказал Валерий Михайлович, — что в Лыскове цельй заговор был, да трудно было бы подумать иначе. Кроме Потапыча, у них из Лыскова другого следа нет — вот и идут по этому следу.

— А ежели все-таки дойдут?

— Теперь не дойдут.

— Уж если Валерий Михайлович этому цыгану приказал — так уж будьте спокойны, — Степка хотел было дать волю своему языку, но, посмотрев на Валерия Михайловича, как то смяк. Видно было, что мысли Валерия Михайловича витали где-то очень далеко от стоянки.

— Думаю, — сказал Валерий Михайлович, — что нужно итти спать. Завтра кое о чем поговорим...

СТЕПАНЫЧ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Степаныч во главе своего беспризорного отряда, старался нагромоздить между собою и пожарищем охотничьего клуба возможно большее число километров. Отряд ехал по каким-то звериным таежным тропам, путал следы по руслам ручьев,

въехал — уже поздно вечером — в какую-то речку и двинулся по ее дну до небольшого озера, посередине которого, — уже в сумерках, — смутно выделялся контур небольшого скалистого, поросшего кустарником, островка. Не слезая с седла, Степаныч вытащил запрятанный в кустах и хорошо знакомый беспризорным близнецам, довольно длинный долбленый челнок и перелез в него прямо с коня.

— Не слезайте с коней. Давайте вьюки сюда.

Ванька и Васька недоуменно и молча повиновались. Вьюки были перегружены в челнок.

— Теперь — ждите здесь. Говорю вам — не слезайте с коней. Вернусь через три четверти часа.

Ванька и Васька недоуменно остались ждать. Степаныч вооружился веслом, и скоро его силуэт растаял в темноте. Часов ни у Ваньки, ни у Васьки не было, и что вообще означали „три четверти часа", оба они имели довольно неопределенное представление. Однако, действительно, минут через сорок Степаныч вынырнул из темноты.

— Пересаживайтесь в челнок. Кони пусть плывут сзади на поводу. Живо, а то совсем ночь настанет.

Ванька и Васька пересели. Сидя в такой неустойчивой посуде, они все-таки кое-как привязали коней одного к другому, первого Васька или Ванька взял за повод, и челнок двинулся к островку. Привычные ко всяким таежным передрягам кони медленно, но послушно плыли сзади. Ванька и Васька держали на изготовку свои винтовки, и им обоим мерещились всякие воинственные приключения.

Но никаких воинственных приключений не произошло. У берега островка, над самой водой, им показалось что-то вроде слабого отблеска. Степаныч направил свой челнок именно к нему. Отблеск стал яснее, но было совершенно неясно откуда он идет: как будто бы из воды — вот чудеса!

— Ложитесь на спину — снова приказал Степаныч. — Повод держите покрепче, а то коней потом ловить придется.

Ничего не понимая, близнецы улеглись на дно челнока. Над их лицами появился какой-то каменный потолок, тускло, но с каждым шагом все ярче и ярче освещенный все тем же таинственным отблеском. Потом потолок стал уходить вверх.

— Вставайте, — приказал Степаныч.

Ванька и Васька приподнялись. Челнок уткнулся носом в чистый песчаный берег, на котором уже весело потрескивал костер. За берегом виднелась каменная стена. Оглянувшись кругом, близнецы обнаружили, что они находятся в неболь-

шой, но очень уютно обставленной пещере. В середине ее расстилалось нечто вроде прудика, — в котором и плавал в настоящее время челнок. Вокруг прудика шел все тот же песчаный берег, — на котором близнецы увидели и кое-как сложенные вьюки. Все это вместе взятое имело шагов тридцать в поперечнике.

— Ну, вот, и приехали. Выводите коней, а я заткну выход.

Ванька и Васька вышли на берег, вывели коней, которые, отряхнувшись от воды, покорно ждали дальнейших распоряжений. Степаныч с челном вернулся в трубу, соединяющую пещеру с озером, и конец ее заткнул какой то корягой. Степаныч казался вполне удовлетворенным всем ходом событий этого бурного дня.

Он вылез на берег и вытащил на него челнок.

—Так вот что, лоботрясики, теперь можно и отдохнуть. Думаю, дня три-четыре. Они там сейчас всю тайгу будут обшаривать, а мы тут будем сидеть и чаек попивать.

— А чаю-то мы не взяли, — с сожалением констатировал кто-то вроде Васьки или Ваньки.

— Чаек здесь есть! — Степаныч показал рукой на какую-то новую для близнецов кучу мешков, вьюков и даже ящиков, сложенных невдалеке у стены...

— Тут все есть. И чаек и всякие другие вещи.

— Какие другие вещи?

— Ну — это еще не вашего ума дело. Ставьте пока чайник и котелок.

Степаныч подошел к своему складу, стал там что-то разворачивать и разбирать. Из склада, кроме чаю, появились довольно неожиданные вещи, — например, две плитки шоколаду, которые Степаныч поровну распределил между Ванькой и Васькой — оба проявили самый искренний восторг. Потом, поковырявшись еще, Степаныч включил в какой-то ящик какой-то шнур, шнур повесил на гвоздь, когда-то — видимо уже давно, вбитый в стенку пещеры, и над нашими пещерными жителями засияла электрическая лампочка, — свечей так в четыреста.

— Так вы, дяденька, вроде как дома тут, в этой пещере? — спросил кто-то вроде Васьки.

—Так и есть — дома. А другого дома у меня и вовсе нет.

— А у нас никакого, — сказал Васька.

— И не скоро будет, — утешил Степаныч. — Тут нам придется посидеть. Завтра вечером я пойду к клубу.

— А зачем это?

— За дурную голову ноги отвечают — забыл записку одну оставить.

— Ох, поймают там вас патрули.

— Не поймают, скоро вернусь — к утру.

— А что мы тут делать будем?

— Пока что — я вас грамоте учить начну и сказки буду рассказывать.

— А какие сказки?

— Вот — про индейцев.

— Каких таких индейцев?

Чайник стал булькать. За чаем Степаныч с очень большой степенью точности воспроизвел историю „Последнего из Могикан". Ванька и Васька слушали с раскрытыми ртами. Ночью им снились скальпы. Утром Степаныч, улегшись животом на дно челнока, подплыл к выходу из пещеры, отодвинул в сторону прикрывавшую этот выход корягу и в бинокль осмотрел противоположный берег. По этому берегу, медленно и осторожно пробирался кавалерийский патруль, тщательно прощупывая каждую ложбинку. Вдали почти на горизонте, над тайгой, висело два геликоптера. Конный патруль, видимо, заинтересовался островком. Потом один из геликоптеров перестал висеть в воздухе и направился к озеру. Никакого впечатления на Степаныча это не произвело. Геликоптер сонною мухою полетал над островком и куда-то исчез. Конный патруль двинулся дальше.

РОЗМЫШЛЕНИЕ ТОВАРИЩА БЕРМАНА

Товарищ Берман снова сидел в своем огромном и пустом кабинете, снова курил свои ароматичные папиросы, и запах какого-то странного наркотика — трудно уловимый, но все-таки заметный — снова носился в воздухе. Если вы когда либо видали похудевшее насекомое, то вы могли бы сказать, что за ети дни товарищ Берман слегка похудел. Лицо его приобрело еще больший — не то землистый, не то трупный оттенок. Свидание на перевале и „монолог" Светлова подействовали на него как-то неожиданно: подорвали веру в себя, в его паучью способность раскидывать паутину, сплетать и заплетать заговоры, интриги, играть людьми и отправлять их на тот свет. Умственного превосходства он не признавал даже за Вождем Мироздания: Вождь Мироздания был, конечно, силен, но он был груб и топорен и вся его сила за-

ключалась — по мнению Бермана — только в том, что он первый догадался захватить в свои руки страшное оружие „аппарата". И это было в те наивные времена, когда люди еще совсем всерьез думали, что какие-то там идеи, программы,тезисы, „социализм в одной стране", или „перманентная революция во всем мире", имеют какое бы то ни было практическое значение. Конкуренты вождя занимались идеями — вождь занялся аппаратом. Вот и все.

Но после свидания на перевале Берман никак не мог отделаться то ли от какого-то комплекса неполноценности, то ли от какой-то переоценки ценностей. В самом деле: он, Берман, в руках которого, собственно говоря, находится вся тайная и явная полиция страны, вооруженные силы этой полиции, всеохватывающая и всепроникающая машина шпионажа, угроз, террора, пыток — вот он Берман сидел перед этим человеком и чувствовал: он, Берман, бессилен абсолютно.. И раньше был бессилен, только раньше он об этом бессилии не знал. Он не знал, что гибель филеров, приставленых для слежки за Светловым по дороге от Москвы до Неелова, высадка Светлова на станции Лысково, гибель конного взвода, исчезновение начальника охраны — и так далее и так далее, все это только детали некоего плана, — плана, который перечеркнул весь бермановский аппарат. Там, на перевале, только была поставлена точка: клочок бумаги, который отдавал его, Бермана, судьбу в полное, бесконтрольное и безапелляционное распоряжение этого человека. Да и не только этот клочок. Осведомленность этого человека не только о беседе Бермана с Завойко — но и о всей обстановке участия командного состава дивизии . . . Неужели может быть, чтобы „аппарат" этого человека, аппарат, собственно говоря, лишенный всякой возможности принуждения, мог оказаться сильнее бермановского аппарата? И, если это так, то значит есть в мире силы, более мощные, чем принуждение? Тогда — тогда что?

Но на пороге этой мысли Берман нажал на тормаз; вся эта философия не имела никакого смысла. Сейчас нужно было дать себе ясный отчет во всех событиях последних дней. Отчет был, конечно, неутешителен. Но, может быть, самое глупое в нем заключалось в том, что единственными реальными достижениями могла похвастаться Серафима Павловна. Ни он, Берман, со всем своим аппаратом, ни Медведев со всеми своими облавами, самолетами, парашютистами и прочим — не нашли решительно ничего: сплошные про-

валы. Относительно Серафимы Павловны Берман, конечно, никаких иллюзий не питал: однако, это она разоблачила Степаныча, и разоблачила правильно — иначе тот не стал бы поджигать клуб и стрелять в Серафиму Павловну. Это она указала направление на пресловутого „дунькиного папашу" — Берман, сидя против Светлова на перевале, все-таки ухитрился посмотреть на владельца таинственной и внимательной винтовки.Из-за камня временами выглядывали его плечи, и таких плечей Берман в своей жизни еще не видал. И, кроме того, в недосказанном ультиматуме Светлова был приказ: дунькиного папашу оставить в покое.

Чем дальше, тем основная мысль Бермана становилась все яснее. Не может быть, чтобы случайная и вздорная баба знала бы о Светлове и Степаныче больше, чем знал об этом Медведев. Не может быть, чтобы вся эта цепь неудач могла бы развернуться без какого-то прямого или косвенного участия Медведева. Медведев был уполномоченным человеком его, Бермана. На нем, Медведеве, лежала вся техническая часть — или часть технической части — реализация общих директив Бермана. И если Медведев, самостоятельно или, — что было бы значительно хуже, — по какой-то указке сверху — занялся сознательным саботажем бермановских директив, то ничего удивительного нет в том, что эти директивы застряли и запутались в целой цепи провалов.

Берман почувствовал, что при этой мысли у него на лбу начинает выступать нечто вроде холодного пота. С одной стороны — Светлов, перед которым уже пришлось капитулировать, с другой стороны — незримая рука Вождя Мироздания, которая действует через Медведева. И он, Берман, как ребенок, попавший между двумя жерновами.

Но это было только один момент слобости. Берман снова достал свой никеллированный футлярчик, вынул из него ампулу и шприц. Потом он снял трубку телефона и вызвал главного врача отдела, доктора Шуб.

Неожиданно быстро, как будто он только и ждал вызова, врач появился в бермановском кабинете — все такой же жовиальный, пахнущий сигарами и коньяком, снова повел носом, но на этот раз о подозрительном запахе наркотика не сказал ни слова.

— Я целиком к вашим услугам, товарищ Берман.

— Можно ли допросить эту — Гололобову, как ее там? . . .

— Никак нет, товарищ Берман. То-есть — я полагаю, что это бесполезно. Товарищ Гололобова все еще бредит.

— Что — положение опасно?

— Ах, нет, как раз наоборот! — Врач даже засмеялся будущей остроте. — Как раз наоборот — товарищ Кривоносов был ранен спереди, а товарищ Гололобова как раз наоборот... Никакие органы не задеты. Но на спине, или как это — как раз наоборот — десятка два дробовых ран. Воспалительный процесс, — поверхностного характера. И кроме того нервный шок... Не думаю, товарищ Берман, чтобы какая бы то ни было беседа с товарищем Гололобовой...

— А что она в бреду говорит?

— О каких-то бабьих делах... Все какая-то Дунька фигурирует...

— Можете итти, — сказал Берман. Врач изысканно поклонился и, семеня ножками, бочком продвинулся к двери.

Когда он исчез, товарищ Берман, своей обычной крабьей походкой, прошел в кабинет товарища Медведева. Там, как почти всегда, сидели какие-то партийные вельможи с докладами — как всегда партийные вельможи прервали свою беседу на полуслове, как всегда спешно и конфузливо стали собирать разложенные по столу бумаги — и когда один из них несколько замешкался, товарищ Берман остановил на нем свой холодный насекомый взгляд. От этого взгляда замешкавшийся партийный вельможа стал суетиться еще больше, и, наконец, почти не скрывая своего раздражения, скомкал все свои бумаги и в таком скомканном виде засунул их в портфель.

Когда вельможи ушли, товарищ Берман сел в еще теплое от одного из них кресло.

— Ну-с, какого вы мнения обо всем этом, товарищ Медведев?

Вид у товарища Медведева был тоже не очень свеж. Как будто кто-то вытопил часть накопленного им жира, и под глазами образовались мешки.

— Я полагаю, товарищ Берман, что мы попали на очень хорошо сколоченную организацию и что центр этой организации находится вне пределов СССР.

— Почему — вне пределов?

— Если бы он находился на моей территории — я бы о нем знал.

— Так где же он, по вашему, находится?

— По всей вероятности, на китайской территории и по еще большей вероятности где-то на заимке папаши вот этой

самой Дуньки, о которой кстати все время бредит товарищ Гололобова.

— Вы приказали записывать ее бред?

— Точно так. Пока ничего особенного.

— Прикажите принести эти записи мне.

— Слушаюсь.

— Однако: например, наш охотничий заповедник находится на вашей территории...

Медведев пожал своими тучными плечами.

— Совершенно верно. Но есть все основания полагать, что этот центр великолепно оснащен технически: не даром там профессора сидят. Наш егерь исчез совершенно бесследно, — Медведев еще раз пожал плечами, — говоря откровенно — я этого понять не могу: три человека и шесть лошадей. Ведь — не иголка же, в самом деле?

— Единственное разумное объяснение — это, что там где-то в тайге есть очень хорошо скрытое убежище. А — может быть, есть и иные объяснения.

В последней фразе Бермана Медведеву почудилось нечто вроде иронии, хотя Берман никогда не прибегал ни к каким художественным оборотам или интонациям речи.

— Какие могут быть еще? Я бросил на поиски восемьсот человек и десять геликоптеров. Ничего. Установлены следы до берега ручья — и больше ничего.

— А куда впадает ручей?

— Об этом, товарищ Берман, мои люди сами догадались. Ручей впадает в проточное озеро. На нем есть остров. Остров покрыт мелким кустарником и уже осмотрен с геликоптера. Где-то есть убежище. Должно оно быть. Я отозвал своих солдат. Мобилизовал около сотни профессиональных таежников — знаете, охотников, контрабандистов, золотоискателей — вот из этой самой публики... Обещал фунт золота... Теперь — разъезды сняты. Авиация снята. Посланы сто таежников и они там будут ждать. Они подкараулят.

Берман понимал, что Медведев не имел никакой возможности приказать восьмистам человекам не заметить беглецов из Лесной Пади. Из восьмисот — четыреста проболтались бы наверное.

Берман все-таки пожал плечами:

— Тайник? Для шести лошадей?

— Отчего нет? Могут быть закамуфлированные пещеры.

В пещерах Берман не понимал ничего. Он, конечно, знал, что существуют и пещеры, но, как истинно городской че-

ловек, как-то предполагал, что они, если и существуют, то только для демонстрации их туристам...

— Во всяком случае, — продолжал Медведев, — я полагаю настоятельно необходимым дойти до конца: накрыть этого дунькиного папашу в его собственном гнезде.

Берман вопросительно поднял брови.

— Вот — извольте посмотреть, — Медведев подвинул к Берману лежавную на столе карту. Берман подумал о том, что тема об этой карте, вероятно, уже обсуждались Медведевым вместе с только что исчезнувшими из кабинета вельможами.

— Вот, пожалуйста, — продолжал Медведев. — Есть только три места, — в пределах вероятного радиуса — только три места с озером, рекой и заимкой. Нужно бросить три парашютных отряда...

— Это будет, собственно говоря, нарушение территориальных прав... — сказал Берман и сейчас же понял, что он проговорился: он привел довод против парашютных отрядов — довод, который совершенно очевидно ни в глазах Медведева, ни в его собственных глазах, не имеет абсолютно никакой ценности. И, следовательно, как-то — пусть и мельком, показал, что эта экспедиция ему, Берману, почему-то нежелательна... Медведев вопросительно поднял брови...

— Конечно, — продолжал Берман, — этот довод значения не имеет, — но лучше бы без огласки.

— Какая тут огласка? Тайга, глушь.

Берман почувствовал, что один из жерновов — еще медленно, очень медленно, но все-таки начинает вращаться. У Медведева есть все основания настаивать на парашютистах. У Бермана нет никаких оснований ему возражать. Никаких. Кроме одного: светловского ультиматума. Но что о дунькином папаше может знать Медведев? Кроме того, что ему оффициально известно?

— Нужно допросить вашего Чикваидзе — вы его задержали?

— Да, он задержан.

— Кто он?

— Начинающий работник. Не из серьезных.

— Прикажите привести его ко мне.

Берман поднялся.

— О вашем проекте мы еще подумаем. До сих пор ваши массовые методы нам ничего не дали. Но подумать стоит...

Берман вышел. Медведев посмотрел ему вслед. Когда дверь за Берманом мягко и неслышно закрылась, Медведев сжал оба своих мясистых кулака. Его тучное тело казалось затряслось от долго сдерживаемой ненависти. Но он не сказал ничего. Посидев несколько секунд, сжавши зубы и кулаки, он позвонил по телефону:

— Доставить арестованного товарища Чикваидзе к товарищу Берману.

ТАЙНЫ ТОВАРИЩА ЧИКВАИДЗЕ

Сидя в одиночке — правда, приспособленной для привиллегированных заключенных — товарищ Чикваидзе переживал катастрофическую путаницу ощущений, и чувств, соображения и даже мыслей. Господствующим ощущением было, однако, похмелье. За рюмку водки он отдал бы весь дом № 13 по улице Карла Маркса со всем его содержимым — исключая, конечно, себе самого. Но ощущение похмелья — было, по крайней мере, ясным и бесспорным. Все остольное походило на горячечный бред. Почему арестовали? За что арестовали? Что будет дальше? Причем здесь Серафима? Ни на один из этих вопросов не было никакого ответа.

Вечером товарища Чикваидзе куда-то повели. Такие знакомые корридоры, вот только положение не очень знакомое: арестованный. Чикваидзе провели в какой-то кабинет. Там за столом сидел товарищ Берман.

Сердце у товарища Чикваидзе окончательно упало. Скупым жестом руки Берман отпустил конвоиров. Таким же жестом показал Чикваидзе на стул. Чикваидзе сел, как деревянная кукла. Сам Берман будет допрашивать! И как ни вертелись из стороны в сторону, мозги товарища Чикваидзе — одна здравая мысль в них все-таки оказалась: говорить все, как было. Иначе все равно проврется, будет пойман и получится чорт его знает что...

— Ну-с, товарищ Чикваидзе, скажите, что вы делали в заповеднике?

— Водку пыл, — от волнения кавказский акцент товарища Чикваидзе стал особенно заметным.

— И больше ничего?

— А револьвер этот — зачем он у вас был?

— Убить.

Берман поднял брови.

— Убить? Кого убить?

— Серафиму убить.

Тут даже и Берман удивился.

— Серафиму убить? Это — за что? Из ревности?

— Нэ из ревности. Надоела. Никак невозможно.

Такого варианта товарищ Берман никак не предвидел.

— Очень интересно. А ну-ка, расскажите.

Товарищ Чикваидзе покаялся во всем. И как он попал в трактир „Красный закусон" и как его оттуда выкатил заведующий трактиром, и как он очутился в доме товарища Гололобова, и как дождь шел, и что было выпито, и как Серафима Павловна появилась во всеоружии своих женских прелестей — а также и в том, как плотно и основательно Серафима Павловна присосалась к комнате, к столу и к ложу товарища Чикваидзе. Словом, товарищ Чикваидзе выложил все — включая сюда и свои сомнения относительно аппарата рычагов, неопытности и прочего.

В вопросах сексуального порядка товарищ Берман разбирался слабо, но, конечно, по службе приходилось сталкиваться и с этим. По честному — слегка бараньему — взгляду товарища Чикваидзе было видно, что он не врет. От похмелья, мыслей, тревоги и покаяния с его лба капали крупные капли пота.

— А что вы знаете о Дуньке? И об ее отце?

— Панатыя нэ имэю.

— Н-да, понятия у вас, товарищ Чикваидзе — не много.

— А — откуда взять?

— Это верно. И взять неоткуда... Так вот что, товарищ Чикваидзе. Вы свободны. Товарища Гололобову вам придется еще некоторое время потерпеть. Кстати, вы знаете, что она ранена?

— Знаю. Мало ранена.

— Ну, мало ли, много ли — это вопрос вкуса. Так вот — считайте себя прикомандированным к товарищу Гололобовой. В качестве сексота. Будете докладывать мне обо всем, что заметите — я вам потом скажу, что именно. Вот вам пропуск. Можете итти.

Товарищ Чикваидзе, шатаясь, вышел из кабинета. Хотел было пойти в коемендатуру получить отобранные при аресте вещи и документы, но потом махнул рукой. Успеется. Дома был еще литр водки и еще не было Серафимы.

В комнате еще не успел выветриться противный запах товарища Гололобовой, но был литр, была закуска и была

кровать. В данный момент товарищу Чикваидзе не было нужно больше ничего.

НЕТ СТЕПКЕ ПОКОЮ

Утро выдалось холодное, сумрачное, плаксивое. Туман крупными холодными слезами оседал на каждом листике и на каждой травинке. Костер давно уже догорел и только под золой тлели какие-то угольки. Федя проснулся первым и своими кузнечными мехами стал раздувать оставшийся жар. Кузнечные мехи оказали свое действие: весело вспыхнули первые огоньки, разгоняя утренний полумрак и утреннюю сырость. Постепенно стали просыпаться и остальные участники каравана. Потапыч, потягиваясь и зевая, удостоверился в том, что все его спутники, кроме Феди, спят, и нравоучительным тоном сказал Феде:

— Ну, как раз время опохмелиться. Федя насмешливо хмыкнул. Потапыч, не вставая со своего ложа, протянул руку к своему вьюку, достал из него очередную жестяную бутылку, но был пойман на месте преступления.

— Ты что-ж, как барин, один пьешь? Дай-ка, брат, и мне стакашку; в горле что-то скребет, вишь, какая сырость.

Потапыч подозрительно посмотрел на еще спящих Светлова и Еремея и поспешно нацедел по кружечке —себе и Степке. Оба заговорщика хлопнули по стопке. Степка осмотрел спящих и таинственным тоном сказал:

— Ну, есть время и еще по стакашке.

Время, действительно, нашлось. Но Еремей стал что-то поворачиваться с боку на бок, и Потапыч не без сожаления запрятал бутылку в соответствующее ей место. Еремей проснулся, сел, и, осмотревшись кругом, сказал:

— А погода-то собачья!

— Ничего, — утешил его Степка, — потом разойдется.

Валерий Михайлович поднялся последним — когда костер пылал уже во всю свою мощность и на нем уже жарилась очередная баранина и кипел чайник. Степка презрительно и, обжигая губы, хлебал бесполезную жидкость. Еремей делал вид, что он может съесть целую баранью ногу, впрочем, это был не только вид.

— Теперь торопиться нам нечего, — сказал Еремей. Погони, как вы говорите, значит, не будет, а кони притомились — вьюки-то у нас вон какие.

— Так что, Валерий Михайлович, — сказал Степка. — Очень уж мне Лыску жалко.

— Какой это Лыска?

— Конь. Спертый. Вот от тех красноармейцев, которых вы там перехлопали.

— А что с ним?

— Да, вот, вместе по тайге ходили. Пока на этих чертовых ангелов не напоролись, что с неба падают. Так Лыску-то я бросил — верстов отсюда, надо полагать, десять.

— Подберет его кто-нибудь.

— А кто? Волки заедят, и все!

— Вы это, собственно, к чему клоните?

— Ты что, с ума слез, — вмешался Еремей. — Тут у нас коней, сколько хочешь.

— А я тебе скажу, — отпарировал Степка, — баб тут тоже сколько хочешь, а жена-то твоя одна? А? Что, неправда?

— Бросьте вы эту затею, — сказал Валерий Михайлович.

— Это — как прикажете. Только Лыско-конь больно душевный. Что ему ни расскажешь — все понимает.

— И всему верит? — усмехнулся Валерий Михайлович.

— А почему ему не верить? Что, я разве вру? Только бы вот одними словами говорите, а я другими.

— Брось, — сказал Еремей.

— А тебе-то, папаша, что? Верстов десять, а ноги у меня волчьи. Назад — на коне. А вы тут пока навьючивать будете, да и ход-то у вас шагом — к полудню я вас и догоню.

— Вы, Степка, ни коня не найдете, ни нас не разыщете.

— Это почему же так? Коня я знаю, где оставил. А ваш след — слепому ясно — столько коней, да еще с вьюками, — Господи Боже, что я первый день в тайге-то?

— Я знаю, в чем дело, — охрипшим голосом сказал Потапыч, — водка там у него во вьюке.

— Я, браток, про твой вьюк молчу, так ты уж и моего не обыскивай. Нет, вот как перед Истинным, — очень душевный конь. Такая, можно сказать, интеллигентная животная. Очень мы с ним счастливо жили. Да и вещи есть там — вот из этого самого портфеля кое-что . . .

— Какие вещи? — заинтересовался Валерий Михайлович.

— Всякие. Бинокль там, бумаги какие-то. — Степка искоса посмотрел на Светлова: какое действие произведет на него упоминание о бумагах.

— Тут вот еще такое дело, Валерий Михайлович, сказал Еремей, — тут по дороге отшельник один живет?

— Какой отшельник?

— Не знаю — зовут Петром. Святой жизни человек. Прозорливец. Мы когда за вами ехали, проехали мимо, времени не было. А теперь время у нас есть — ну, потеряем полдня-день . . .

— Вы у него бывали уже?

— Что-то года с два тому назад. Очень душу облегчает. Из образованных он, не из простых, то ли из Питера, то ли из Москвы . . .

— Ну, что-ж, заедем, — сказал Валерий Михайлович.

— И Степке так торопиться нечего будет.

— Ну, вас-то я догоню . . .

— Так ты когда будешь догонять, так будет тебе по дороге речушка, сажен так с пять шириной. У брода две поваленных сосны, за бродом поворачивай влево, верстов с пять по левому бугру . . .

—Ты что ж, папаша, думаешь, что я по тайге первый день хожу? . . .

— Ну, первый, не первый, а чтоб способнее было.

— Я и без того способный . . .

— Ну, так давайте двигаться, — сказал Валерий Михайлович.

— Я с собою только кусок хлеба, да кусок мяса, да винтовку, да пистолет — совсем налегке . . . Это я — в два счета.

— Катись с Богом, только смотри, снова не попадайся. Раз выручили, а второй — не искушай Господа Бога твоего всуе . . .

Караван стал навьючивать коней. Кроме куска хлеба и куска мяса — правда, куски были основательные, Степка выгрузил из своего мешка все, перекинул через плечо винтовку и оправил пояс, на котором висела кобура с пистолетом.

— Ну, пока! До скорого . . .

— Только вы, Степка, и в самом деле не зевайте. Во второй раз нам вас выручать едва ли удастся.

— Да что вы, Валерий Михайлович, словно я первый день по тайге . . .

***

Бывший лейтенант Кузнецов, — столь благополучно отделавшийся от своей службы и от своих товарищей по службе, — с каждым шагом вглубь тайги предавался все более и более мрачным размышлениям. Было плохо все. Не повезло. Явиться к Медведеву, или, что еще хуже, к Берману,

с рапортом о происшествиях на мосту, — это означало бы приблизительно самоубийство, да еще с предварительными допросами, технику которых лейтенант государственной безопасности знал достаточно хорошо. Ну — а теперь что? То ли в Китай, то ли в старатели. В Китае будут допрашивать — да и выдать могут. Да и у советов там своя разведка есть — бывший лейтенант знал и эти подробности. В старатели? — Зима на носу. Кроме того, бывший лейтенант Кузнецов с некоторым опозданием обнаружил, что есть у него совершенно нечего и ничего и не предвидится. С винтовкой хорошо на баранов охотиться, а где их найдешь? Да и вообще об охоте бывший лейтенант имел весьма туманное представление.

Словом — перспективы были не очень утешительны. Бывший лейтенант Кузнецов решил, что на первое, по крайней мере время, разбой будет единственным выходом из положения. Если не на большой дороге, то хотя бы на малой. Да, другого выхода просто не было. Кроме винтовки, патронов, табаку, спичек и карманного ножа у бывшего лейтенанта Кузнецова не было решительно ничего. Он что-то вспомнил о Робинзонах, но эта мысль никакого утешения не принесла. Два дня он вообще ничего не ел. На третий — он набрел на какую-то таежную дорогу и залег у нее, как волк. К вечеру третьего дня ему повезло. Из-за поворота дороги показалась какая-то подвода, на которой сидел какой-то колхозник. С расстояния метров около пятидесяти бывший лейтенант Кузнецов убил его наповал. Можно было бы, конечно, ограбить и без убийства, но тогда колхозник заявил бы о происшествии властям, и за бывшим лейтенантом Кузнецовым остался бы след. Бывший лейтенант Кузнецов казался самому себе весьма предусмотрительным человеком.

У убитого бывший лейтенант Кузнецов нашел основательную краюху хлеба, маленькое ведро — пустое, топор, и — на подводе какого-то, вероятно, премированного, поросенка, который решил продать свою жизнь возможно дороже и визжал, как будто бы его собирались резать. Но бывший товарищ Кузнецов тупнул его топором по голове и готов был съесть его в сыром виде, если бы не предусмотрительность. Предусмотрительность требовала спешного отступления в тайгу. Тем не менее, бывший лейтенант Кузнецов обыскал всю подводу. Ничего больше в ней не было. Отойдя верст пять в тайгу, Кузнецов развел костер и стал жарить на нем поросячью ногу, постепенно срезывая с нее еще

полусырое мясо. Бывший товарищ Кузнецов чувствовал, как с каждым куском хлеба и мяса в его иссохшие от голода жилы вливается новая кровь, а в его предусмотрельную голову — новые мысли и новые надежды.

В самом деле, если по настоящему приспособиться к разбою, то зиму можно прожить. Перед обычными профессионалами таких дел у бывшего лейтенанта Кузнецова было то преимущество, что он профессионально знал всю систему выуживания такого рода промышленников. Знал, например, также кто, как, где и когда перевозит всякие казенные деньги. Первая добыча была пустяковой: хлеб, поросенок, ведро и топор. Но, вот, из того же Троицкого каждое седьмое число везут всякие налоговые поступления. Правда — есть конвой. Но конвой также будет зевать, как зевнул бывший владелец бывшего поросенка. Здесь, во всяком случае, открывались какие-то перспективы.

***

...Раннее утро застало бывшего лейтенанта Кузнецова за честным трудом: он собирал грибы. Набрав их с полведерка, он пожалел только о том, что с ним не было соли: нужно было этого колхозника обыскать поосновательнее. Но и без соли: хлеб, грибы и поросенок удовлетворяли бывшего лейтенанта Кузнецова вполне. В особенности потому, что первый опыт давал перспективы и на будущее.

Однако, бывший товарищ Кузнецов понимал, — отсюда нужно уходить. Сейчас по тайге будут шарить в поисках пропавшего бродяги, — убитый колхозник, конечно, никакого интереса ни с чьей правительственной стороны не вызовет. Но все-таки... Хлеба и мяса хватит на три, на четыре дня — за это время поиски по тайге прекратятся. Бывший лейтенант Кузнецов решил идти глубже в тайгу, в горы и там слегка переждать и передумать.

Таким образом, судьба еще раз свела на один перекресток времени и пространства Степку и Кузнецова. Степка, со всех своих волчьих ног, спешил к своему Лыске, а Кузнецов сидел у предусмотрительно погашенного костра и напряженно думал. Именно этой разницей и объясняется то обстоятельство, что бывший лейтенант Кузнецов заметил Степку первым — шагах в двухстах. У Кузнецова были все основания предполагать, что еще шагов через сто неизвестный бродяга заметит и его — Кузнецова и кому-то заявит. Лица Степки Кузнецов еще не успел рассмотреть. Он взвел курок вин-

товки и тщательно прицелился. Изощренный таежный слух Степки уловил в шуме тайги какой-то несвойственный этому шуму металлический звук. Бросив взгляд в сторону этого звука, он увидел красноармейца с винтовкой „на прицел".

Все это было-делом одной десятой секунды. Трахнул выстрел, Степка свалился за одну десятую секунды до него, пуля пропищала где-то не слишком близко над Степкиной головой — из чего Степка автоматически вывел заключение, что против него действует не слишком уж хороший стрелок, но степкина винтовка висела за плечами и практически он был совершенно безпомощен: второй раз пограничник уже не промахнется. Падая на землю, Степка заметил шагах в пяти от себя какую-то рытвину и судорожно, на четвереньках карабкаясь по земле, нырнул в нее. Так же, совершенно автоматически, таежный мозг Степки отметил то обстоятельство, что стрелок вооружен только трехлинейкой, слышно было, как звякнул затвор — это стрелок досылал в него новый патрон.

Рытвина оказалась ямой — глубиной метра в полтора и шагов в десять длиной. Степка достал из кобуры пистолет — он почему-то полюбил это оружие. Да и не было возможности снять винтовку из-за спины: это требовало времени, а неизвестный стрелок уже может быть шел к рытвине, держа на изготовку свое оружие.

Но неизвестный стрелок проявил крайнюю степень предусмотрительности. Неизвестный бродяга убит не был. Может быть, ранен — а, может быть, даже и не ранен. По служебному своему опыту бывший лейтенант Кузнецов знал, с какой вольчей стремительностью и точностью действуют эти люди: вот он, Кузнецов, будет итти с винтовкой почти на прицеле, но все-таки не совсем на прицеле — и именно он, Кузнецов, получит пулю по крайней мере в живот — для прицела в голову у бродяги времени не будет.

Поэтому бывший лейтенант Кузнецов уселся поудобнее, взял винтовку почти на прицел и стал ждать: рано или поздно бродяга как-то высунется из своей ямы, и тогда уж промаха не будет.

Приблизительно то же ощущал и Степка. Кто-то сидит шагах в пятидесяти от ямы и держит винтовку на прицеле. Если Степка высунет хотя бы руку — он получит пулю в руку. Степка не видел ничего кроме мха под носом, и весь ушел в слух: малейший хруст ветки, самый осторожный шаг по земле Степка бы отметил, как сейсмограф. Если бы стрелок

шел к яме — Степке было бы легче: он с пистолетом имел бы некоторое преимущество. В данном положении никаких преимуществ не было. Высунуться нельзя никак — собственно, опасно даже повернуться. Можно, конечно, попытаться пролежать так до ночи — но, во-первых, до ночи и неизвестный стрелок что-то предпримет, во-вторых, в таком положении до ночи не выдержит даже и волк, и в-третьих, стрелок, конечне, не один: есть какие-то другие, эти другие, само собой разумеется, придут на выстрел. В Степкину голову постепенно начало прокрадываться сознание, что он попал в еще более безвыходное положение, чем тогда у кооператива.

Положение Степки было и в самом деле истинно кооперативным: ни туда, ни сюда. Тогда, у этого злополучного кооператива, Степку обыскивали два пограничника, а третий стоял шагах в двадцяти с винтовкой на изготовку: чуть шевельнется, и он бабахнет. Сейчас Степку не обыскивал никто, но это не улучшало его положения ни на иоту: Степка сидел в яме, а где-то шагах в двадцати или пятидесяти от ямы сидел с винтовкой пограничник: чуть Степка высунется — он и бабахнет... Никакой помощи ждать решительно неоткуда. Валерий Михайлович с его товарищами, если и спохватятся, то только очень не скоро, а к пограничнику помощь наверное придет. Если бы к столь нежному существу, каким был Степка, можно было бы применить столь грубое выражение, то нужно было бы сказать, что Степка стал нервничать. По собственной глупости тогда влип в одну историю, теперь — в другую, — эх, нужно было послушаться Валерия Михайловича — человек образованный, вот, как он этого Бермана чехвостил... А теперь — теперь нужно как-то выворачиваться самому.

Степкин мозг работал в двух направлениях. Одно из них занималось производством непечатных формулировок по адресу пограничника, советчиков, Бермана, Медведева и себя самого. Другое, менее сознательное, лихорадочно работало над поисками выхода из ямы.

Падая в эту яму, Степка не отметил ничего особенного. Но сейчас, лежа в яме, он, так сказать, проявил фотографическую пластинку своей зрительной памяти. Оказалось, что шагах в десяти от ямы протянулась небольшая гряда валунов, за которые если бы добраться, то тут можно было бы разговаривать. Но как добраться? Сразу прыгнуть и пробежать эти десять шагов? — Подстрелит по дороге, — это как пить дать... Степка все время прислушивался. Не было

слышно никаких приближающихся звуков, но и никаких удаляющихся — значит, этот сукин сын все сидел и ждал. Немудрено: Степка знал, какие награды получают пограничники за всякого такого зверя, вроде Степки. Степка сам был охотником и знал, что в числе основных охотничьих добродетелей находится терпение. У самого Степки его, впрочем, было мало.

Степка осторожненько перевернулся на левый бок и снова прислушался — снова ничего. Он стал осматривать яму. Яма была, как и все ямы: ничего особенного — завалена всякими сучьями, валежником, опавшими листьями и всякой такой дрянью. Никакого выхода из нее не было видно.

Среди всей этой дряни Степка обнаружил довольно прямую хворостину, длиной, этак, сажени в две. Что можно было сделать с этой хворостиной?

Держа пистолет в правой руке и напряженно вслушиваясь в каждый шорох около ямы, Степка прижал левый сапог к земле, носком правого уперся в левую пятку и с крайним усилием воли и прочего, стянул с себя левый сапог. Воткнул хворостину в его голенище и стал им манипулировать. Издали могло показаться, что сапог, как живое существо, ищет какой-то опоры для прыжка. По собственной своей неосторожности сапог высунулся над краем ямы и тут-то и трахнул выстрел.

Степка вскочил на ноги, пытаясь сорвать свою винтовку из-за спины, но наступил на развернувшуюся левую портянку и снова свалился в яму: пустяковая вещь — портянка, а сколько может напортить! Есть много таких портянок и среди людей — но этот философский вывод в данную минуту Степке в голову не пришел: теперь надо было за валуны.

Степка пружиной рванулся вперед, слышал как снова звякнул затвор — сукин сын досылал новый патрон, — снова трахнул выстрел, но Степка был уже за прикрытием валунов, и, оставя в покое свою винтовку, высунулся из-за валунов.

Сейчас картина стала ясна: сукин сын стоял за деревом — наполовину прикрытый им, шагах в сорока от Степки и снова манипулировал затвором. Степка поднял свой пистолет и, одну за другой, выпустил три пули. Сукин сын спрятался за деревом совсем. Определить попадание или промах Степка не имел никакой возможности. По части пистолета он не был специалистом, цель была узка, да и расстояние для такого вида оружия было далековато. Но, во всяком

случае, Степка был уже за прикрытием валунов, стащил из-за спины винтовку и почувствовал, что теперь уже можно разговаривать — тем более, что ему показалось, что сукин сын при втором выстреле как-то не то сжался, не то скрючился.

Это, впрочем, соответствовало действительности: одна из пуль попала бывшему товарищу Кузнецову в правое плечо. Рана была совершенно несерьезна — это бывший товарищ определил сразу, повертев правой ключицей, но это все-таки была рана. Кроме того, бродяга сидел уже за камнями, и шансы его, Кузнецова, и бродяги были по меньшей мере равны. Но тут же бывший лейтенант Кузнецов понял, что он только обманывает самого себя: шансы были совсем не равны. Он был уже ранен — пусть и легко, бродяга уже три раза продемонстрировал свою истинно обезьянью поворотливость, подвижность и стремительность; он, Кузнецов, уже три раза стрелял в бродягу, и тот теперь его не выпустит. Бродяга ухитрился выскочить из ямы, — куда, ему, бывшему лейтенанту Кузнецову, спастись из-за дерева? Бродяга сидит за камнями, недоступными никакой пуле в мире, а дерево бродяжья пуля пробьет насквозь. Можно бы было маленькими перебежками отступать от дерева к дереву, но это значило бы потерять прицел и быть подстреленным при одной из перебежек. Бывший лейтенант бывшей безопасности почувствовал, что на его лбу проступает нечто вроде холодного пота. Может быть, в переговоры вступить?

— Эй, ты, гражданин, — прокричал он, — давай-ка лучше разойдемся!

— Вот я сейчас тебе разойдусь, — ответил Степка. — Вот мы сейчас посмотрим — виданое ли дело: в человека ни за что, ни про что стрелять? Что я тебе, заяц что ли?

— Так я же по службе.

— По службе ты меня арестовать можешь, а не так, чтобы сразу, ни с того, ни с сего в человека бабахать, что я тебе заяц, что ли?

— Приказ такой вышел, — жалобным тоном сказал бывший лейтенант. — Сам знаешь, как у нас: дисциплина.

— Вот я тебе сейчас твой приказ и покажу, — сказал Степка, но уже менее категорически. — Ты за деревом, а я за камнями. Вот я тебе сейчас и покажу.

— Давай-ка, браток, лучше разойдемся. Дерево ли, камни ли, это еще бабушка на-двае ворожила. А у меня жена и ребятишек двое.

Ребятишки внесли некоторую сумятицу в степкины планы.

— Ну, и что?... А чего же в человека ни с того, ни с сего бабахать?...

— Так я же говорю: приказ. Тут запретная зона — сам знаешь. А один бродяга давеча тут целый конвой перебил.

— Да, ну?

— Ей-Богу. А до этого на Лыскове перебил целый взвод.

— Вот это здорово, — не удержался Степка.

— А что тут здорового? Разве люди по своей воле? Мобилизовали, приказали, хочешь, не хочешь, а, вот, сидишь тут в тайге, как сукин сын... А заметят какой саботаж — сразу к стенке. У каждого, может быть, и мать, и жена, и ребятишки.

Против ребятишек, да еще и в удвоенной порции, Степка устоять не мог.

— Знаешь, что я тебе скажу, — катись ты к чортовой матери.

Кузнецов почувствовал, как у него гора с плеч свалилась. Бродяга говорил искронне — это Кузнецов почувствовал по его тону. Кроме того, рана ныла и кровоточила. Рана была пустяковая, но перевязать ее было нельзя, и Кузнецов чувствовал, как рубаха постепенно пропитывается кровью.

— Так я тебе говорил — давай, разойдемся. Ты в одну сторону, я в другую.

— А ты стрелять больше не будешь?

— Как Бог свят, не буду! — Кузнецов не верил ни в Бога, ни в чорта.

— Так ты иди к чортовой матери, а я тут свой сапог подберу.

Кузнецов стал бочком, держа винтовку наготове, пробираться влево от себя, имея, в частности, в виду небольшую гряду валунов, шагах в пятидесяти от ямы, — гряду, за которой он мог бы чувствовать себя в полной безопасности. Или — во временной безопасности. Его проекты разбоя начинали как-то колебаться: вот на второй день и уже напоролся. И уже ранен. А — как дальше?

Степка выглянул из-за камней и увидел кузнецовский бок. Над ямой, на хворостине сиротливо маячил простреленный сапог. Степка, проверив на всякий случай патрон в винтовке, подошел к сапогу: действительно прострелен. Степка сел на край ямы и стал натягивать сапог. В это время Кузнецов обернулся. И оба узнали друг друга: „Тот самый". мелькнуло в голове у Кузнецова. „Тот самый", констати-

ровал Степка. Но только раньше этот „тот самый" был в офицерской форме, теперь в солдатской, и вид у него какой-то путаный. Ну, да чорт с ними, со всеми.

Мысли у Кузнецова неслись со скоростью звука. Тот самый, конечно. Если теперь его ухлопать — Берман простит Кузнецову все его бывшие и не бывшие проступки и преступления. Впрочем, нет: мертвый бродяга Берману не будет нужен. Нужно бы ранить и раненого довести. Тогда ни разбоя, ни золотоискательства, ни зимы в тайге... Дальнейший ход мыслей прекратился. Кузнецов резко обернулся и вскинул винтовку. Степка — словно у него глаза работали во все стороны, с бранью скатился в свою старую яму. Из ямы Степка стал отводить душу:

—Ух, ты, стерва, ух ты, гад... Разойдемся, говоришь, а сам в спину норовил бабахнуть, ну это мы еще посмотрим...

Кузнецов не отвечал ничего — да и что было отвечать? Он сейчас находился шагах в пятнадцати от ямы и теперь его на сапоге уже не проведешь, что очень хорошо понимал и Степка. Степка также понимал, что сейчас в яме его положение гораздо хуже, чем было раньше. Кузнецов стоял ближе к яме и от времени до времени свистал в свисток. Свист был тонкий и резкий и, вероятно, был слышен очень далеко. Кузнецов знал, что по существу он находится вне территории СССР, но пограничники мало с этим считались и какой-нибудь патруль мог услышать этот сигнал: тогда бродяга был бы арестован по всем правилам этого искусства, и все предшествующие — или возможные в будущем — неприятности бывшего лейтенанта были бы автоматически аннулированы.

Степка снова проклинал: себя, лейтенанта, судьбу и прочее в этом роде. Это занятие не помешало ему, однако, более внимательно осмотреться в яме. Она оказалась глубже, чем он думал. Если из нее повыкинуть несколько сучьев, веток и прочего — в ней, пожалуй, можно бы и спать. Степка выкинул. Стало удобнее, но выхода все-таки не было. Лейтенант стоял с винтовкой почти на прицеле. Степка сидел, ругался и соображал.

До Кузнецова было шагов пятнадцать. Степка постарался совершенно точно представить себе и направление и расстояние. Эх, если бы было зеркало... Степка не знал, что такое перископ, но ему как-то пришлось видеть, как в одном из бродячих цирков, где то около Томска, какой-то циркач стрелял в цель, стоя к ней спиной и прицеливаясь через

зеркальце. Но зеркальца у Степки не было. Он мысленно перебрал все свое снаряжение. Чем-то похожим на зеркальце был только нож, спертый из чекистского чемодана. Степка вынул этот нож. Он, действительно, блестел почти как зеркало. Степка высунул этот нож над поверхностью ямы. Нет, почти ничего. Однако, Кузнецов был кое-как виден и, что самое главное, видно было направление.

Степка снова стал размышлять. Прощупал свой патронташ: там в обоймах и без обойм было около сотни патронов. Если выпустить только пять — десять, то хоть один, да попадет.

Степка удобно уселся в яме спиной к Кузнецову, еще раз по ножу и по памяти проверил направление, поднял винтовку над головой и один за другим выпустил десять зарядов. На седьмом или восьмом — в стороне Кузнецова раздался глухой стон и было слышно, как что-то мягко упало на землю.

Ну, нет, — подумал Степка, — на сапоге меня не проведешь. — И выпустил в том же направлении еще одну обойму. Эта обойма никакого дополнительного действия не произвела. С кузнецовской стороны снова раздался тонкий резкий свист, и на этот свист откуда-то — очень издалека — откликнулся ответный. Теперь Степка понял, что нужно рисковать.

Степкина мысль работала не систематически, но быстро. Он снова взял все ту же хворостину, на которой не так давно торчал простреленный сапог, надел на нее шапку — и стал медленно — возможно дальше от себя высовывать эту шапку над уровнем ямы. Когда шапка высунулась, Степка с молниеносной быстротой высунул голову, снял моментальную фотографию всего окружающего и с такой же быстротой нырнул обратно: прицелиться в степкину голову за это время не было никакой возможности, в особенности, если лейтенант хоть каплю внимания уделил и шапке.

Моментальная фотография, проявленная Степчой на дне ямы, установила следующее:

Шагах в пятнадцати от ямы лежал на земле лейтенант. Его правая штанина была залита кровью, сквозь расстегнутую шинель была видна залитая кровью рубаха. Левая рука еще держала винтовку — или точнее — держалась за винтовку, но было ясно, что прицелиться из этой винтовки лейтенант уже не сможет.

Степка достал свой пистолет, вложил новую обойму, взвел курок, и точно выброшенный мощной пружиной, выскочил из ямы, держа пистолет в полной боевой готовности.

Кузнецов протянул было руку к винтовке, но потом со стоном бессильно откинулся на бок: от раздробленного пулей колена страшная боль пронизала все его тело. Кроме того, бывший товарищ Кузнецов понимал достаточно ясно, что прицелиться он не успеет.

Степка поднял пистолет, и Кузнецов зажмурил глаза. Говорят, что перед казнью, осужденный вспоминает всю свою жизнь. Кузнецов не вспоминал, Степкина пуля казалась ему единственным избавлением от раздробленного колена и от перспективы допроса. Но выстрела не последовало. Степка прицелился Кузнецову в лоб, но что-то с пальцем заело — как-то так не сгибался, в яме онемел, что ли...

— Ух, ты гад, гадючье семя!... Разойдемся, говоришь? А сам в спину нацелился бабахнуть?

Кузнецов открыл глаза. Степка прочел в них ужас. Но Степка неверно оценил этот ужас, как ужас перед смертью. Степка еще раз поднял пистолет, но с пальцем все что-то не выходило, занемел что-ли...

— Гадюка ты, гнида, — продолжал Степка, перемежая эти эпитеты некоторыми другими литературными оборотами речи. — Я-ж тебя мог, как рябка, застрелить, а ты: жена, ребятишки, вот я и пожалел, а ты — в спину? А?

Кузнецов не отвечал ничего. Он лежал беспомощный, окровавленый, с тем же выражением жути и ужаса в глазах. Степка попытался пхнуть его ногой, но и нога как-то занемала — вероятно, в яме. Степка ограничился тем, что плюнул на живот Кузнецова.

— Ну и лежи тут, может кто подберет, а может волки съедят. Туда тебе и дорога. Идет человек по лесу, а тут в него бабахают. Что я тебя — заяц, что ли? Да ты отвечай, гадюка!

Кузнецов ничего не ответил. Степка постоял над ним с пистолетом в руках, но долго стоять было нельзя — ведь откуда-то был слышен ответный свисток каких-то пограничников. Степка еще раз плюнул на живот Кузнецова и повернулся уходить. Потом вспомнил о кузнецовской винтовке — опять этот гад соберет свои силы и бабахнет в спину. Степка поднял с земли винтовку и еще раз посмотрел на Кузнецова. Тот лежал, закрыв глаза и не шевеля ни одним пальцем.

ПЛАНЫ ТОВАРИЩА КУЗНЕЦОВА

Когда Кузнецов открыл глаза, он сквозь кустарники увидел удалявшуюся степкину спину, шагах в пятидесяти. Скоро спина изчезла.Кузнецов остался один.

Холодный ужас преодолевал даже боль в раздробленном колене. Если бы этот бродяга не унес винтовки, — можно было бы кое-как застрелиться. Но винтовки не было. Если пограничный патруль найдет здесь его, Кузнецова, то после всяких удовольствий от перевозки до Неелова, после вероятной ампутации ноги, — а, может быть, и до ампутации, — ему, Кузнецову предстоит допрос у Бермана. Кузнецов довольно точно знал, чем были такие допросы. Если пограничники его не подберут, — этой же ночью вокруг беспомощного тела начнут собираться волки — их тут было много. Кузнецов довольно ясно представлял себе, как волчий круг будет постепенно суживаться, как один из зверей прыгнет к его раздробленому колену, от которого так пахнет кровью... И потом... Это потом будет длиться только несколько минут — может быть, и секунд. Вцепятся зубами в колено и в лицо. Пока перегрызут сонную артерию, какое-то время пройдет. При мысли об этом промежутке времени на лбу у Кузнецова выступил холодный пот.

Берман был далеко. Может быть, что-то случится. Может быть, что-то он, Кузнецов, придумает. Волки были как-то ближе и тут уж ничего придумать было нельзя. Но что можно было придумать с Берманом?

Страшным усилием воли, преодолевая боль и ужас, Кузнецов достал папиросы и спички. Очень трудно было зажечь папиросу: пальцы прыгали, прыгало пламя спички, прыгал конец папиросы. Наконец, папироса была все-таки закурена. Кузнецову показалось, что нога начинает неметь и что боль уже не так невыносима, — мало ли какие ранения бывают, например, на войне?

Если навести патруль на степкин след, если патрулю удастся арестовать этого бродягу, можно будет кое-что придумать: сказать, что он, Кузнецов, был в момент происшествия под мостом, а когда выскочил наверх, то весь конвой оказался перебитым и он, Кузнецов, переодевшись для некоторый безопасности в солдатскую форму — собирался итти за бродягой хотя бы и в Китай. Кроме того, можно притвориться без сознания — и тогда допрос будет оттянут недели на две — мало ли что может случиться за две недели?

Кузнецов нащупал на груди своей свисток и снова тонкий пронзительный свист прорезал таежную тишину. Ответный свист раздался откуда-то совсем близко. Через полминуты Кузнецов свистнул еще раз — ответный свист раздался еще ближе, и минуты через две, раздвигая кустарники, с винтовками на изготовку появился пограничный патруль: семь человек.

Присутствие людей как-то развеяло чувство жути.

— Ой, — сказал взводный, — чи это вы, чи это не вы, товарищ Кузнецов?

— Я, — ответил товарищ Кузнецов.

— Так як же вас так скрючило?

— За бродягой гнался.

— Это за тем, що на мосту був?

— За тем.

— И у засаду попалы?

— Никакой засады не было. И там бродяга был один, и здесь один. Я его в ту яму загнал, — Кузнецов протянул руку по направлению к яме, и колено снова ответило раскаленным железом.

— Водка у вас есть? — спросил Кузнецов.

Пограничники смущенно переглянулись...

— Водка есть вещь запрещенная, — наставительно сказал взводный и слегка запнулся.

— Это я и без тебя знаю, только, вот, если я потеряю сознание, то вы потеряете бродягу. А его нужно поймать!

Взводный слегка потоптался.

— А, мабуть, у тебе, Федосий, водка е — ты там щось куповал?

Федосий посмотрел в глаза взводному, потом в глаза Кузнецову.

— Да, может что и осталось.

Кое-что осталось — полная фляжка, — Кузнецов с жадностью выпил почти половину.

— Хотел бродягу взять живым. Загнал вот в ту яму. А он из автомата поверх ямы, без прицела, — вот в плечо и в колено. Забрал мою винтовку и ушел — вот туда — Кузнецов показал глазами направление, по которому исчез Степка.

— Та і на мосту він був один?

— И на мосту был один. Никакой засады не было. Этому парню палец в рот не клади: как обезьяна.

— Хм, — сказал взводный.

— Пусть двое залягут у перевала, бродяга должно быть туда пойдет, а четверо — загонщиками. Дай еще водки.

Кузнецов припомнил, что в старое время, до хлороформа, людей перед операцией напаивали водкой — вот, если бы теперь напиться! Федосий протянул ему фляжку. Но раньше Кузнецов хотел дать подробные указания.

— У бродяги автомат и пистолет — мою винтовку он, должно быть, по дороге бросил.

— А чего ему тут надо было? — спросил взводный.

— Чорт его знает! Только он один стоит вас семерых, вместе взятых. Убивать его нельзя — мертвому ему грош цена. Нужно ногу прострелить или что там... Далеко тут до ближайшего села?

— Верст с десять, — сказал один из пограничников — огромного роста детина, а до дороги — пустяки, версты две.

По лицам пограничников Кузнецов увидел, что особенной охоты сталкиваться с бродягой у них нет.

— Его можно только из засады взять. Пусть четверо заходят кругом, а двое залягут. Драться бродяга не станет — это ему ни к чему. Он отступит к перевалу, а двое из засады пусть ему ногу прострелят или что там... Только не на смерть. И будьте осторожны: этот сукин сын как блоха прыгает, глазом не уследишь... Вот и там, на мосту, и тут, из ямы...

— Хм, сказал взводный, — треба побачити.

Он подошел к краю ямы и увидел в ней десятка два-три стреляных гильз — и от автомата и от пистолета, поломанный валежник, следы сапога на глинистом обрыве ямы.

— А ты — продолжал Кузнецов по адресу огромного роста детины, — как твоя фамилия?

— Коньков, товарищ командир.

— А ты, Коньков, как-нибудь дотащи меня или до дороги, или до села.

— Слушаюсь, товарищ командир, — сказал Коньков, — я вас на спине дотащу.

— Две версты не дотащишь, — сказал Кузнецов. — Сделай лучше волокушку.

— Можно и волокушку, — согласился Федосий.

— А вы, — обратился Кузнецов к взводному, — ступайте сейчас же, а то не догоните.

Патруль, без особенного энтузиазма, пошел по степкиным следам. Федосий, нескрываемо довольный тем, что ему не пришлось иметь дело с бродягой, который прыгает как бло-

ха, который перебил конвой на мосту и который вот теперь — так изуродовал Кузнецова, — принялся за волокушку. Срубил две елочки, переплел их ветвями, обрубил лишние ветки, — а за это время Кузнецов допил фляжку до дна. Опьянение как-то затушевало и боль и ужас, но все-таки когда Федосий перекладывал Кузнецова на волокушку, тот стал глухо стонать сквозь стиснутые зубы. Федосий впрягся в волокушу и поволок ее. Нижние задние концы елок были гибки, как рессоры, но все-таки путь в две версты был бесконечным и мучительным. Наконец, добрались до проселка и на проселке им повезло: какой-то мужиченко ехал на почти пустой телеге от Троицкого.

— Стой! заорал Федосий.

— Тппру!... — перепуганным голосом остановил мужиченко лошадь.

— Заворачивай назад в Троицкое, — приказал Федосий.

— Да мне... начал было мужиченко.

— Плевать, что там тебе — видишь, командир раненый...

— Да там — может версты с две, тоже телега стоит — убитый валяется. Прямо в лоб, можно сказать...

— Плевать — пусть валяется, заворачивай, я тебе говорю!

Мужиченко торопливо повернул телегу. Федосий осторожно и не без труда переложил на нее Кузнецова. Тот был не то без сознания, не то пьян, однако, глухой стон снова вырвался из его запекшегося рта. Верстах в двух Федосий действительно обнаружил пустую телегу — конь спокойно жевал траву на обочине дороги, а на самой дороге валялся труп какого-то колхозника с пулевой раной прямо посередине лба. Федосий не проявил особенного интереса ни к подводе, ни к трупу, и на предложение мужиченки, перегрузить Кузнецова на пустую телегу, ответил коротко и нелитературно. Так доехали до Троицкого. Слух о раненом командире обогнал телегу — какие-то ребятишки во все свои лопатки побежали докладывать секретарю партячейки об этой сенсации и товарищ Нечепай встретил телегу почти на половине села.

— Так что, товарищ секретарь, — сказал ему Федосий — командир раненый.

— Какой командир?

— Лейтенант Кузнецов.

— Клянусь бородой Карла Маркса, — сказал товарищ Нечепай, — так это тот, который как с моста в воду?

— Точно так. Погнался за бродягой.

— И попал в засаду??

— Никак нет, говорит, что ни на мосту, ни там — Федосий ткнул рукой куда-то в тайгу — никаких засад не было. Что бродяга перебил всех в одиночку. Прыгает, говорит, как блоха. Стрелянный, видно, воробей. Наш патруль по следам пошел. Может поймают, а может и нет.

— Ну, давай его в партком, только поосторожнее, видишь — человек без сознания.

У телеги собралась небольшая кучка крестьян. Бабы охали по-бабьи — все-таки жалко человека, такой молодой, а крови-то сколько! Мужики смотрели мрачно и никакого сочувствия не выражали.

— Эй, вы, — заорал товарищ Нечепай, — что это вы тут столбами стоите — видите — раненый командир, берите за руки и за ноги! Нет, куда ты, сукин сын, раненую ногу хватаешь, не видишь что ли, берите под спину!

Когда лейтенанта Кузнецова кое-как изъяли из телеги, он открыл глаза.

— Это вы, товарищ Нечепай, — спросил он едва слышным голосом.

— Точно так, товарищ Кузнецов, мы вас сейчас в кровать уложим и санмашину вызовем.

— Поднесите меня к телефону и сейчас же вызовите товарища Бермана.

ПЛАНЫ МАЙОРА ИВАНОВА

У товарища Иванова было такое чувство, словно на его голову свалился целый небосвод — с Большой Медведицей включительно. Уже пожар охотничьего клуба оставил в его душе какой-то неприятный осадок. До этого пожара было так просто — поехать на охоту, заказать Степанычу штуки четыре-пять уток или рябчиков, забраться в развалины часовенки, достать свою книгу страшного суда, записывать, перелистывать, припоминать, комбинировать и соображать. Теперь все это несколько осложнялось. Конечно, можно бы просто взять машину и поехать на охоту вполне самостоятельно, но товарищ Иванов знал, что данное учреждение очень не любит, когда его сотрудники предаются одиночеству: они уходят из-под той взаимной слежки, которая составляла альфу и омегу внутренних отношений сотова-

рищей по работе. Товарищ же Иванов во всем старался соблюсти и сохранить полную прозрачность. Поэтому он позвонил в секретариат товарища Медведева и попросил об аудиенции.

Товарищ Медведев сидел в том же кабинете, — такой же грузный, как всегда, но теперь какой-то обрюзгший, осунувшийся, позеленевший.

— Вам что? — рявкнул он лаконически.

— Позвольте доложить, товарищ Медведев?

— Жарьте.

Сесть он товарищу Иванову не предложил. Стоя почти на вытяжку перед столом, товарищ Иванов начал:

— Так что, принимая во внимание создавшуюся конструкцию всех привходящих обстоятельств . . .

— Короче! — прервал его Медведев. — что это вы столбом стоите, глаза мозолите? Садитесь!

Иванов присел на край кресла. Выражение его лица было, как и всегда, кукольно-наивное и баранье-прозрачное. Медведев кинул взгляд на это лицо: „Ну, теперь-то ты уж меня своей бараниной не проведешь", подумал он.

— Так что, товарищ Медведев, у меня по поводу этого пожара есть свои соображения . . .

— И у меня есть. И у Бермана есть. А толку нет.

— Точно так, — утвердительно кивнул головой товарищ Иванов. Медведев не сразу сообразил, к чему именно относится потверждение товарища Иванова: к тому факту, что у Медведева и Бермана действительно тоже есть соображения или к тому обстоятельству, что из этих соображений, действительно, никакого толку нет.

— Ну? — сказал он рыкающим тоном.

— Я так полагаю, товарищ Медведев, что ключ ко всем этим происшествиям находится на территории заповедника.

— Это я и без вас знаю.

Товарищ Иванов снова утвердительно кивнул головой.

— Дело заключается в том, что я этот заповедник знаю досконально: охотился там года три. Там бесконечность всяких щелей, дыр, пещер . . .

— На три человека и шесть коней?

— На целый эскадрон, товарищ Медведев.

— Ого! — Медведев поднял брови, — даже на целый эскадрон?

— Точно так, товарищ Медведев, — даже и на целый эскадрон.

—Ну, если на цельгй эскадрон, то мои чалдоны найдут.

— Никак нет, товарищ Медведев.

— Почему это нет?

— Так что по той простейшей причине, что никто из них сюда не вернется.

Медведев даже повернулся на своем кресле.

— То-есть, почему это — не вернется?

— Так что, товарищ Медведев, совершенно просто — всем этим старателям, контрабандистам и прочим выдали продовольствие и оружие — зачем им, спрашивается, возвращаться.

— Ну, это вы уж чушь порете! — сказал Медведев раздраженно. — Если вы для такой чуши пришли ко мне — лучше было не приходить...

Медведев был раздражен до крайности. И, главным образом, потому, что из всей этой сотни чалдонов (фактически их, впрочем, было только тридцать семь) — действительно, до сих пор не веернулся ни один человек, — а шел уже четвертый день. Из нескольких сотен захваченных при таежной облаве старателей, промышленников, охотников, контрабандистов было отобрано тридцать семь человек, которые по самым разнообразным причинам казались наиболее надежными. Им дали хлеба, сала, колбасы, сахару, чаю — по винтовке и полусотне патронов — и они пока что исчезли совершенно бесследно. Тяжкие предчувствия давно уже грызли Медведева, и вот тут приходит эта чортова кукла и, собственно говоря, заявляет, что он, Медведев, опростоволосился, как самый последний дурак.

— Чепуха! — еще раз сказал товарищ Медведев.

— Никак нет, — возразил товарищ Иванов, и кукольно-невинное баранье-прозрачное выражение его лица на один, — только на один момент, сменилось чем-то иным, Медведев не успел разглядеть, чем именно.

— Никак нет, — повторил товарищ Иванов еще раз. — Продовольствие у них есть. Оружие у них есть. Один из ста имеет шансы на фунт золота — шанс — один из ста. На Саянах у любого из них шансов гораздо больше. Кроме того, говоря во внутрипартийном порядке, можно утверждать, что наше ведомство не...

— Знаю, что „не". Дальше!

— Словом, на их месте я бы не вернулся.

— Дальше!

— Так что, разрешите мне отлучиться в этот заповедник. До Пескова я доеду на машине — а потом пешком. Если эти

чалдоны еще там в засаде, то кто-то из них меня окликнет. Товарищ Иванов при этом пожал плечами и добавил: — Но это, конечно, совершенно неправдоподобно.

— Что неправдоподобно? Что они вас окликнут?

— Никак нет. Что они еще там. Полагаю, что за три дня они километров по двести сделали.

Товарищ Медведев посмотрел на товарища Иванова с почти нескрываемой злобой. Конечно, эта чортова кукла права: как это ни он, ни даже Берман, в сумятице последних дней, не сообразили такой простой вещи. Теперь — ищи ветра в поле.

— Что же вы раньше об этом не сказали?

— Как же я мог, товарищ Медведев? Если приказ исходил от товарища Бермана, то в порядке служебной дисциплины...

Это был очень тонкий намек. Приказ, собственно, исходил от него, Медведева, но ивановский намек мог быть понят, как база их возможного союза против Бермана. Приказ был подписан Берманом... Оффициально — ответствеенность лежала на нем. Впрочем, Медведев достаточно хорошо знал, что значит оффициальная безответственность. Но с этой чортовой куклой стоит иметь дело. Кто его знает?...

Товарищ Медведев взял блокнот.

— Вот вам записка на машину.

— Будьте добры, товарищ Медведев, еще на автомат, на сотню патронов и на продовольствие дней на пять.

Медведев включил в записку все требуемое.

— Я надеюсь, товарищ Медведев, что я что-то найду. Гарантировать, конечено...

— Но только вот что, товарищ майор... Медведев промолчал несколько секунд, видимо, что то обдумывая. Лучше подождите еще дня два. Тут такое деется...

— Слушаюсь, — коротко ответил Иванов.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ТОВАРИЩА МЕДВЕДЕВА

Когда товарищ Иванов ушел, Медведев закурил толстенную папиросу, откинулся на спинку кресла и втянул в себя полную грудь табачного дыма — так в половину кубического метра. Конечно, данное учреждение никак не было похоже на сенаторию для нервно-больных, — но последние дни могли сдеелать нервнобольным кого угодно. Обычная рутина

учреждения была, в сущности, довольно проста: были тысячи состоявших на учете шпионов, сексотов, засекреченных сотрудников, была цензура почты, телеграфа и даже телефона. На базе всего этого выуживались более или менее подозритеельные люди, этих людей подвергали на допросах соответствующей „обработке", они подписывали все, что угодно, и — в зависимости от их вины, от общей политической конъюктуры или дажее от личных счетов и настроений — отправлялись или в концентрационный лагерь или на тот свет. Машина работала гладко и ровно — без каких бы то ни было осечек. Собственно говоря, над смыслом этой машины товарищ Медведев задумывался мало. А когда задумывался, то свои личные переживания переносил и на весь аппарат власти. Переживания эти были тоже довольно просты: машина давала товарищу Медведеву ощущение безопасности, власти и силы. Это были приятные ощущения. Машина защищала его, Медведева, от последствий того, что Медведев иногда называл „грехами молодости" — когда-то, в молодые годы революции, людей расстреливали совершенно не спросясь броду. После расстрелянниых оставались мстители — нужно было отделываться и от них — вот так оно и пошло. Почти интуитивно товарищ Медведев чувствовал, что тактика железной метлы, ежовых рукавиц, запугивания и террора — это единствнное, что обеспечивает ему, Медведеву, силу, власть и безопасность. А также и жизнь. Он встал с кресла и подошел к окну. По ту сторону довольно широкой площади, на углу которой стоял дом № 13, шли какие-то люди — люди иного мира. Люди, не имевшие ни силы, ни власти, ни безопасности. Люди, из которых, собствеенно говоря, любой находится в полной его, Медведева, власти. Любого из них он, Медведев, может арестовать, подвергнуть пытке и почти любого расстрелять. Они, эти люди, не могут ничего. Террор? Бомбы? Чепуха! Все оружие у этих людей давным давно выужено, все, кто мог бы бросить бомбу, давно отправлены в концентрационные лагеря или на тот свет, — и малейший намек на террористический акт вызовет массовый ответ. Товарищу Медведеву иногда даже и хотелось; вот, чтобы был какой-нибудь террористический акт и чтобы тогда он, товарищ Медведев, мог бы, так сказать, засучить рукава и показать, что значит его власть!

Да, по ту сторону площади шли какие-то иные люди. С ними товарищ Медведев почти не сталкивался никогда. Круг его знакомых ограничивался рамками партийных вер-

хов, допросов он лично не вел, то, очень далекое время, когда он вращался среди простых смертных, было давно забыто. Два мира.

Но и в его, Медведева, мире была червоточинка, о которой он старался не думать. Например, товарищ Ягода. Он знал все, но кто-то и о нем знал все. Почти в каждом доме СССР он имел своего шпиона, но кто-то имел шпиона совсем рядом с ним. У него была почти безграничная власть и, оказалось, что власть эта была детской игрушкой. О заговоре товарища Ягоды против товарища Сталина, толком не знал, собственно, никто. Но о подробностях его казни ходили такие слухи, что даже у самых закоренелых партийных вельмож мороз по коже пробегал. Медведев знал, что где-то в его аппарате, в его окружении — в самом ближайшем окружении — существуют люди „третьей линии", как в ведомстве шопотом называли этот шпионаж в шпионаже, иногда эту „линию" он ощущал почти физически, но кто именно работал по этой линии — он и понятия не имел. Очень часто он перебирал в уме всех своих сотрудников и почти каждого можно было подозревать и ни о ком нельзя было сказать ничего определенного. Товарищ Медведев знал твердо только одно — каждый его шаг и почти каждое его слово — совершенно точно известно „там". Он, Медведев, конечно, лойялен — лойялен до предела, до энтузиазма, до ясного сознания, что если что-то поколеблется в СССР, то его, Медведева, песенка будет спета. Тогда — вот эти бессильные люди, которые проходят по той стороне площади, бросятся штурмовать дом № 13 и тогда от него, Медведева, останутся только клочки... Да, лойялен. Но ведь и это не гарантия!

Товарищ Медведев достаточно знал партийные верхи и нравы и видел ясно: Берман его, Медведева, в чем то подозревает. И в самом деле: на его, Медведева, территории произошел весь этот ряд таинственных необъяснимых происшествий. Говоря объективно, у Бермана есть основания для подозрений. Но основания, которые есть у Бермана, могут означать катастрофу. При этой мысли товарищ Медведев ощутил нечто вроде озноба. Может быть, расстояние между ним, Медведевым, и теми людьми, которые проходят по той стороне площади, не так уж и велико?

Как рассеять эти подозрения? Медведев знал, что Берман питает к нему приблизительно такие же чувства, как и он к Берману; при всм различии в оттенках этих чувств, они все-таки могли бы быть объединены общим термином не-

нависти. У Бермана к этой ненависти прибавлялось плохо скрытое презрение. У Медведева почти нескрываемое отвращение. Медведева, как это ни странно, спасал только этот комплекс чувств. Его, Медведева, держали тут на этом посту, в частности, именно потому, что он ненавидел Бермана и пользовался со стороны того такими же симпатиями. Это была старая, постоянная и хорошо известная Медведеву тактика. Но если Берману удастся не доказать — доказательств тут не требовалось, но только внушить Вождю мысль о том, что Медведев слегка подозрителен — то песенка Медведева будет, конечно, спета. Сговориться с Берманом не было никакой возможности. Но, может быть, была возможность наступления?

Вся эта цепь провалов, начиная с гибели филеров по дороге и кончая изчезновением Степаныча, не могла не вызывать бермановских подозрений. Но с другой стороны: почему Берман так упорно уклоняется от парашютных десантов на заимку дунькиного папаши? Ведь все следы ведут именно тула — сейчас в этом не могло быть никакого сомнения. Правда, та банда, которая выручила бродягу на перевале, не могла еще дойти до этой заимки — может быть Берман хочет дать им время дойти? Но тогда — почему Берман так спешно отозвал отряды парашютистов с перевала? Конечно, за перевалом банду было бы трудно найти; два самолета погибли, было одинадцять убитых и десятка два раненых — но еще оставались люди и еще оставалась возможность прочесать южный склон перевала . . . Почему так внезапно были отозваны все парашютисты? Собственно говоря, ему, Медведеву, нужно было бы слетать на перевал самому и посмотреть — не может быть, чтобы там не осталось хоть каких-нибудь следов.

Медведев при всех своих остальных качествах, был человеком решительным. Для прояснения мозгов, он сел в кресло и выкурил еще одну папиросу. Значит — событтия, по его информации — развивались так: бродяга был загнан в тупик. Прижат к горной стене. На этой стене оказалось что-то вроде засады. Бродягу втащили наверх. Банда за прикрытием скал и прочего перешла хребет, — не через перевал, — спустилась по ту сторону хребта, где и сбила два самолета — вероятно, банда была довольно многочисленной. Вместо того, чтобы бросить вслед за бандой все наличные силы и уцелевшие транспортные самолеты — Берман внезапно, по радио, приказывает преследование прекратить!

Что бы это могло обозначать? Нет, нужно слетать самому.

Медведев знал, что об этом полете сейчас же станет известно Берману и что нужно придумать какой-то более или менее приемлемый предлог. Более или менее приемлемым предлогом было бы изучение следов банды, — чего Берман тоже не сделал. Но это все-таки было бы поправкой к действиям Бермана — поправки тоже лучше было бы избежать.

Медведев закурил еще одну папиросу и стал думать. Нет, все очень просто: нужно, де, переконструировать всю систему охраны перевалов, — через них шляются всякие контрабандисты, диверсанты, бандиты, белогвардейцы и прочие такие люди. Такая реконструкция вполне входила в круг обязанностей товарища Медведева и — по крайней мере, оффициально — никаких подозрений вызвать не могла.

Товарищ Медведев был человеком решительным. Он ткнул окурок папиросы в пепельницу и направился в кабинет Бермана.

Берман сидел над кипой каких-то бумаг, которых он, совершенно очевидно, в данный момент не читал — в воздухе носился чуть слышный запах какого-то наркотика, лицо у Бермана посерело еще больше. Берман молча поднял на Медведева свои насекомые глаза, но не сказал ни слова. Медведев сел в кресло, закурил папиросу.

— Я пошлю в заповедник майора Иванова ... Точнее, он это предложил сам. Говорит, что знает эти места, как своих пять пальцев, и что там есть убежища, — пещеры и все такое, — в которых может укрыться целый эскадрон.

— А ваши следопыты, которых вы послали в засаду?

Медведев слегка развел руками.

— Чорт их знает, элемент все-таки ненадежный. До сих пор не вернулся никто.

— А вы полагали, что кто-то вернется?

Медведев пожал плечами.

— Чорт их знает. Конечно, риск, а что было делать?

— Можно было послать вашего Иванова несколько раньше ...

— Что делать? Не везет нам, — сказал товарищ Медведев, чуть-чуть интимным тоном, как бы подчеркивая общую их ответственность за все эти неудачи.

— Вы говорите — не везет. Недавно вы говорили об организации.

— Одно другого не исключает. На Троицком мосту была, конечно, организация.

Берман не ответил ни слова. Если это и была организация, думал он, то центр ее находится где-то здесь...

В этот момент зазвенел телефон. Берман снял трубку. Из секретариата сообщали о каком-то важном разговоре из Троицкого.

— Давайте, — сказал Берман.

— У телефона товарищ Берман? — спросил чей-то голос.

— Я, — лаконически ответил Берман.

— Говорит товарищ Нечепай, секретарь троицкой партъячейки. Разрешите доложить, что с вами хочет говорить лейтенант Кузнецов, только он сильно ранен.

— Это тот самый, который исчез с моста?

— Точно так, товарищ Берман.

— Давайте его к телефону.

Из трубки раздался очень слабый голос.

— У телефона лейтенант Кузнецов, начальник конвоя... Так что разрешите доложить... Я, значит, пошел с моста следом за бродягой, для верности переоделся... Настиг его под перевалом, получил две пули...

— Опять засада? — спросил Берман.

— Никак нет, товарищ Берман, и на мосту не было, а тут это я его поймал в яму, только очень уж ловок, бродяга этот... А за ним патруль послан...

— Какой патруль?

Ответа не было. Через несколько секунд раздался голос товарища Нечепая:

— Так что, товарищ Берман, лейтенант Кузнецов в бессознанию упал. То-есть в обморок. Сильно ранен. Весь в крови.

— А что вы обо всем этом можете сообщать?

— Так что, товарищ Берман, ничего абсолютного.

— А не абсолютного?

— Так что — как есть ничего. Товарищ Кузнецов не дал никакой информации.

— Я сейчас вышлю санитарный самолет, а вы там пока перевяжите раненого.

— Слушаюсь,товарищ Берман...

Медведев, сидя в кресле, пытался уловить хоть один звук из телефонной трубки, но не уловил ничего. Во всяком случае, было ясно одно: Кузнецов нашелся.

Берман надавил кнопку звонка.

— Это, повидимому, говорил лейтенант Кузнецов? — спросил Медведев.

— Да, — коротко ответил Берман.

— Вот — видите...

— Я еще, товарищ Медведев, не вижу ровно ничего.

Вошел секретарь. Берман приказал коротко.

— Сейчас же послать санитарный самолет и хирурга в Троицкое — там раненый командир.

Секретарь сказал „слушаюсь" и вышел.

— Лейтенант Кузнецов утверждает, — сказал Берман, — что на мосту никакой засады не было, что он, почему-то переодевшись, — вероятно в форму убитого красноармейца, — пошел следом за бродягой и тот его ранил — опять без засады.

— Ну, вот видите, — еще раз сказал Медведев.

— Я, товарищ Медведев, решительно ничего не вижу. А засаду на перевале я видел собственными глазами. И было совершенно ясно, что бродяга об этой засаде знал заранее.

— Тогда — как вы объясняете себе лейтенанта Кузнецова?

Берман закурил еще одну папиросу.

— Объяснений может быть много, товарищ Медведев, — сказал он неопределенно.

— А о каком патруле шла речь?

Берман пожал плечами.

— Вот как раз на этом пункте Кузнецов потерял сознание.

— Привезут — узнаем... Но я вообще приказал усилить охрану перевалов и там должно быть много патрулей. Вообще — нужно проверить и усилить всю систему... Я, вероятно, отправляюсь туда лично.

— Отправляйтесь, — безразлично сказал Берман...

МЕДВЕДЕВ ИССЛЕДУЕТ

Подходы к перевалу были покрыты частью альпийскими лугами, частью каменными осыпями. Гигантская лощина, — распадок, по сибирской терминологии, упиралась в такую же гигантскую каменую стену и только в одном месте, постепенно суживаясь, лощина подходила к широкой щели перевала.

На ровную, хотя и покатую площадку альпийской луговины один за другим спустились три самолета. Из первого из них вылез товарищ Медведев и, разминая свои мясистые ноги, отошел в сторону, глядя на то, как из машин один за другим вылезает его сопровождение — двое дядей в штатском, вооруженные какими-то чемоданчиками и десяток по-

граничных офицеров, вооруженных автоматами. Сам Медведев находился в полном походном обмундировании. На груди у него висел в кожаном футляре гигантский бинокль, сбоку болтался автомат, с другого — что-то вроде фотоаппарата, походная сумка с картой и что-то еще.

Восстановив свое кровообращение, Медведев знаком руки подозвал к себе одного из офицеров.

— Где вы были в момент, когда бродяга подошел к стене? Что и где здесь вообще делалось?

Полковник государственной безопасности, товарищ Клубков, высокий, худой, жилистый человек с внимательным и вечно настороженным выражением лица, начал говорить в тоне профессионального проводника:

— Я, товарищ начальник, был во главе группы парашютистов, которая спустилась вот там, Клубков показал рукой, куда именно он спустился, — шагах в пятистах от стены. — Бродяга показался из зарослей — вот там — бросился бежать прямо к стене...

— Значит, он знал, что его там ждали?

— Божет быть. Но, может быть, он уже успел заметить, что перевал уже занят...

— Может быть. Где в это время находился самолет товарища Бермана и он сам?

Клубков показал в другую сторону:

— Вот там, на самом краю лощины, это, вероятно, самый лучший наблюдательный пункт.

— Вероятно. Ну, что еще?

— Приземлившись, мы бросились за бродягой. Впереди нас, ближе к бродяге, был еще один патруль... В этот момент началась стрельба сверху.

— Откуда?

Полковник Клубков показал.

— Ну, пойдем, посмотрим. Товарищ Воронин! — вдруг заорал Медведев таким голосом, что Клубков даже вздрогнул.. — Товарищ Воронин, оглохли вы, что ли? Идите за мной!

Один из людей в штатском поднял с земли свой чемоданчик, и группа направилась к тому месту, откуда бродяга таким чудесным образом был вознесен на стенку. На каменных осыпях никаких следов не было — только у самой стены еще чернели пятна крови и по стене можно было заметить сорванные травинки.

— Ну, тут мы ничего не вынюхаем, — сказал Медведев.

Товарищ Воронин, маленький человечек с пронзительными вынюхивающими глазами хорька, осмелился возражать.

— Это еще не совсем гарантировано, товарищ Медведев, вот там, например, валяется стреляная гильза.

— Ну, вы тут занимайтесь стреляными гильзами, а я пойду посмотрю дальше. А вы, товарищ Клубков, исследовали вот тот выступ, вроде балкона, куда втащали этого бродягу?

— Лично я — нет, но балкон был исследован.

— Нужно будет пробраться и туда. Осмотрите пока данное место.

Товарищ Медведев, широко и грузно ступая по осыпям, направился к бывшей стоянке бермановского самолета, — до нее было не меньше полуверсты. Там, на альпийской траве, еще видны были следы колес. Было видно и место, где сидел Берман: около десятка окурков валялись на траве, в земле еще сохранились отпечатки ножек складного стула и треножника бинокля. Медведев, глубоко засунув руки в карманы брюк, осматривал местность. Тут, кажетеся, тоже ничего вынюхать было нельзя. Если смотреть от бермановского места на перевал, то справа шла ложбина, а слева, шагах в пятидесяти — ста, громоздились груды валунов, в промежутках поросшие чахлым кустарником. Медведев стал бродить около самолета, описывая вокруг него концентрические круги. Шагах в двадцати от бермановского места на малокровной травке между камнями невинно лежал окурок папиросы...

Медведев нагнулся и поднял. Это была, конечно, бермановская папироса — других таких не было ни у кого. Почему Берману пришло в голову уходить куда-то от самолета? Да еще предварительно сплавив от себя всю охрану?

Товарищ Медведев тщательно осмотрел место, где лежал окурок, — нет, тоже ничего вынюхать нельзя. Он достал свой портсигар и спрятал в него окурок. А что дальше?

Берман куда-то ходил. Куда? Медведев начертил мысленную линию от места, где стоял стул, через место, где лежал окурок — линия упиралась в поросшую чахлым кустарником кучу валунов. Медведев пошел по этой линии, пронзительно вглядываясь в каждый камешек и в каждую травинку. За грудой валунов что-то белело на земле: опять окурки. В одном месте их лежало три штуки — и против этого места,шагах в трех — еще два. Медведев опять нагнулся — да, те же бермановские окурки — что он здесь делал? Но от других двух окурков у Медведева захватило

дыхание — это не были бермановские окурки и это не были окурки пограничников. Это были недокурки самокрутки, из очень хорошего крымского табаку, какого, — Медведев знал это наверняка, — ни в каких распределителях НКВД не было, Медведев сел на камень, вынул портсигар и над ним распотрошил один из чужих окурков. Да ,крымский, очень хороший табак, но не фабричной крошки. Медведев поднялся. Да, ясно: Берман сидел здесь и с кем то разговаривал — минут пятнадцать, не меньше: три бермановских окурка и два чужих. Берман и еще кто-то сидели друг против друга и о чем-то разговаривали. Об этом разговоре Берман никому ничего не сказал. И никто ничего не знает, — даже и Клубков.

Он старательно подобрал окурки и запрятал их в портсигар. Потом медленно, пригнувшись к земле, теми же концентрическими кругами стал кружить вокруг места таинственной беседы. Но трава уже успела оправиться от всяких человеческих следов, а на камнях вообще ничего не было видно. Только в одном месте, глинистая почва под и между камнями казалась придавленной чем-то вроде человеческого тела. Можно было — при известном усилии воображения, представить себе, что вот в эту ямку упирался чей-то локоть, а сантиметрах в полутораста от ямки что-то вроде царапин. При таком же усилии воображения можно было представить себе, что здесь кто-то лежал, и этот кто-то целился в Бермана: направление от царапин к ямке вполне укладывалось в эту гипотезу. Но ни у царапины, ни у ямки больше не было ничего.

Медведев пошел кружиться дальше, как коршун над жертвою. Куда ушел „кто-то", с которым Берман разговаривал? Он мог уйти только к стене — здесь она была изрезана расщелинами, кое-где поросла кустарником — там мог быть проход, доступный для хорошего альпиниста.

Медведев перестал кружиться, как коршун над жертвою, и зигзагами направился к стене. Одно время его охватило слегка неуютное ощущение: кто-то мог сидеть в какой-то из этих расщелин и следить мушкой винтовки за каждым движением Медведева. Но эту мысль Медведев скоро отбросил: банде не было никакого смысла задерживаться здесь, у перевала, где все время шныряли пограничники. Тем не менее, он взял в руки свой автомат, взвел курок и только после этого двинулся дальше — все теми же зигзагами. Зигзаги привели его вплотную к стене.

Да, неприступной она не была. По этим расщелинам можно было во всяком случае карабкаться вверх — снизу трудно было определить, до какой именно высоты. Медведев медленно пошел вдоль стены, самым внимательным образом вглядываясь в каждую щель и расщелину. Вот, например, по этой расщелине куда-то можно пробраться. Она спускалась к ложбине сравнительно пологим рвом, узким и глубоким, кое-где поросшим по краям травой и кустарником. Да, конечно, если бы он, Медведев, был помоложе и потренированнее, он бы полез. Нужно будет кого-то послать все-таки по этим расщелинам. Хотя, с другой стороны... С другой стороны не следовало внушать Берману подозрения в том, что у Медведева есть какие-то подозрения и что он эти подозрения хочете проверить. Разве попробовать самому, что ли?

Конец колебаниям товарища Медведева положило какое-то беленькое пятнышко, видневшееся вверху по расщелине, метрах в двадцати — двадцати пяти.

Оно могло быть грибом, могло быть раковиной, но оно могло быть и клочком бумаги. Мысль о клочке бумаги вернула товарищу Медведеву некоторую часть его молодости. Он еще раз посмотрел на белое пятнышко — да, метров двадцать — двадцать пять. Конечно, если бы этак лет десять тому назад... И килограммов на двадцать меньше, — тогда не о чем было бы и думать. Нечего было и думать послать за бумажкой, если это и в самом деле бумажка, — кого-либо из пограничников...

Товарищ Медведев был все-таки человеком решительным. Он снял с себя решительно все свое вооружение — сложил его у выхода из расщелины и мужественно полез вверх. Это предприятие оказалось гораздо более сложным, чем он думал о нем, стоя внизу. Да, кил тридцать, пожалуй, лишних — тучное, массивное тело товарища Медведева казалось ему громоздким, как платяной шкаф и мускулы казались явно недостаточными для этого шкафа. Тем не менее, товарищ Медведев мужественно карабкался все выше и выше, задыхаясь на этой высоте еще сильнее, чем это было бы в Неелове, обливаясь потом, обдирая себе локти и колена. Наконец, белое пятнышко оказалось над самой его головой.

Цепляясь одной рукой за какой-то кустик чахлого кустарника, товарищ Медведев протянул другую руку и ощупью, — трудно было поднять голову, не рискуя потерять равновесие, — кончиками пальцев достал таинственный клочок.

Это, действительно, был обрывок бумаги, наполовину

скомканный и влажный от росы и сырости. Повернувшись спиной к стенке расщелины и возможно более прочно утвердившись на ногах, товарищ Медведев разгладил этот клочок. Это был обрывок листика из блокнота и на нем твердым, мелким и очень четким почерком было написано:

„Следуйте за подателем сего, Вам ничто . . .”

Тут клочок обрывался. Почерк был совершенно незнаком. Автора этой записки, может быть, было бы можно установить на основании дактилоскопической картотеки Неелова. Но кем он мог быть?! Неужели пресловутый Светлов? Все светловское дело прошло мимо рук товарища Медведева. Иначе, может быть, товарищ Медведев как-то опознал бы почерк . . . Есть ли в картотеке оттиски пальцев научного работника Светлова? И как объяснить все это: и беседу Светлова с Берманом, о которой красноречиво говорили папиросные окурки, и властный тон записки и, наконец, тот факт, что Берман, повидимому, находился под прицелом винтовки и был выпущен живым?

Если там, внизу, на камнях, товарищ Берман беседовал действительно с научным работником Светловым, тогда было ясно почти все. Был почти ясен и план ликвидации Бермана.

При мысли об этом плане у товарища Медведева даже сердце сжалось от ненависти: вот бы раздавить эту гадину, этого тарантула, это ядовитое насекомое. Товарищ Медведев квалифицировал товарища Бермана почти в тех же выражениях, как и Степка. В воображении товарища Медведева на несколько секунд мелькнула картина арестованного Бермана, наручники, „предварительный допрос”, отсылка в Москву — конечно, в Москву, — жаль, что расправиться с Берманом здесь, в Неелове, Медведеву не позволят — как жаль . . . Все эти мечты заняли только несколько секунд.

Опираясь спиной о стенку расщелины, Медведев постарался собрать свои слишком далеко забежавшие мысли. Нет, всего этого было еще совершенно недостаточно. Ни окурков, ни записки, ни соображений. Все это еще не доказательство, но все это уже нить к доказательству. Стараясь не потерять равновесия, товарищ Медведев достал свой портсигар, еще раз осмотрел обрывок бумаги, ничего нового в нем не нашел и спрятал его вместе с окурками. Ухватившись рукой за тот же кустик чахлого кустарника, Медведев посмотрел вверх. Там — метрах в десяти — пятнадцати выше белело что-то еще.

Товарищ Медведев постарался отдышаться и отдохнуть.

Еще раз измерил расстояние и путь до белевшего пятнышка: можно ли добраться или нельзя? Может быть, как раз в том клочке и будет вся разгадка? Товарищ Медведов достаточно ясно понимал, что при сложившихся обстоятельствах и при сложившихся симпатиях дело идет о голове: или его или Бермана. На данных ступеньках административной лестницы никаких там ссылок не существовало: люди знали слишком много, — дело шло о жизни или о смерти. Может быть, вот в том, в десяти-пятнадцати метрах белеющем клочке, и заключалась — или жизнь или смерть.

Товарищ Медведев решился еще раз. Тщательно ощупывая и руками и ногами каждый кустик на стенке расщелины, каждую ее неровность, он медленно-медленно стал ползти вверх. Кое-какие кустики обрывались в руках, кое-какие камни скатывались из-под ног, временами товарищ Медведев висел, так сказать, на честном слове, не рискуя даже посмотреть вниз, прижимался к стенке всем своим тучным телом — и все-таки продвигался все вверх и вверх.

В результате усилий, которые заняли, вероятно, не менее получаса, товарищ Медведев, наконец, дотянулся до очередного клочка. С замиранием сердца он поднос его к глазам. На клочке не было ничего. Только какая-то карандашная черточка — вероятно, конец росчерка подписи. Товарищ Медведев осмотрил клочок с обеих сторон, но не нашел больше ничего. Он снова посмотрел вверх, но дальнейшее продвижение вверх было совершенно очевидно немыслимым — по крайней мере для него, Медведева: эх, если бы сбросить со своих плеч десять лет и двадцать килограммов! Но это было утопией, как утопией были бы и попытки двигаться дальше.

Найденный клочок Медведев спрятал туда же — в портсигар. Приходилось спускаться, ничего не поделаешь. Но к крайнему своему неудовольствию, товарищ Медведев обнаружил, что спуститься вовсе не так просто, — во всяком случае, гораздо труднее, чем было подниматься. При подъеме — перед глазами товарища Медведева были каждый кустик и каждая неровность. При спуске ничего этого видно не было: приходилось нащупывать ногами. Товарищ Медведев пробовал нащупывать, но первая же попытка чуть не кончилась катастрофой: какая-то нащупанная ногой неровность обрушилась под той же самой ногой, на несколько секунд товарищ Медведев почти повис в воздухе, судорожно вцепившись в какую-то травинку и также судорожно пытаясь сохранить равновесие. Травинка повидимому помогла. Равно-

весие было восстановлено. Стоя спиной к стене расщелины, товарищ Медведев без всякого удовольствия посмотрел вниз.

Внизу, конечно, никакой „бездны" не было — дно расщелины было видно достаточно ясно. Однако, до этого дна было метров тридцать-сорок. Не „бездна" и не „пропасть", но, если свалиться, то ни одной целой кости не останется. Совершенно глупо.

Товарищ Медведев выругался про себя. Это не помогло. Товарищ Медведев выругался вслух, но и от этого не изменилось ровно ничего. Он стоял, точно приклеенный к стенке расщелины, и самая незначительная попытка наклониться вперед и тщательнее рассмотреть дорогу вниз, сейчас же нарушала равновесие и грозила падением — а падать пришлось бы метров тридцать-сорок. Да еще и на камни. Да еще и на неровные и острые. Товарищ Медведев выругался еще раз: совершенно глупо...

Подняться вверх и оттуда искать другую расщелину? Но, во-первых, практически это было невозможно — по части альпинизма товарищ Медведев не был специалистом. И, во-вторых, теоретически всякая иная расщелина должна быть еще хуже: Светлов или кто там был — выбрали, конечно, наиболее легкую — если не считать перевала. Товарищ Медведев понял, что без посторонней помощи ему отсюда не выбраться. Помощь, конечно, была не так далеко: пограничники, которые прилетели сюда вместе с ним. Придется — ничего не поделаешь — орать благим матом и звать пограничников. Это, конечно, роняет авторитет. К чорту авторитет, свои кости дороже. Чем именно могут помочь пограничники — товарищу Медведеву было еще не очень ясно. Но было ясно, что торчать словно приклеенный к этой проклятой стенке придется довольно долго. Товарищ Медведев собрался было издать призыв о помощи, когда, повернув лицо в сторону выхода из расщелины, он услыхал ружейную стрельбу и увидал зрелище, которое преисполнило его чувством искреннего недоумения.

Сквозь устье расщелины была видна часть полянки, примыкавшей к перевалу. Виднелись стоящие на ней самолеты — не все, но часть, и виднелись какие-то пограничники, куда-то бежавшие и в кого-то стрелявшие. Товарищ Медведев не страдал близорукостью, но все же пожалел об оставленном внизу бинокле. Без бинокля довольно трудно было разглядеть странную фигуру, во все лопатки удиравшую от пограничников. По всем зрительным данным, это был тот

же таинственный бродяга, который ухитрился ликвидировать на мосту целый конвой. За спиной у бродяги было нечто вроде мешка, а в руке была винтовка. Бродяга бежал с быстротой матерого зайца. Пограничники охватывали его полукругом. Впрочем, этот полукруг Медведеву был виден не весь: дальнейшее поле зрения заслонял край расщелины. Подбегая почти к этому краю, бродяга упал, потом попытался бежать на четвереньках, потом поднялся на ноги — и, как показалось Медведеву, шатаясь и спотыкаясь, — скрылся за пределами медведевского горизонта. Туда же скрылись и пограничники.

Как и зачем мог очутиться бродяга еще раз по эту сторону перевала? Что с ним сталось? Убит? Ранен? Опять сбежал? Кажется, во всяком случае, ранен. А, может быть, просто споткнулся? Нет, не похоже. Вероятно, ранен. И, конечно, на этот раз попался. Но из-за пределов горизонта товарища Медведева выстрелы продолжали трещать, — этого не было бы, если бы бродяга был захвачен. А, может быть, его сообщники? Потом затихло все, и товарищ Медведев остался стоять, приклеенным к стенке расщелины. Он начал кричать о помощи, но пограничники то ли из-за дальности расстояния, то ли из-за увлечения охотой за бродягой, — не проявляли никаких дальнейших признаков жизни.

Вечер приближался. Товарищ Медведев охрип. Ноги затекали. Клочки вечернего тумана медленно ползли по склонам. Сырая мгла стала заполнять расщелину, заглушая всякие звуки и закрывая всякие горизонты. Товарищ Медведев начинал чувствовать, что это не только глупо, но что все это может кончиться совсем нехорошо. И даже хуже — хорошо вообще не может кончиться: ночь придется провести, стоя на каком-то камешке, который от тумана становился мокрым и скользким. Хватит ли сил?

СТЕПКА В ПЕРЕПЛЕТЕ

Оставив лейтенанта Кузнецова на произвол судьбы, пограничников или волков, Степка нырнул в тайгу. Шагах в трехстах от исходного пункта он засунул в кусты ненужную ему винтовку лейтенанта Кузнецова и направился к тому месту, где по всем его соображениям должен был еще пастись Лыско.

Сейчас Степка, учитывая свежий и горький опыт с лей-

тенантом Кузнецовым, проявлял максимум осторожности. Он шел — временами бежал, — почти пригнувшись и тщательно осматривая своими волчьими глазами каждый куст и каждую яму. Так шли версты за верстами. Наконец, Степка — уже совсем невдалеке от перевала, наткнулся на следы своей последней стоянки: лежащие на земле вьюки и седло. Лыско должен был бы быть где-то невдалеке. Шаря глазами по траве, Степка уловил следы лошадиных копыт и, идя по ним, — в нескольких стах шагах обнаружил, наконец, цель своего рискованного путешествия. Лыско мирно щипал траву и, увидя Степку, приветствовал его радостным ржанием. Повидимому, воспоминания о райской жизни, предшествовавшей приключению около кооператива с водкой, остались и у него. Своими влажными ноздрями он втягивал в себя такой знакомый степкин дух — даже и водкой попахивало, положил голову на степкино плечо, а Степка гладил Лыску по шее, произносил всякие ласковые слова, не вполне, впрочем, принятые в культурном дамском обществе.

Когда все подходящие слова были сказаны, Степка потащил Лыско к месту, где лежали вьюки и седло. Учитывая, опять же, свой недавний опыт, часть вещей из вьюков он переложил в свой спинной мешок. Остальное было навьючено в обычном порядке. Ехать верхом Степка не рискнул: верховой заметен издали, а тут какие-то пограничники шатаются, — вот кто-то свистел же! Держа в левой руке повод и в правой — винтовку, Степка стал пробираться к перевалу — как и раньше, тщательно прощупывая глазами каждый куст по дороге впереди. Тайга редела и мельчала, почва становилась все более и более каменистой, перевал близился. Высунувшись из тайги к поляне перед перевалом, Степка к ужасу и негодованию своему обнаружил на поляне все те же проклятущие самолеты, — но они стояли не у самого перевала, а на самом нижнем конце полянки — от перевала верстах так в трех. Если пробраться опушкой тайги вправо — то к перевалу можно подойти на расстояние версты даже и меньше.

Потом наступит ночь, а ночью, вопреки общепринятому мнению, — все будет виднее.

Степка стал пробираться вправо. Но тайга становилась все более и более редкой, полянки все росли и росли. Пробираясь через одну из них, Степка услышал повелительный оклик:

— Стой! Руки вверх!

Степка сделал как раз наоборот: упал на землю и в руки взял винтовку. Выстрела не последовало — ни с одной, ни с другой стороны. Степка, оставил Лыско и повод, и стал ужом ползти обратно в тайгу. Крики „стой!" стали раздаваться, — как показалось Степке, — с разных сторон: значит, снова влип. Шагов через пятьдесят Степке удалось вползти в заросли довольно густого кустарника, высунувшись из которого, можно было составить себе более или менее ясное представление о создавшейся стратегической обстановке. Степка прикрыл свою голову пучком травы и сквозь этот пучок стал осматривать поляну. Создавшееся стратегическое положение имело такой вид.

В конце поляны стояло два самолета — только два. Около них копошилось несколько пограничников, — человека три-четыре. На самом перевале не было никого. По ту сторону полянки через хребет, кроме превала, шла еще расщелина, по которой опытный человек мог пробраться и через которую и пробрались Светлов, Еремей и Степка — перед их дружеской беседей с Берманом. К расщелине можно было пробраться двумя путями — или скрываясь, по неровностях полянки, или вернувшись далеко назад — через тайгу, в обход полянки. Степка посмотрел на расщелину, и где-то на середине ее его волчьи глаза обнаружили какую-то фигуру, словно нарисованную на стене расщелины. Фигура что-то очень уж была похожа на товарища Медведева, но Степка никак не мог представить себе, каким образом начальник Среднесибирского НКВД мог бы очутиться в таком вороньем положении. Слева, на поляне, не было видно никого. Но ведь кто-то отсюда орал „руки вверх"? Присмотревшись тщательнее, Степка обнаружил пограничника, который, как и он сам, пытался обойти открытые места и, пробираясь сквозь кустарники, заходил Степке в тыл. Степка медленно поднял винтовку, и пограничник с простреленной головой прекратил свой дальнейший обход. Как это ни было странно, пограничники у самолета не обратили на выстрел никакого внимания, — вероятно, редкий горный воздух заглушил звук, и ветер отнес его в другую сторону.

Степка решил пробраться к расщелине за полянкой, используя малейшие неровности почвы. Как ни жаль было еще раз оставлять Лыско, да еще и нерасседланным и неразьюченным, Степка, усиленно работая и локтями и коленями, переползал от одного перелеска к другому, дополз до узкой и длинной ложбины, почти пересекавшей полянку

параллельно горному хребту, — пополз по этой ложбине и, вот — из-за края ее, как из-под земли, вырос еще один пограничник и сказал довольно спокойным тоном:

— Ну, а теперь ты, золоторотец, — руки вверх! . . .

Степка, все еще стоя на четвереньках — поднял вверх голову. Пограничник держал винтовку у щеки, но как показалось Степке, целился не очень тщательно.

— Бросай винтовку! — заорал пограничник.

Степка, все еще стоя на четвереньках, отбросил винтовку в сторону.

— Теперь вставай, руки вверх, и иди сюда!

Степка, как бы с трудом стал подниматься на ноги. Подымаясь, он захватил полную горсть гальки, и, подымая руки, — швырнул эту гальку в лицо пограничника. Хлопнул выстрел. Пискнула пуля где-то около. Степка, ринувшись вперед со всей своей стремительностью, схватил пограничника за ноги. Пограничник свалился назад, лицом вверх. Степка левой рукой изо всех сил вцепился в винтовку, а правой — пытался нащупать свой нож.

Пограничник оказался сильнее, чем предполагал Степка — впрочем, для предположений у Степки все равно времени не было. Не было у него и информации о том, что в войска НКВД подбирается отборный человеческий материал и что этот материал подвергается весьма основательной тренировке по джиу-джитсу и по смежным с ним дисциплинам.

Поэтому через несколько секунд отчаянной борьбы Степка очутился прижатым лицом к земле, а его левая рука, завернутой „ключом" на спину. Острая боль пронизала локоть и плечо. Откуда-то слышался совсем близкий конский топот. Степка прохрипел „сдаюсь", и в это время тиски ключа разжались. Кое-как Степка стал на четвереньки и над самой своей головой услыхал пронзительный крик пограничника. Обернувшись, Степка к несказанному удивлению своему, увидел Лыско, который зубами рвал пограничника. В подробности этого происшествия Степка всматриваться не стал. Он вскочил на ноги и к своему ужасу увидел, что какие-то два пограничника пробирались в лощину: и тут, значит, прикрытия больше не было. Преодолевая страшную боль в левой руке, Степка подобрал винтовку, взял в зубы ремень и кое-как вскочил на Лыску. Тот сразу рванулся вперед по направлению к перевалу. Из ложбины послышались выстрелы. Степка почувствовал, как что-то словно раскаленной

иглой пронизало ему грудь. Он пригнулся к конской шее и на ее гриве увидел свою собственную кровь, лившуюся изо рта. Почти в тот же момент Лыско как-то странно рванулся в сторону и, падая, Степка увидел над собою прозрачное горное небо...

ОТШЕЛЬНИК

Когда Степка с котомкой за плечами и с винтовкой в руке, исчез в тайге, караван начал вьючиться. Спешить было некуда: надо было дать Степке время догнать его. Еремей был настроен оппозиционно:

— Это зря, Валерий Михайлович, позволили вы ему за конем итти.

— Да, ведь, конь-то — привычный, свой, — сказал Федя.

— Мало ли что свой — человек дороже коня.

— При чем здесь „человек"? — спросил Светлов, — там, я думаю, никакой опасности нет.

— А это — Бог знает. От товарищей, как от греха, — нужно подальше. Бог его знает — вот были и нет. А через час — опять будут. Нет, зря это вы позволили... Ну, если что, может быть, отец Петр выручит.

— А кто такой отец Петр? — спросил Потапыч.

— Отшельник один, — ответил Еремей.

— Жулики все они, — сказал Потапыч, — и твои попы и твои отшельники...

Еремей повернулся к Потапычу всей своей медвежьей тушей.

— Это ты у себя в есесерии можешь такое говорить, а тут нишкни, тут тебе товарищей нету.

— Товарищей нету, а жулики есть везде. Ты, папаша, как ты хочешь, сиди там и благословляйся, а я за это время рябков в тайге настреляю.

Еремей передернул плечами.

— Вот видите, Валерий Михайлович, как эту большевистскую заразу выправить? Ведь, вот же, не совсем дурак парень, а какое говорит...

— А, что это за отшельник? — спросил Валерий Михайлович.

— Святой человек, — несколько неопределенно сказал Еремей. — Святой человек. К нему и китайцы, и дунгане, и сойоты ходят — он и по китайски говорит. Насквозь видит.

— Что насквозь видит?

— Все. И как и что — все видит...

— А что в кармане — так уж совсем насквозь...

— А ты, свои безбожные разговоры брось — я тебе говорю, — в тоне Еремея мелькнуло нечто вроде угрозы. Жучкин слегка повел плечами:

— Я, папаша, против Бога ничего не говорю. А только этих то... ну, айда, что тут митинг разводить?

Караван медленно тронулся.

— Если бы пешком, — сказал Еремей, — то тут совсем рукой подать — через гору, да с конями тут не пройдешь. Обходом будет дальше... Эх, зря, Валерий Михайлович, вы этого Степку пустили.

— Сдался тебе этот Степка, — сказал Потапыч.

Еремей оглянулся — Потапыч шел сзади...

— Вот придем мы на заимку, возьмет тебя отец Петр в оборот.

— А это — как?

— Задаст тебе эпитемию. Тысячу поклонов в день. Так с тебя и твоя дурь и твое сало сойдут.

— Многовато, — сказал Потапыч.

— То-то и оно. А не захочешь, — так иди, откуда пришел. Понял?

Потапыч предпочел богословский спор прекратить. Валерий Михайлович заметил, что если к нему, Валерию Михайловичу, Еремей питает чувства искреннего уважения и доверия, — но смешанные с кое-каким покровительственным отношением, то по адресу отшельника у Еремея примешивается страх. Чем ближе караван подходил к пустынножитию отца Петра, тем более Еремей проявлял признаки какой-то неуверенности — словно школьник перед экзаменом.

— А кто, собственно говоря, такой, этот отшельник? — спросил Валерий Михайлович. — Монах?

— Кто его знает, — сумрачно ответил Еремей. — Святой человек. Вот сами увидите, что тут говорить...

Вьючная тропа перешла в звериную тропку, кони цеплялись вьюками за нависшие ветки, пробирались через маральник, и, наконец, перед взорами каравана открылось нечто вроде полянки.

С севера полянка перегораживалась отвесно падавшей каменной стеной — вышиной в несколько сот метров. В этой стене, на уровне земли, виднелись: плотная деревянная дверь с набитым на нее восьмиконечным крестом — тоже дере-

вянным, и два окна — одно справа, очень низкое и широкое, другое слева — поменьше. В нескольких метрах от двери, откуда-то из горы падал на полянку и перерезывал ее, веселый и жизнерадостный ручеек. Рядом, отгороженный плетнем, расстилался небольшой огород. Дверь была заложена деревянным бруском и на полянке не было никого.

— Нету дома отца Петра, — со вздохом сказал Еремей, — придется подождать.

— Раньше коней развьючим, — мрачным тоном заметил Потапыч.

Федя, однако, начал уже развьючивать коней, не дожидаясь ничьих указаний. Все четверо занялись тем же. Почти весь караван был уже развьючен, когда Еремей сказал:

— А, вот и отец Петр идут.

Тон его с очень большой степенью точности соответствовал тону дежурного по классу гимназиста, возвещающего приход экзаменатора. Из зарослей тайги на полянку вынырнул человек довольно неожиданного для Валерия Михайловича вида.

Это был невысокого роста очень плотный человеч, лет больше пятидесяти, с лицом, изрытым оспой, с небольшой черной — уже с проседью бородой и с темными слегка выпученными глазами. Одет он был — как все в тайге, только на груди висел медный крест. Несколько позже Валерий Михайлович установил, что крест не висел, а был пришит.

За спиной у отца Петра висел ясно выраженный самострел, такой, каким в свое время воевали люди при переходе от лука к мушкету, только деревянный. В левой руке отца Петра висела связка диких уток. Голова у отца Петра была выбрита начисто, и голый череп загорел, как у негра.

Еремей тщательно вытер руки о штаны и подошел к отцу Петру:

— Благослови, отец!

— Во имя Отца и Сына и Духа Святого.

Тот же ритуал проделал и Федя. Потапыч, неохотно подняв голову от вьюков, буркнул:

— Здравия желаю.

Валерий Михайлович счел наиболее целесообразным подойти к отшельнику и молча протянуть ему руку. Подходить под благословение было бы как то неуместно, а представляться „такой то и такой то" было бы еще нелепее.

Отшельник протянул Валерию Михайловичу руку и по-

смотрел на него как то мимоходом. Взгляд у отца Петра был несколько странный, одновременно и пристальный и какой то словно бегающий. Как будто он пристально, но очень спешно хотел осмотреть целую массу вещей. Выпустив руку Валерия Михайловича, отшельник все тем же пристальным и как будто бегающим взглядом осмотрел весь караван.

— А пятый ваш где? — спросил он суровым тоном. И недожидаясь ответа, тем же тоном продолжал:

— Вы, Валерий Михайлович, напрасно пустили человека. Совершенно напрасно. Теперь он в очень опасном положении...

При упоминании имени и отчества Валерия Михайловича даже Потапыч поднял свою голову от вьюков, и на его меднокрасной роже выразились: сначала изумление, потом комплекс чувств, который можно было бы сформулировать так: „ну, на то и жулик, жулики — они всякие фокусы знают". Сам Валерий Михайлович при своей привычке к почти молниеносным логическим заключением, предположил самое простое: отшельник был где-то в лесу, невдалеке от каравана, а еремеевский голос был слышен на достаточно далекое расстояние. На лицах Еремея и Феди не отразилось решительно ничего: сверхестественные способности отца Петра для них разумелись само собою. Однако реакция Еремея была довольно неожиданной даже и для Валерия Михайловича.

— Тащи, Федька, винтовку, брось твои вьюки... Уж я ему, сукину сыну, морду набью, так то и так, — тут Еремей запнулся.

— Не богохульствуй, Еремей, — сказал отец Петр, подняв вверх указательный палец правой руки.

— Да я ж ему... говорил. — Крепкие слова, казалось, раздули грудную бочку Еремея, как крепкий квас. — Я его...

Еремей посмотрел на поднятый горе перст отца Петра, сделал глотательное движение, сжал челюсти и так сказать заткнул свою бочку.

— Бери, Федька, винтовку... Сукин сын, — а надо выручать. Морду ему, отец Петр, вы уж не серчайте, я уж набью, говорил я ему...

— Еремей, не богохульствуй, — снова повторил отшельник.

Еремей сделал новое глотательное движение.

— А вы не можете более точно сказать, что это за опасность? — вмешался Валерий Михайлович.

— Нет, более точно не могу сказать. Большая опасность. Смертельная опасность.

Грудная бочка Еремея опять дошла до точки взрыва:

— Я ж ему...

— Еремей, не богохульствуй. Что ты знаешь? Что есть к добру, а что есть ко злу? Человек не для зла пошел. Человек для любви пошел. Пути Господни неисповедимы.

— Вынь из того, вон, вьюка хлеба и сала, — сжатым голосом сказал Феде Еремей.

Валерий Михайлович молча взял приставленную к древесному стволу винтовку.

— Вам итти не нужно, — суровым голосом сказал отец Петр. — Те справятся. Бог будет с ними, и я о них буду молиться. На, Федя, возьми мой самострел.

Отец Петр снял из-за спины свой самострел, — к нему был привязан колчан с полдюжиной стрел.

— Возьми это, — повторил отец Петр, — это выручит. Потом отец Петр, как-то растерянно и беспомощно посмотрел на вьюки, на коней, на Еремея с его спутниками — как будто-то он глазами искал что-то — и не находил.

— Странно, совсем странно, — сказал отец Петр. — Там, кроме этого вашего человека, — еще кто-то. Важный. Очень важный. Враг. Очень враг. Где-то на дереве. Или на горе. Словно при смерти. Вы его встретите. Не троньте его. Не убивайте. Не знаю почему... Не видно.

Потапыч потихоньку плюнул и вытащил из вьюка дробовик.

— Так я, папаша, пока что пойду, рябков постреляю.

Валерий Михайлович, с винтовкой под мышкой, не знал, что ему, собственно, надлежит предпринять. Конечно, надо итти с Еремеем.

— Отец Петр, — сказал он спокойным, но решительным тоном, — третья винтовка во всяком случае не помешает, так что если вы позволите, я иду вместе.

— Нет, нельзя, — сказал отец Петр категорически. — Сказал — нельзя, значит, нельзя. — И потом — снова совсем недоуменным тоном: — Нет, нельзя. Не выходит. Если пойдете, все как-то по иному. Плохо по иному. По другой линии все пойдет. Что-то запутается. Так — лучше пусть идут двое. Как этого — вашего товарища?

— Степка, — мрачным тоном сказал Еремей.

— Степка жив будет. А эта туша, — отец Петр кивнул головой в сторону улизывающего в тайгу Потапыча — эта

туша пусть рябков стреляет. Будет он их помнить, этих рябков.

— Айда, Федя, пошли, — сказал Еремей.

— Постой еще, — приказал отец Петр. — Постой.

Все остались стоять — кроме Потапыча, хруст шагов которого удалялся в тайгу и который так и не услыхал таинственного предупреждения отца Петра. Стояли Еремей с Федей, стоял Валерий Михайлович, чувствуя себя в довольно глупом положении, что с ним случалось редко, стоял и отец Петр, как будто вспоминая: не забыл ли что-нибудь. Все молчали.

— Вы, вот что, — сказал отец Петр, как будто вспомнив забытое, — Вы через перевал не ходите. Через расщелину тоже не ходите. Аркан у вас есть?

— Есть, — мрачным голосом ответил Еремей.

— Возьмите аркан. Идите левей, знаете, там можно спуститься. Что-то там новое. Неладное. Ох, неладное, Ну, идите. Благослови вас Бог.

Еремей и Федя опять подошли под благословение и сейчас же исчезли в тайге.

Отец Петр стоял попрежнему, как будто растерянный, как будто что-то вспоминая. Валерий Михайлович чувствовал себя совсем глупо. Эх, нужно было пойти с Еремеем: перспектива провести целый день с каким-то кудесником, то ли святым, то ли просто жуликом, ему никак не улыбалась. В существование модернизированных святых он вообще не верил, а жуликов он, по его мнению, видел в своей жизни вполне достаточно. Однако — выхода не было. Пойти вместе — значило бы испортить всю инстинктивную, таежную уверенность Еремея. Последовать разумному примеру Потапыча и удрать в тайгу было бы невежливым. Валерий Михайлович старался быть вежливым решительно во всех случаях своей жизни и решительно во всех случаях его жизни ему это удавалось.

Отец Петр, оторвавшись от своих мыслей, повернулся Валерию Михайловичу, посмотрел на него своим суровым и пронзительным взором. Ни суровость, ни пронзительность не произвели на Валерия Михайловича ровно никакого впечатления. Тем же суровым и пронзительным тоном отец Петр спросил кратко:

— Водку пьете?

Валерий Михайлович даже обозлился: какое дело этому пустынножителю до того, пьет ли он, Светлов, водку или не

пьет? Валерий Михайлович ответил неопределенно и дипломатично:

— Бывает.

— Я вас спрашиваю, ,— продолжал отец Петр все тем же тоном, — не для исповеди, а для закуски. С закуской — пьете?

— С закуской пью, — признался Валерий Михайлович.

— А такая вещь, как копченый омуль, маринованный в кедровом масле с брусникой и грибками вам известна?

— Нет, — признался Валерий Михайлович, — такая вещь, как копченый омуль, маринованный в кедровом масле с брусникой и грибами, мне неизвестна.

— Никогда не пробовали?

— Никогда не пробовал.

— Сегодня вы попробуете в первый раз в вашей жизни. Идем домой.

Отец Петр наклонился, поднял своих уток и бодро и решительно зашагал к пещере. Валерий Михайлович последовал за ним с чувством некоторого облегчения. Жулик, вероятно, будет занятный. Теперь, после исчезновения Еремея, он говорил совершенно культурным русским языком, и к великому облегчению Валерия Михайловича вовсе не пытался его благословлять.

Пещера оказалась новой неожиданностью. В сущности, это была не пещера, это было углубление в скале, впереди застроенное каменной стеной. Внутри это была довольно большая продолговатая комната. Слева, в углу, почти у большого окна стояла кровать — не „ложе", а просто кровать. Хорошая кровать. Настоящая. С подушками, одеялом, простынями и всеми иными приспособлениями. Около нее, у внешней стены, между ней и дверью, стоял стол — тоже хороший стол. Посередине комнаты стояла печь — несколько необычного типа — так сказать, не стоячая, а лежачая. Было кресло. Не совсем настоящее — клубное, но по всей вероятности очень комфортабельное, его дубовый остов был обтянут медвежьей шкурой. В красном углу висел образ Христа Спасителя и перед ним чуть виднелся огонек лампадки. Самое странное, впрочем, заключалось в двух электрических лампочках, из которых одна висела над кроватью, другая — над креслом. У стены стояли полки, завешенные маральими шкурами: Валерий Михайлович готов был поклясться, что на полках стояли книги. Валерий Михайлович начал не понимать ничего.

Отец Петр положил на пол своих уток и сказал совсем иным тоном.

— Так что вы, Валерий Михайлович, — поставьте вот сюда свое оружие и усаживайтесь в кресло. Я сейчас займусь всеобщей мобилизацией — у меня, кроме электричества, и ледник есть — вот посмотрите.

Только сейчас Валерий Михайлович заметил, что у правой стены стояла бочка с водой, что в эту бочку из одного желобка лилась вода и выливалась вон через другой желобок. В той же стенке была низенькая дверца, в которую и нырнул отец Петр. Оттуда раздался его заглушенный голос:

— Здесь вода из глетчеров. На ручейке — колеско и динамо от старого мотоцикла — я, видите ли, по образованию инженер, правда, — химик, здесь холодильник и кладовая. А вот и омули.

Отец Петр показался из дверцы, держа в руках огромное блюдо.

— Если не хватит — можно уток на вертеле поджарить.

— Я полагал, — сказал Валерий Михайлович, — что отшельникам подобает умерщвление плоти.

— Подобает. Только не русским. Это хорошо в Египте. Попробуйте вы здесь — умертвите в две недели. Здесь, батюшка, Сибирь, а не Египет. Вот — стукнет сорок градусов — попробуйте умерщвлять!

— Нет. Я не собираюсь.

— А почему я обязан собираться?

— Так я ведь не отшельник.

— А что есть отшельник, дорогой вы мой Валерий Михайлович? Вы в мире еще больший отшельник, чем я, — разве неправда?

Валерий Михайлович внутренне согласился с тем, что это, действительно, правда. Отец Петр поставил на стол блюдо с омулями, вернулся к дверце, засунул туда руку и извлек зеленого стекла бутыль. Потом появились тарелки, хлеб и все прочее. Валерий Михайлович чувствовал, что в этом медвежьем кресле сидеть, действительно, очень удобно и что день с отцом Петром может быть не столь скучным, как это ему казалось минут десять тому назад. В комнату вливался рассеянный свет горной осени, в самой комнате было как-то спокойно — светло, безукоризненно чисто, в ее темном углу поблескивала лампадка и из-за лампадки Древний Образ снисходительно смотрел на человеческие слабости, расставленные на столе.

— Давайте, прежде всего, выяснять недоразумения, — сказал отец Петр, усаживаясь на кровать у стола. — Ваше лицо, имя и отчество я знаю просто по литературе: вы — ученик профессора Карицы и по великой мудрости своей вернулись с ним в Москву. Больше я о вас не знаю ничего.

— А вот эта опасность? Умозаключение или попытка угадать?

— Ни то, ни другое. Это длинная история. И люди напрасно называют это ясновидением: ясно не видно ничего. Но кое-что все-таки видно. И в случаях, приблизительно, девяноста из ста, это совпадает с действительностью.

— В девяноста девяти случаях из ста — это только жульничество.

— Но сотый случай вы признаете?

— На сегодняшнем научном уровне этого нельзя не признать.

— Больше ничего от вас и не требуется. Сотый случай — это я.

— Угу, — сказал Валерий Михайлович.

— Таким образом, — продолжал отец Петр, — ваш Степка, действительно, находится в очень опасном положении. Или — будет находиться, — тут опять неясно. Но кем мог бы быть этот человек?

— Какой?

— Тоже как то неясно. Высокий. Грузный. Важный. Имеет к вам какое-то отношение — враждебное отношение. И все таки как-то вам будет нужен. Сейчас находится в каком-то совершенно безвыходном положении и где-то на пути Еремея и его сына.

Валерий Михайлович недоуменно пожал плечами.

— Вы говорите, как цыганка-гадалка.

— Цыганки-гадалки не всегда говорят вздор. Я не говорю никогда. И если вы усвоите себе эту последнюю истину, то и нам будет легче разговаривать и вам будет легче действовать.

Отец Петр отставил в сторону налитый стаканчик и сказал совершенно иным тоном, — тоном, который снова вверг Валерия Михайловича в полное недоумение — еще больше, чем вопрос о водке. Тон был не то, чтобы пронизывающий, а проникающий, теплый, интимный и больше, чем дружеский.

— А на сердце у вас, Валерий Михайлович, — большое горе. Ох, большое. Два горя, Валерий Михайлович — одно

общее, другое — ваше. И вы ваше подчиняете общему. Правда?

Валерий Михайлович почувствовал нечто вроде уязвленного самолюбия: кому какое дело? Никому он своего горя не демонстрировал и демонстрировать не собирается. Да еще и этому — то ли инженеру, то ли священнику, то ли жулику, то ли шаману. Валерий Михайлович посмотрел на отца Петра и в его глазах увидел точно две тихих лампадки и скрытый за ними Древний Образ. Валерий Михайлович как-то против своей воли кивнул головой:

— Правда.

— Вы — ученик Карицы. Он сидит, так сказать, в плену. Вы, вот, очутились в глуши Алтая. У вас были родные. Может быть, жена? Может быть, невеста? Это не ясновидение — это логика. Если она была, то она...

— Заложницей, — сказал Валерий Михайлович.

— Та-ак, — сказал отец Петр и помолчал.

— У вас нет от нее никакого сувенира? — спросил отец Петр. — Какой-нибудь вещи, с ней связанной? Это облегчает.Я вам говорил: в девяноста случаях из ста. Сейчас, если у вас это есть, я вам гарантирую все сто.

— Что можете вы сказать? — голос у Валерия Михайловича звучал как-то устало, словно старая, годами наболевшая мысль, вырвалась на поверхность и отравила все.

— Не знаю еще, что. Но я знаю: вы, Валерий Михайлович, как в Шехерезаде: выпустили злого духа и теперь пытаетесь поймать его, как мальчишки ловят мух, — вот так, — отец Петр показал рукой, как мальчишки ловят мух в воздухе. — Одну вы поймаете. А сколько их в мире останется?

— Это верно, — глухо сказал Валерий Михайлович.

— Если вы подчините общее горе своему горю — вы не достигнете ничего.

— И это, может быть, верно.

— Не может быть, а просто верно. Ваша воля будет расколота. Сейчас она — как острие. Есть ли при вас какая-нибудь вещь, связанная с вашей женой. Или невестой?

— Женой, — сказал Валерий Михайлович.

— Дайте мне в руки эту вещь.

Валерий Михайлович словно в гипнозе, расстегнул ворот рубашки. На тонкой стальной цепочке висел медальон. Валерий Михайлович раскрыл его:

— Вот. Прядь.

У отца Петра слегка дрожали руки. Он взял в пальцы

раскрытый медальон и закрыл глаза. Валерий Михайлович сидел неподвижно, и у него было такое же ощущение, какое, вероятно, было у Еремея, сдавившего в своей грудной бочке соответствующие выражения по адресу Степки. Как и Еремей, Валерий Михайлович сделал глотательное движение и сжал челюсти...

— Ваша жена, — сказал монотонным голосом отец Петр, — находится в полном здоровьи и в полной безопасности пока. На время. Гроза собирается где-то. Все думает о вас...

Валерия Михайловича как-то передернуло. Передернула и мысль, что ведь и в самом деле, могло бы быть, что Вероника о нем думать перестала — как он пытается перестать думать о ней, — где-то внутри не забывая ее ни на один момент своей жизни. И только сны, разрывающие последовательность логики и силу воли — фантастическими образами напоминают об этих по существу никогда не затухающих мыслях. Валерия Михайловича передернул и тон отца Петра, — таким тоном могла бы говорить любая цыганка, — но разве любой цыганке он дал бы медальон?

— Странно... Совсем странно. Как-то мелькает вот тот человек, о котором я только что говорил Еремею. И сын Еремея. Еремей будет в большой опасности, очень большой. Из-за вас. Да... Светлая чистая комната. Решеток на окнах нет.

— Их нет, — сказал Валерий Михайлович — это Нарынский научний изолятор.

— Ах, вот! Слыхал. Во всяком случае — вашего злого духа не поймали и они. Пока еще не поймали.

— Это и я предполагал.

— Я не предполагаю пока ничего. Ваша жена с кем-то работает. Это — сумасшедший.

Валерий Михайлович снова начал ощущать нечто вроде раздражения. В частности — и на самого себя. Об этом отце Петре он никакого понятия не имеет и, вот, дал ему повод то ли к откровенности, то ли к чемоу-то вроде соучастия. Все то, что до сих пор сказал отец Петр, не выходило за рамки обычной цыганки на базаре. Валерий Михайлович был достаточно осведомлен о технике этого предприятия: клочки наскоро собранной информации и на этой канве „предсказания", из которых заинтересованные лица удерживают в памяти только то, что сбылось. Вот, разве только опасность, угрожающая Степке? Да и ее можно было предусмотреть, не прибегая ни к каким потусторонним силам. Отец Петр

как будто почувствовал ход мыслей Валерия Михайловича. Он поднял на него свои чуть-чуть выпученные глаза. Их пристальный, так сказать, проникающий взор безнадежно уперся в светлосерую сетчатую оболочку светловских глаз: эти последние не выражали решительно ничего.

Отец Петр слегка пожал плечами.

— Все-таки — странно. Еремей натолкнется на какого-то крупного человека. Это ваш враг. Еремей спасет его, а он как-то спасет вас. Странно.

— Какой человек? — довольно равнодушно спросил Валерий Михайлович.

— Крупный, массивный, трудно сказать, крупный ли по положению или только по сложению. Может быть, — и по тому и по другому...

— Под данное описание подходит только один человек, — довольно равнодушно сказал Валерий Михайлович.

— Это — Медведев?

Равнодушние Валерия Михайловича было слегка поколеблено:

— А вы слыхали о Медведеве?

— Я в этой дыре очень многое слыхал, — чуть-чуть уклончиво ответил отец Петр. Я, например, кое-что знаю о Бермане и о вашей встрече с ним.

Валерий Михайлович вспомнил анекдот о великом английском актере Кине, который подал крупную милостыню нищему — и объяснил это так: — Этот человек или действительно совсем нищ или гениально играет нищего — помочь ему нужно и в том, и в другом случае. Отец Петр или был ясновидящим, или гениально играл роль ясновидящего. Поговорить с ним стоило и в том, и в другом случае.

— Я никак не хочу вводить вас в заблуждение, Валерий Михайлович. Есть вещи, которые я знаю, так сказать, обычным информационным путем, — хотя, впрочем, и этот путь не совсем обычен. И есть вещи, которые я, действительно, знаю путем — ну, называйте, как хотите — ясновидения, или, как теперь принято говорить: „психического телевидения". О Бермане я знаю просто. А если там где-то на перевале, действительно, застрял Медведев, то это уже из области четвертого измерения. Поэтому я вам прежде всего предлагаю помыться.

— Я, по мере возможности, купаюсь каждый день, — сказал Валерий Михайлович, несколько удивленный прыжком от четвертого измерения к мытью.

— Допускаю. Но здесь, рядом, есть горячий сернистый ключ. При нем запруда — вроде ванны. Я вам дам мыло, халат, туфли и прочее. Выкупайтесь, — вы очень устали. Потом мы будем пить водку, есть омулей и разговаривать. Один культурный человек раз года в два — этого мало даже и для отшельника...

— Простите — вы лицо духовного звания?

— Нет. Я, так сказать, отшельник диллетант. Что же касается водки, то ее, как известно, и монаси приемлют. Потом сможете раздеться и лечь спать по-человечески. Раньше завтрашнего утра Еремей не вернется — с раненым это не так скоро.

— С каким раненым?

— Разве я сказал „раненым"?

— Сказали.

— Ну, значит, будет раненый. Ничего, вылечим, — сказал отец Петр бодрым тоном, вскочил с постели, достал беличий халатик, такие же туфли и, немного подумав, извлек откуда-то довольно жесткую щетку...

— Думаю, и щетка пригодится...

Валерий Михайлович еще раз осмотрел пещеру: о столь модернизированных отшельниках он еще не слыхал.

— Скажите, — спросил он чуть-чуть насмешливо, — а радио у вас есть?

— Есть, сказал отшельник. Можете принимать и Огненную Землю. Я кое-что принимал из ваших разговоров, но не все мог расшифровать. Поговорим после купанья.

Отшельник бодро вышмыгнул на двор и Валерий Михайлович недоуменно последовал за ним. О святом отце Еремей, видимо, имел не вполне адэкватное *) представление...

ЛОГИКА ЖИЗНИ

Шагах в сорока от пещеры струился из расщелины крохотный ручеек, запруженный небольшой плотиной. Получалось что-то вроде ванны. Над ванной стоял легкий дымок. Отшельник заботливо показал, куда класть и вешать одежду и с одобрением посмотрел на жилистую конструкнию Валерия Михайловича.

— Вы хорошо тренированы, но только не пытайтесь угнаться за Еремеем и потомками его...

*) соответственное реальности

Валерий Михайлович постепенно влез в почти обжигающую воду, и вытянулся в ней во весь свой рост. Тело покрылось пузырьками газа, и отец Петр, пожелав „легкого пара", ушел:

— Я пока трапезу приготовлю.

„Трапеза" обещала быть лукулловской. Если бы Валерию Михайловичу часа за три тому назад сказали, что в необитаемой щели Алтая он найдет „отшельника-диллетанта" и его келью, оборудованную так, как оборудован самый современный американский коттедж, — Валерий Михайлович, конечно, не поверил бы. Но и отшельник и его келья были налицо. И от американского коттеджа келья отличалась, может быть, только тем, что кроме беспроволочного телевидения, отшельник занимался еще и „психическим".

Все это было раздражающе нелогично. Почти месяц тому назад совершенно случайная встреча с Потапычем куда-то повернула все пути Валерия Михайловича. Да и в этой совершенно случайной встрече был еще дополнительно случайный элемент — винтовка Потапыча, приставленная к стволу дерева. Если-бы винтовка была в руках Потапыча, то по всем разумным данным дело кончилось бы стрельбой „с роковым исходом", как говорится в таких случаях в уголовной хронике газет.

Но встреча все-таки случилась, случилось и так, что Потапыч не имел времени схватиться за винтовку. И, вот, теперь: Еремей, встреча со Степкой, беседа с Берманом и, наконец, — наконец-ли? — этот отшельник — то-ли жулик, то ли святой. Возможность того, что отец Петр состоял просто на службе в НКВД, была все-таки не совсем исключена. В таком случае Валерий Михайлович рисковал после лукулловской трапезы очутиться более или менее непосредственно в объятиях то-ли Медведева, то-ли Бермана.

Валерий Михайлович обсуждал и эту возможность. Технически она казалась ему совершенно невероятной: до перевала даже при медвежьих ногах Еремея не меньше шести часов. Туда и назад — двенадцать. По дороге на перевал где-то идут Еремей с сыном. На самом перевале, кроме, может быть, какого-нибудь патруля, случайно перешедшего через советскую границу, — не может быть никого. Сам отшельник знает о нем, Валерии Михайловиче, больше, чем можно было-бы предположить при любом усилении воображения. Нет, агентурой НКВД здесь не пахнет...

Валерий Михайлович слегка успокоился и не без неко-

торого удовольствия осмотрел свое тело. К нему он относился с суровой вежливостью, не баловал, но и не забрасывал. Приятно было ощущение сильной и отдыхающей в горячей воде мускулатуры. Менее приятны были размышления о логике жизни вообще.

Когда-то, очень давно, жизнь казалась ему вполне логичным процессом, из которого нужно было только удалить все то иррациональное, которое даже и он, Валерий Михайлович, называл по тем временам суеверием. Или пережитками суеверий. Все было очень логично и замечательно просто: каждый шаг по пути науки и прогресса „освобождал человечество" от таких-то и таких-то суеверий, пережитков, гнета, неравенства, несчастья. Он, Валерий Михайлович, сделал много шагов. И „освобождая человечество", сидит сейчас в Алтайской щели, как загнанный и раненый волк, жена сидит в Нарымском изоляторе, миллионов десять-пятнадцать „освобожденных" людей — сидят в таких-же местах, и „прогресс", „освобожденный" им, Валерием Михайловичем, от пут всяческих суеверий и всяческой невежественности, угрожает подвергнуть мир судьбе экспериментальной молекулы: разложить его на атомы.

Все-таки приятно было вытянуться в горячей воде. Пузырьки газа покрыли все тело мелким жемчугом, легкий пар дымился над водой. Валерий Михайлович почти с наслаждением чувствовал... по немецки это называется Entspannung, *) — по-русски, кажется, даже и слова такого нет: тело отдыхало после непрерывного перенапряжения последних недель. Вот — если бы люди выдумали такую ванну для мозга!...

Валерий Михайлович снова вспомнил кантовскую „Критику Чистого Разума". Что есть разум и что есть чистый разум? В детских воспоминаниях Валерия Михайловича была одна страница, из которой то и дело выглядывал какой-то иронический бесенок и издевался над всяким разумом вообще. Страничка была неприятной, хотя ничего особенного в ней не было. Просто, в дни своей очень ранней юности Валерий Михайлович, как и все мальчишки, занимался всякой ерундой: строгал, пилил, клеил, что-то мастерил и портил все, что ни попадалось под руку. Мать, желая направить его индустриальную энергию на нечто общеполезное, поручила ему наточить нож. В каждом хозяйстве есть особо

*) „Растормаживание", ослабление напряжения.

привиллегированный нож, сточенный до ширины двух-трех сантиметров и пользующийся особенным уважением хозяйки. Поручая Вальке это сокровище, мать настрого наказала: точить нож только на мокром точиле. Валерий Михайлович — лет ему тогда было что-то около десяти-двенадцяти, совершенно естественно считал мать живой коллекцией всяких предрассудков, суеверий и вообще ненаучного мышления — научным образом мышления Валерий Михайлович начал заниматься очень рано. Привиллегированное положение ножа казалось ему предрассудком: не все ли ножи одинаковы? А вопрос о мокром точиле был однозначущ с чем-то вроде освященной воды: в этом истинно научном возрасте будущий Валерий Михайлович был убежденным атеистом. Мамаша все-таки считала его вундеркиндом, папаша полагал, что его нужно пороть по меньшей мере каждую субботу: хороший был обычай в старину. Но это было чистой абстракцией, и единственные меры, принимавшиеся папашей против будущего Валерия Михайловича, заключались в том, что ружья, патроны и прочее папаша держал под замком и ключ от замка прятал на ночь под подушку.

Будущий Валерий Михайлович был уже знаком с основами физики и знал законы клина. Лезвие ножа, конечно, целиком подпадало под действие этих законов. Вода же была тут совершенно не причем; нужно было сделать нож острым, то-есть, дать лезвию осоответствующую форму клина.

... Уже в тот же день оказалось, что нож резать не хочет. Возникла дискуссия относительно воды, суеверия, науки и всяких таких вещей. Нож упорно стоял на точке зрения суеверия. На шум дискуссии вошел папаша. Ознакомившись с предшествующими событиями, папаша повторил свое сакраментальное: „пороть нужно".

Будущий Валерий Михайлович был искренне обижен. Запертые на ключ ружья, патроны и прочее он еще кое-как понимал. Но нож? Нож был наточен по правилам науки, при чем тут порка?

— А при том, — пояснил папаша, — что если тебе мама говорит, то ты уж делай так, как она говорит, мозги у тебя воробьиные и ничего ты не понимаешь.

Это пояснение будущего Валерия Михайловича не устроило.. Тогда папаша объяснил ему разницу между железом и сталью, некие принципы закалки этой стали, а также и причину того, что инкриминируемый нож — практически не

годится больше никуда: закалка была ликвидирована отточкой его на сухом точиле.

Это был первый удар по научному мировоззрению будущего Валерия Михайловича, но от этого удара он довольно скоро оправился: в десять-двенадцать лет всей науки знать, конечно, нельзя. Вот подрастет он — и узнает всю науку — и физику клина, и химию стали.

Валерий Михайлович подрос. Сейчас, сидя в горячей сернистой воде какого-то Богом и географией забытого Алтайского ущелья, Валерий Михайлович понимал, что если в мире есть люди, имеющие равную ему научную эрудицию, то этих людей, во всяком случае, очень немного. Немного есть людей, которые могли бы стать рядом с ним по силе воли, упорству и идейности: для себя Валерий Михайлович хотел очень немного, и это немногое ни за какие деньги купить было нельзя. Следовательно: все его знания, вся его эрудиция, вся его сила воли и вся его идейность — привели только к тому, что на этот раз вместо ножа он испортил что-то неизмеримо большее. Или: принял участие в том, что что-то неизмеримо большее испорчено, может быть, вконец.

Тогда, мальчишкой, Валерий Михайлович знал, — или думал, что знал, — физику. Но не знал химии. Позже он знал и химию и физику и философию, — что получилось? Может быть, и в самом деле отец Петр знал нечто, что стояло над физикой, химией и философией, — точно так же, как тогда законы закалки стали оказались стоящими выше примитивности законов клина? Папаша Валерия Михайловича запирал от своего потомка ружья, патроны, пистоны, порох, револьверы и прочее. Может быть некто делал так же разумно, пряча от Валерия Михайловича законы внутри-атомной энергии или законы социального общежития? И, может быть, он, Валерий Михайлович, с довольно большой степенью точности повторил некоторые открытия своих сверстников — забрался в отцовский шкаф и занялся исследованием свойств самовзводного револьвера системы Смит и Вессон? Один из его, Валерия Михайловича, сверстников, повидимому повторил его научный ход мыслей: забрался в ящик отцовского письменного стола, достал револьвер и так как курок был опущен, то, повидимому, никакой опасности в этом револьвере не усмотрел. Повидимому, — ибо подробности этих научных изысканий так и остались неизвестными для истории науки: мальчишка был найден около стола без всяких признаков жизни. Именно по этому поводу папаша Ва-

лерия Михайловича любил ссылаться еще на один добрый старый обычай: когда старосветский помещик закладывал фруктовый сад, то из окрестностей сгонялись все соответствующего размера мальчишки и подвергались, так сказать, превентивной порке. Впрочем, как сознавался и папаша, — это не помогало.

ФИЛОСОФИЯ ОТЦА ПЕТРА

— Вы живы или успели утонуть?

Валерий Михайлович вылез из горячей ванны не без некоторого сожаления.

— А теперь, рекомендую вам — под холодный душ — вот здесь.

Валерий Михайлович последовал рекомендации отца Петра: из стены пещерки выливалась струя ледниковой воды. Через несколько минут Валерий Михайлович почувствовал себя словно омоложенным и обновленным. Даже „Критика чистого разума" как-то потеряла свой интерес — перспектива омулей, маринованных в кедровом масле, была более актуальной.

В пещерке горела печка и от печки несся провокационный запах жареных рябчиков. Отец Петр быстро и бесшумно витал по пещерке-то ли, как привидение, то ли, как мышь. Стол был довольно плотно уставлен всякой снедью — и возвышаясь на несколько голов над нею, — стояла бутыль.

— Видите-ли, Валерий Михайлович, — пояснил отец Петр. Ничего — слишком. Уединение — хорошая вещь, но тоже — не слишком. Не добро человеку единому быти. Садитесь, вот сюда — отец Петр показал на кресло. — Тем более, человеку, вкусившему плод познания неизвестно чего. Мы все вкушаем — совершенно неизвестно, что именно . . .

— Я полагал, что вам известно.

— Больше, конечно, чем вам, — но тоже весьма относительно. Вот — все не выходит из головы тот дядя, которого Еремей должен встретить где-то в ущельи . . .

— Вы уверены, что встретит?

— Почти абсолютно. Девяносто девять и девять в периоде. Но дальше? Дальше какая-то абракадабра . . . Однако — время у нас есть. Сегодня Еремей еще не вернется. Ваш этот толстый — как его? . . .

— Потапыч . . .

— Потапыч попал в какое-то дурацкое положение. Это очень хорошо.

— Почему — хорошо?

— У него ведь тоже „научный образ мышления" — почти, как у вас. Он где-то просто застрял. Завтра мы его вытащим. Ну-с, давайте.

Отец Петр уселся у стола на кровать. Сейчас у него не было ни пристального, „пронизывающего", взора ни повадок — то ли отшельника, то ли знахаря, то ли ясновидящего. Против Валерия Михайловича сидел просто русский человек — правда, видимо, очень культурный, предвкушающий хорощие: выпивку, закуску и беседу.

После первой же экспериментальной попытки с водкой и омулем, Валерий Михайлович констатировал твердо:

— Вы были правы: такой закуски я в жизни не едал.

— А должны были бы знать, что омуль — лучшая рыба в мире, — „ленивы мы и нелюбопытны".

— Даже к закуске?

— Видите сами. Водка же у меня от контрабандистов. Они приходят ко мне, как в справочное бюро. В девяноста случаях из ста мои справки оказываются правильными.

— Словом, вы тут вроде профессиональной гадалки.

— Приблизительно. Но, кроме того у меня есть более или менее постоянная связь с генералом Завойко.

Валерий Михайлович опустил рюмку, уже было поднятую к губам.

Что это — ясновидение или агентура? Сейчас — проникающими и пронизывающими стали глаза Валерия Михайловича. Отец Петр, значит, знал не только о генерале Завойко, но и о связи Валерия Михайловича с генералом Завойко — иначе бы он не выстрелил этим именем? Что еще знал отец Петр? Валерий Михайлович чувствовал, что он попал в глупое, а, может быть, и в опасное положение. К опасным положениям он привык давно, но глупое положение его никак не устраивало. Он положил руки на стол и сейчас уже отцу Петру пришлось почувствовать на себе взгляд: холодный, ясный, сверлящий, как механическое сверло из быстрорежущей стали.

Отец Петр как-то поежился.

— Прошу прощения. Мне, может быть, не следовало начинать такой лобовой атакой. Совсем коротко: я сижу здесь в качестве ясновидящего отшельника, — а, в частности, в моем распоряжении на всякий случай, есть около десяти тысяч

винтовок, которые не имеют обыкновения давать промахов — вот вроде еремеевской. О вас же я знаю: из физикохимической литературы, из моих логических выводов о вашей роли в атомных изысканиях СССР, из моей информации об изоляторе, из сопоставления таких фактов...

Тут отец Петр остановился для рюмки водку...

— ... из сопоставления таких фактов: я в связи с генералом Завойко, который в свою очередь связан с Берманом в его, Бермана, антисталинском зоговоре. Завойко, как вы, конечно, знаете, опирается на вооруженные силы пограничной дивизии. Силы эти ненадежны, — как, впрочем, ненадежен и сам Завойко. Мои силы надежны абсолютно, — можете ли вы представить себе предательство со стороны хотя бы вот этого Еремея?

Предательство со стороны Еремея Валерий Михайлович, конечно, представить себе не мог. Но предательство со стороны отца Петра? Валерий Михайлович сидел неподвижно, положив локти на стол и по прежнему сверля отца Петра своей быстрорежущей сталью.

— Завойко — ненадежен, — продолжал отец Петр. — Он бывал тут у меня под предлогом охоты, и он говорит больше, чем надо. От него я узнал некоторые подробности о вашем „мозговом тресте" и об охоте Бермана за этим трестом. Дальше: тайга, как известно, слухом полнится. Приходят контрабандисты, охотники, приходят шаманы и ламы — вы, вероятно, не знаете, что Алтай является вторым после Тибета очагом ламаитского оккультизма. Шаманы и ламы приходят ко мне и как товарищи по профессии, и как ученики, и как учителя — все это не так просто, как история с вашим отроческим ножом...

— А вы откуда о ней знаете? — Валерию Михайловичу было совершенно ясно, что никакая агентура не могла дать отцу Петру никакой информации об этом детском инциденте.

— Вы, конечно, знаете о лучах Блондло — фотографирование излучений человеческого мозга. При некоторых условиях, редких условиях, и при некоторых данных — очень редких данных — эти излучения другой человеческий мозг может уловить непосредственно. Но, может быть, вовсе и не мозг, не в том дело... Сейчас ваша мысль была, может быть, перенапряжена. И я, стоя у печки с рябчиками, почувствовал, нет, не вашу мысль, а ход ваших мыслей. Случай с ножом, вероятно, оставил очень уж глубокий шрам в вашей психике.

— Оставил, — сказал Валерий Михайлович.

— Я, собственно, не знаю, в чем дело. Но этот нож я даже могу нарисовать — хотите?

Не дожидаясь ответа, отец Петр достал с полки блокнот и карандаш. По тому, с какой уверенностью набрасывал отец Петр свой рисунок, Валерий Михайлович почувствовал очень тренированную руку.

— Вот, посмотрите.

Это был, действительно, тот самый нож. Старый кухонный нож, посередине лезвия проточенный до узкой полоски, с черенком, костяная обкладка которого обломалась в еще незапамятные времена, и медные гвоздики торчали из железной пластинки. Валерий Михайлович помнил, сколько раз и он и его мать царапали себе руки об эти гвоздики... Нет, никакая в мире агентура не могла дать отцу Петру информации и рисунка этого ножа...

— Так что, — как видите, — продолжал отец Петр, — если я могу знать это, то оочевидно, что круг моей информации не ограничивается лишними словами генерала Завойко... И что, следовательно, меня вам опасаться совершенно нечего. Так?

Валерий Михайлович не ответил ничего. Может быть, что область науки отца Петра относилась ко всей науке Валерия Михайловича так же, как законы клина относились к законам термодинамики. И что, следовательно, он, Валерий Михайлович, взялся исследовать револьвер с курком тройного действия: нажал на какой-то спуск, никак не предполагая, что нажим на спуск автоматически взводит курок. Теперь — этот курок опустился. Что дальше? Может быть, и Сталин играл таким же научно обоснованным курком? И с такими же научными предпосылками, как Валерий Михайлович в истории с ножом, молекулой и революцией? Эта мысль была острее всякого ножа: она обезоруживала.

— Мудрость человеческая, — сказал отец Петр, — есть безумие перед Господом.

— Может быть, — и перед человечеством — тоже?

— Все мы — дети, играющие на берегу безбрежности. И все идем в тупик.

— Какой тупик?

— Полный и совершенно очевидный. Вся наша культура построена для того, чтобы снабдить наше тело, которое все равно сгниет через десять или через сто лет, — бифштексами или холодильниками для бифштексов. Лет через сто

или двести для всей суммы этих тел не хватит никаких бифштексов. Ваша наука делает все, чтобы нарушить извечный закон равновесия в природе и отбора лучшего. Она спасает от смерти в младенчестве полуобезьян, которых она же потом делает полулюдьми. Есть ли прогрес в том, что через двести лет на земле будет жить восемь миллиардов людей — беззубых и бессильных, которым нечего будет есть и которые станут истреблять друг друга, чтобы на каждого из оставшихся пришлось по лишнему бифштексу? Человеческий род начал с грехопадения и кончит им. Давайте, что-ли, продолжать. Бифштексов у нас нет, но рябчики уже готовы.

— У вас, кажется, теория не очень плотно смыкается с практикой?

— Всякая теория, доведенная до абсурда, и есть абсурд. В беззаконии значит есмь и во гресех роди мя мати моя. Может быть, — на путях какого-то четвертого или шестьдесят четвертого измерения мы и найдем какой-то выход из тупика. То, что богословие называет чудом, — вероятно, и есть прорыв кого-то в наши три измерения из каких-то иных измерений. Но сейчас нам, конечно, нужно выбраться из атомного тупика.

— Если рассматривать вещи с вашей точки зрения — то зачем? Не все ли равно — через двести лет или через сто лет?

— Нет, не все равно. Ибо, если ваши изыскания попадут в их руки, то пути к иным измерениям, к чуду, к душе будут закрыты на века. Только поэтому. Кажется, в первый раз в истории мира мы открыли нравственную температуру абсолютного нуля — двести семьдесят один градус. Завойко нам изменит, — продолжал отец Петр, снова перепрыгивая от мысли к мысли, — впрочем, Валерий Михайлович уже уловил, что у отца Петра была его особая логическая связь. — Правильная тактика должна быть построена в том допущении, что там моральная температура равна абсолютному нулю.

Чисто абстрактные вопросы Валерия Михайловича в данный момент интересовали мало. Чудовищный механизм атомных заговоров и контрзаговоров растянулся от Москвы до вот этой пещеры, и от Вашингтона до Нарынского изолятора. Прямо или косвенно, в него были втянуты тысячи людей, — советская агентура в Америке и американская агентура в СССР. Оторванные от жизни атомные мечтатели в американских лабораториях и полусумасшедший — сейчас может быть и совсем сумасшедший, гений в Нарынском изоляторе. Сталин дал Берману почти неограниченные полно-

мочия по всему этому атомному комплексу, и Берман пытается утилизировать эти полномочия против Сталина. На вот этаком фоне титанической борьбы откуда-то — поистине из четвертого измерения появляется Степка с его украденным из того-же измерения портфелем товарища Кривоносова,возникает какой-то отец Петр, который, повидимому, и в самом деле видит что-то в этом измерении. Горит охотничий замок в Лесной Пади, и кто-то, вроде Медведева, вот сейчас торчит где-то, то ли на дереве, то ли в яме и таежный медведь Еремей будет — по утверждению отца Петра, спасать кого-то, вроде Медведева, и этот кто-то, вроде Медведева, принесет ему, Валерию Михайловичу, какую-то пользу. Абракадабра...

Валерий Михайлович начинал чувствовать, что его интеллектуальных данных не хватает для того, чтобы охватить весь этот комплекс в его целом. Да и было ли это возможно вообще? Откуда-то — из четвертого измерения возникает событие, которое близорукий человеческий ум трех измерений называет случаем — и которое путает все с такой строгой логикой построенные планы...

— Давайте, сделаем перерыв, — сказал Валерий Михайлович. Он отодвинул тарелку и стакан, вынул из кармана табачницу и стал свертывать папиросу.

— Сверните и мне, — попросил отец Петр. — Я уже много много лет не курю, но иногда приятно...

Оба собеседника закурили.

— Об абсолютном нуле моральной температуры я заговорил, собственно, напрасно — вы сами это знаете не хуже меня. Но в данном случае, в применении к генералу Завойко эта температура имеет конкретное значение. Повидимому Завойко взвешивает цену, по которой он мог бы продаться будущему победителю, а также и шансы сторон на победу.

Валерий Михайлович слегка пожал плечами.

— Берман шансов не имеет никаких. Это должно было быть ясно даже и Завойко.

— Повидимому, не очень ясно. Во всяком случае, я очень рад, что встретил вас.

Валерий Михайлович посмотрел несколько испытующе.

— Да, очень рад, — повторил отец Петр. — Возможно, что я сделал бы большую ошибку. О десяти тысячах винтовок я вам уже говорил. Нарынский изолятор мы могли бы захватить. Что-то меня останавливает.

— Четвертое измерение?

— Вероятно.

— Оно, кажется, и на этот раз право. Дело в том, что караулу дано приказание: в случае опасности взорвать все. Караул не знает, что при этом он погибнет и сам.

— Начальником караула состоит некто Алкснис — латыш, полковник государственной безопасности и человек, который не остановится ни перед чем.

— Насколько я знаю — даже и перед самоубийством.

— Правильно. Ему запрещено покидать стены изолятора. И кроме него, там есть и еще один маниак.

— Алксниса вы считаете тоже маниаком?

— Сейчас было бы затруднительно сказать, кто из нас не является маниаком. Совсем уж нормальным человеком вы, вероятно, не считаете и меня.

— А вы — меня?

— Приблизительно. Мир потерял Бога. Одни его ищут, другие — искать перестали, третьи — стараются стать богами. Я иногда выступаю в качестве исповедника. Один убийца. Одиннадцать человек. Пришел исповедываться: все одиннадцать посещают его каждую ночь. Я стал говорить о Боге, Он говорит: о Боге — после, раньше чтобы мертвецы ко мне не приходили. Ходят мертвецы. Но если нет Бога, то ведь нет и мертвецов.

— Я сомневаюсь в том, чтобы, например, Берману стоило бы говорить и о Боге и о мертвецах.

— Совершенно верно. Поэтому нам ничего больше не остается, как заниматься паллиативами. Раз в год все-таки приятно закурить папиросу.

Отец Петр мечтательным взглядом посмотрел на голубую струйку дыма, медленно таявшего над столом.

— Взрыв изолятора еще не дает решения вопроса: параллельные иследования ведутся еще в трех местах — не говоря уже о том, что все иностранные исследования Кремлю известны достаточно точно. Нужен захват изолятора. Туда стекаются все результаты всех исследований...

— И, кроме того, — сказал отец Петр, — именно там та женщина, локон которой...

— Нет, этого я не принимаю в расчет.

— Сознательно — да. Но самую дневную нашу логику направляет самое глубинное подсознание. Не очень, все таки, легко подписать смертный приговор любимой женщине, если есть другие пути.

— Есть ли?

— А Федя?

Валерий Михайлович круто повернулся.

— Вы, кажется, и в самом деле умеете читать мысли?

— Мысль довольно простая... Кстати, а что случилось с вашим человеком в этом охотничьем заповедникове?

— Отсиживается в какой то пещере. У меня с ним радио — связь.

— Я пытался наладить свою. Пока не удалось... Я сегодня очень устал, Валерий Михайлович. Все эти попытки прорвать окружение трех измерений стоят очень дорого. Завтра, вероятно, притащат вашего раненого...

— Степку?

— Да. Кажется, не очень тяжело. Нужно будет и его на ноги поставить. Вы раздевайтесь и ложитесь вот в эту кровать. Завтра поговорим еще. Я очень устал...

ОПЯТЬ ПЕРЕВАЛ

Еремей и Федя шагали по тайге, как два медведя, каким-то капризом природы вооруженные винтовками. Еремей шел впереди, всматриваясь в каждое дерево, в каждый куст и в каждую травинку. Оба молчали, как и полагается в тайге. Еремей шел без всяких тропок, напрямик, держа путь к той же самой „галдарейке", с высоты которой они еще только вчера втащили того же Степку. Еремей был явно раздражен и от времени до времени бормотал что-то не очень изысканное.

Тайга редела, пошли кустарники, камни, осыпи. Еремей удвоил предосторожности. Где-то за грядой гор слышно было какое-то жужжанье: вероятно, опять самолет. Еремей переменил тактику. И отец и сын — сначала тщательно осматривали всю местность впереди и потом перебегали или переползали от прикрытия к прикрытию. С каждой верстой это становилось все труднее и труднее. Почти ползком оба обогнули скат горы и выползли к началу того, что Еремей называл „галдарейкой": самым удобным наблюдательным пунктом над перевалом. Жужжанье самолета замерло где-то вдали, но если кто-то за чем-то наблюдал, то и для этого кого то галдарейка была тоже самым удобным наблюдательным пунктом. И вот, переползая от камня к камню, Еремей услышал на галдарейке чьи то голоса. Федя весь превратился в слух. Да, голоса были слышны — довольно громкие, но

слов разобрать было нельзя. Было ясно одно: раз где-то летал самолет, то голоса могли принадлежать только пограничникам. Еремей молча показал пальцем на Федины винтовку и самострел. Федя закинул винтовку за спину, сел на землю и натянул тетиву самострела.

Голоса приближались. Точнее — один голос, который перекликался с кем-то, оставшимся позади. Еремей вытащил свой охотничий нож и наскребал с камней целую кучу чахлого горного мха. Отец и сын улеглись между камнями и по мере возможности засыпали себя мхом. Таинственный голос замер, и вот, из-за поворота галдарейки показался сержант пограничной охраны. В руках у него был автомат и во всем облике — напряжение поиска чего-то, — чего именно, — Еремей сообразить не мог.

Если сержант натолкнется на двух ближайших родственников, если будет стрельба, то родственникам придется бежать по почти совершенно открытому месту. Федя поднял самострел. Сержант подвигался все ближе и ближе, но его внимание было, повидимому, устремлено в сторону площадки перед перевалом. На этой площадке он, повидимому, не успел увидеть ничего: стрела из самострела пробила ему голову, и он бесшумно опустился на камни. Федя снова натянул тетиву, и оба снова поползли вперед.

Сейчас галдарейка была видна вся. Была видна и часть площадки. На галдарейке стоял еще один пограничник с биноклем у глаз. Снизу, с площадки, доносились какие-то крики, потом ударил выстрел, а потом другой. Федя снова поднял самострел.

Пробравшись мимо убитого пограничника на свое старое место, Еремей — к суеверному ужасу своему — увидел совершенно такую же картину, какую он видал вчера. В прежнем углу площадки стояли повидимому, прежние самолеты, наискосок по площадке бежали все те же пограничники, только на этот раз Степка, валяясь по камням, судорожно боролся с каким-то пограничником и, повидимому, сдавал в этой борьбе. Еремей поднял было винтовку, но сейчас же опустил ее. До Степки было шагов семьсот-восемьсот. Он и его противник вертелись, как волчки, и попасть в пограничника, не рискуя подстрелить и Степку, не было никаких шансов. К борющимся бежали какие-то другие пограничники, — они, впрочем, были еще довольно далеко, — и со всех четырех ног скакал какой-то конь. — Вероятно, тот самый, — подумал Еремей.

Еремей не очень ясно понял, что именно произошло со Степкой, — пограничник очутился как-то сверху, но в этот момент на него налетел конь. Что стало с пограничником, Еремей точно установить не смог, — но, во всяком случае, тот остался лежать на земле. Степка вскочил на ноги и как-то неловко, точно раненый, вскарабкался в седло. Конь рванулся к перевалу, пограничники стали стрелять. Степка как-то странно припал к шее коня; конь, видимо, раненый, развил совсем уж бешеный галоп — и Степка бессильно, мешком, свалился на землю.

— Ну, теперь, прости Господи, ничего не поделаешь, валяй, Федя.

Из четырех пограничников не успел скрыться ни один. Очень вдалеке — у самолетов, верстах в двух, стояли еще какие-то военные. На всей площадке больше не было видно никого.

По своим долговременным родственным связям и по прочему другому, Еремей и Федя понимали друг друга без слов. Отступая ползком, они оба добрались до неглубокой расщелины в стене. Со стороны самолетов этой расщелины видно не было. Подняться по ней было невозможно, но спуститься, при очень большом навыке в этих делах, кое-как все-таки было можно. Спустившись, оба родственника переползли к той же ложбине,по которой только что полз Степка и добрались до того места, на уровне которого должен был лежать — то ли Степка, то ли его труп. Еремей, прикрывая голову здоровенным камнем, высунулся за край ложбины и шагах в двадцати обнаружили лежащего без движения Степку. Неровности почвы все еще закрывали его от самолетов, с других сторон не было видно ничего угрожающего. Ползком, как уж, Еремей добрался до Степки, кое-как взвалил его на спину и притащил в ложбину. Вид у Еремея был мрачный.

Лицо и грудь Степки — все было в крови. Еремей растегнул ворот степкиной рубахи и осмотрел рану: стоит ли вообще возиться? Оказалось, что все-таки стоит. Степкина грудь была пробита навылет — от левой лопатки под правую ключицу. Еремей поставил свой диагноз:

— Ничего, черти его еще не возьмут.

Еремей связал Степке руки и сквозь эти связанные руки просунул свою медвежью голову. Теперь Степка очутился в роли спинного мешка, а его руки — в роли ремней.

— Айда, — сказал Еремей.

На этот раз Федя пополз вперед, причем оказалось, что

на четырех ногах он двигается только немного медленнее, чем на двух. Еремей полз сзади и степкины ноги болтались по камням. Ложбина вела к той расселине, через которую только еще вчера Светлов и его сообщество перевалили по ту сторону горы, после своей исторической встречи с Берманом. Самолеты совсем исчезли из виду, но Еремей считал что на четырех ногах продвигаться и безопаснее и устойчивее, чем на двух. В самой расщелине можно было итти почеловечьи. Федя шел впереди, держа винтовку на изготовку.

— Батя, ты только погляди, — сказал он тоном глубочайшего изумления.

Под влиянием пережитых забот, у Еремея совершенно выскочило из головы предсказание отца Петра, очень, правда, туманное. Он остановился и посмотрел вверх. На почти отвесной стене ущелья, на высоте метров тридцати-сорока, как бы приклеенный или даже нарисованный — стоял грузный, высокий человек в военной форме, но без оружия и даже без пояса. Он судорожно держался за какой-то чахлый кустик, был смертельно бледен и, повидимому, окончательно выбился из сил.

— Ты там чего делаешь? — крикнул Еремей.

Ответа разобрать было невозможно. Еремей осторожно снял с себя свою ношу. Ноша приоткрыла глаза.

— В горле — пересохши, — сказала она.

— Вот я тебе еще покажу — пересохши, — сказал Еремей. — Ты там чего делаешь? — повторил он свой вопрос.

Приклеенная к стене фигура сделала беспомощный жест свободной рукой. Еремей выругался длинно и искренне.

— Вот, еще черти принесли. Бери, Федя, аркан и полезай.

Федя сложил на землю винтовку, спинной мешок и самострел. Та круча, которя стоила товарищу Медведеву таких сверхчеловеческих усилей, для медвежьих конечностей Феди не представила никаких затруднний. Минуты через три Федя очутился над самой головой товарища Медведева и опустил свой аркан почти над самым его носом.

— Надень под мышки и спускайся, — приказал Федя.

— Так ты же не удержишь, — с отчаянием в ослабевшем голосе сказал Медведев.

— Это я то? Пять таких мешков удержу!

Путем довольно простой цепи логических умозаключений товарищ Медведев пришел к выводу, что никакого иного выхода у него все равно нет. Еще плотнее прижавшись к стенке, он просунул в мертвую петлю аркана одну руку, потом дру-

гую руку и с замиранием сердца посмотрел вниз: если этот парень наверху не удержит, — никаких костей не соберешь. Осторожно нагнувшись вперед, он хотел было уцепиться рукой хотя бы за лежачий камень, но потерял равновесие и, к своему удивлению, недвижно повис в воздухе: парень действительно удержал. Так, вертясь на аркане, товарищ Медведев опустился метров на восемь.

— Сто-о-ой! — заорал снизу Еремей. — Аркана не хватит. Ты тут сам держись, есть за что, а ты Федя, спустись пониже.

Перед глазами товарища Медведева медленно повернулась стена ущелья и на ней оказалась впадина, на которой можно было устоять. Он вжался в эту впадину. Через минуту сверху донесся очередной приказ:

— Ну, теперь давай дальше.

Теперь у товарища Медведева появилась некоторая уверенность. Он опять повис в воздухе, опять перед его глазами закрутились стены расщелины, и после еще двух таких пересадок, он очутился, наконец, на почти совершенно горизонтальной плоскости, которая, впрочем, продолжала кружиться перед его глазами. Ноги у товарища Медведева подкосились и он грузно, как сырой блин, осел на камни. Еремей стоял над ним с видом нескрываемого недоумения.

— Да ты как туда попал?

Товарищ Медведев разинул рот, как рыба, вытащенная из воды, и скромным жестом руки показал, что он даже и говорить не в силах.

Еремей достал фляжку и предложил Медведеву стаканчик водки. Дрожащей рукой Медведев поднес этот стаканчик ко рту.

— В Китай хотел, — сказал он, возвращая стаканчик Еремею.

— Так как же ты это — без ружья, даже без пояса?

Медведев показал рукой на выход из расщелины.

— Там оставил. Думал посмотреть, где можно пройти. Да, вот — погнались...

— Ну, теперь больше не погонятся, — успокоил его Еремей.

Товарищ Медведев попытался собрать весь свой следственный, административный, партийный и прочий такой опыт. Медвежьего вида человек, стоявший перед ним, был, конечно, тем таинственным дуниным папашей, за которым Берман был готов гнаться на край света: другой такой фигурки

товарищ Медведев в жизни своей не видывал. Дунин папаша, конечно, был явлением серьезным — не стал бы Берман из-за пустяков всю тайгу вверх ногами переворачивать. Наличие дуниного папаши объяснило очень многое: и происшествие на мосту, и спасение бродяги, который вот тут же лежит раненый, и некоторые другие вещи. Но не объясняло одного: таинственной беседы Бермана с кем-то — со Светловым, что-ли?

Спрашивать Еремея ни о чем, конечно, было нельзя: это, во-первых, в тайге считается совершенно неприличным и, во-вторых, это могло бы навести Еремея на всякие нежелательные размышления. А может быть, даже и поступки. Товарищ Медведев понимал, что он находится в полной власти у этих двух людей. Что если они узнают его социальное положение, профессию и прочее? Тогда не помогут никакие сказки о Китае. Бродяга мог видеть его, Медведева, в доме номер 13. Дунин папаша — а он, конечно, был участником заговора, мог видеть фотографию Медведева. Пограничники в поисках потерянного начальника могли зайти в эту расщелину — тогда разговоры могли бы принять совсем уж непредвидимый характер. А, может быть, эти два таежника, действительно перебили весь конвой товарища Медведева?

— Погонятся, сволочи, еще слабым голосом повторил Медведев .

Еремей посмотрел на его сверху вниз и не ответил на этот полувопрос.

— Ты, паря, вот что. Мы, вот, этого пока что потащим наверх, ты свои вещи забери, мы вернемся и тебя втащим, так — через полчасика.

Этот проект устраивал Медведева вполне. Федя уже успел спуститься вниз и Медведев чувствовал себя, как человек, попавший в медвежью клетку: съедят — не съедат, — ощущение было неуютным. Медведев слабо махнул рукой.

— Ладно. Спасибо. Бог вам в помощь. Я тут пока отдышусь . . .

Еремей навьючил все свое снаряжение — включая сюда и Степку. Медведев все сидел на земле и никак не мог представить себе, чтобы со всем этим снаряжением человек мог бы пробраться наверх. Федя закинул за спину обе винтовки — свою и отцовскую, и оба таежника поползли вверх. Товарищ Медведев не верил глазам своим. Ему казалось, что по этой круче взберется не всякия ящерица, но и Федя и даже Еремей со Степкой за спиной — карабкаясь всеми своими

конечностями, через несколько минут исчезли за нагромождением скал. Товарищ Медведев вздохнул с облегчением.

***

Сейчас нужно было торопиться. Товарищ Медведев поднялся на ноги, но ноги были еще очень неустойчивыми. Пошатываясь из стороны в сторону, он добрел до устья расщелины. Его вещи лежали там, где он их сложил. На полянке, перед перевалом, лежало несколько трупов: так вот на что намекал Дунин папаша! Значит, через полчаса он вернется за ним — Медведевым. За это время можно было позвать солдат с самолетов и захватить Дуниного папашу живым, — товарищ Медведев не был перегружен такими чувствами, как благодарность.

Однако, сейчас у товарища Медведева не было времени разбираться в каких бы то ни было чувствах. Нужно было разобраться в обстановке. Обстановка казалась товарищу Медведеву чрезвычайно путаной. Какая-то нить, связывавшая Бермана с каким-то заговором, была найдена. Нить, правда, была очень тонка, но она была. Дунин папаша оказался не плодом воспалённого воображения нелепой бабы — Серафимы, а реальностью, — и еще какой реальнастью — пудов этак на восемь — а то и на девять! Не всякому медведю угнаться за таким дядей. Товарищ Медведев даже оглянулся, — не маячит ли где-нибудь эта страшная фигура и не взбрело ли ей в голову вернуться назад и выяснить, так сказать, социальное положение товарища Медведева.

Но никого видно не было. Товарищ Медведев все еще пошатываясь, побрел дальше. Из-под самолета поднялась фигура какого-то пограничника и стала махать рукой вниз, — товарищ Медведев пригнулся к земле. Фигура поползла к нему:

— Разрешите доложить, товарищ командир, тут снова засада. Большие потери, вот посмотрите.

Сержант показал рукой на карниз горы. Оттуда свешивался над обрывом труп пограничника.

— Другие — внизу лежат, перебиты.

Товарищ Медведев тихонько свистнул.

— Сколько вас тут осталось?

— Трое.

— Берите автоматы и — за мной. Нужно залечь вот в той расщелине. Придут двое. Молодого можно подстрелить, старого только ранить — лучше всего по ногам. Айда за мной.

**
*

Еремей и Федя перевалили через хребет и очутились на полянке, поросшей ельником. Степка безжизненным мешком сидел на еремеевской спине.

Еремей сложил на землю свою ношу.

— Тут, Федя, нужно носилки соорудить. Ты сооруди, а я пойду этого толстого вытащу.

— Ой, батя, лучше не ходи!

Еремей посмотрел на Федю слегка изподлобья, — он не любил, чтобы яйца курицу учили.

— Не ходи, батя, — повторил Федя упрямо и тревожно. — И отец Петр сказывал: спасем врага и нужно его бросить. Из товарищей он, а что про Китай, так врал он и больше ничего. Вот коня бы поймать. Да и Степку скорей бы к отцу Петру . . .

Еремей помолчал. Степка со стоном попытался приподняться.

— Опять — в горле пересохши . . .

— Ты уж лежи и помалкивай, чалдон, хвали Бога, что жив остался.

— А Лыско где?

— Должно через перевал пробег, — сказал Федя. — Ничего, найдем.

Еремей махнул рукой.

— Ну и чорт с ними, с этими товарищами, и так уж сколько народу мы тут перепортили. Иди, Федя, коня посмотри, ему далеко не уйти, а я тут носилки сооружу.

— Так на коня можно будет Степку навьючить.

— На коне трясти будет. Катись.



Товарищ Медведев со своими пограничниками пролежал в засаде до самой ночи. Ни Дунин папаша, ни законный наследник его фигуры, так и не появились. На ночь пограничники сползли вниз, в кустарники. Утром товарищ Медведев хотел было произвести разведку местности или, по крайней мере, подобрать раненых. Но полянка перед перевалом была открыта для любого обстрела с горы, а оба предыдущих происшествия никак не предрасполагали товарища Медведева к дальнейшему риску. Нужно было вернуться в Неелово и оттуда снарядить целую карательно-разведывательную экспедицию, — что товарищ Медведев и предпринял.

⁂

В то же утро Валерий Михайлович проснулся с ощущением необычайного комфорта: кровать, подушки, простыни. Отец Петр уже хлопотал у печки.

— Пока что никто не вернулся, — сообщил он. — Хотите помыться?

Когда Валерий Михайлович вышел из пещерки — почти навстречу ему из кустарников показалась целая процессия: Федя и Еремей, между Федей и Еремеем — носилки, за Еремеем какой-то оседланный конь.

— Ну, вот и пришли, — раздался сзади голос отца Петра. — Степка конечно, ранен, сейчас посмотрим.

Лица у обоих Дубиных были утомленные: „Всю ночь шли, объяснил Еремей, и прошлых полдня. Вроде, как и не евши, Степка вот этот все кровью плюет".

— Известно, в горле пересохши, — слабым голосом сказал Степка.

— Тащите его в пещеру, — сказал отец Петр, — там посмотрим.

Носилки со Степкой были внесены в пещеру. Степка был в сознании, бледен, рубаха была вся в крови, но единственное сожаление, которое Валерий Михайлович прочел в Степкиных глазах — сводилось к желанию чего-то хлебнуть. Степка искоса посмотрел на не совсем еще убранный стол и втянул в себя, сколько было можно, воздуху:

— Дух хороший идет, — сказал он несколько робко.

— Рана такая, — прервал его Еремей: — скрозь левую лопатку и под правую ключицу, наскрозь.

— Давайте разденем.



Еремей подложил свои медвежьи лапы под поясницу и под голову Степки, а отец Петр с довольно неожиданной нежностью в движениях стянул со Степки его окровавленную одежду.

— А ты мне скажи, когда это ты мылся в последний раз?

— Это — трудно упомнить. Да, вот же, на том мосту — я же там в воду свалился. Еле выплыл. Да еще и боров этот...

— Ты пока помолчи.

— Да я же говорю — в горле как есть пересохши.

Отец Петр налил стаканчик водки.

— Ну, уж, Бог с тобой, промочи ты свою засуху.

— Сразу видно — святой вы человек, — сказал Степка, —

а этому медведю, что ему ни говори, так только . . . — Степка посмотрел на Еремея и запнулся.

— А Потапыч где? — с тревогой в голосе спросил Еремей.

— Где-то в тайге застрял, на ночь не приходил.

Еремей свирепо плюнул.

— Ну, вот только и дела есть, что по тайге шляться да всякое дерьмо подбирать. Где теперь его, чорта толстого, найдешь? Бери, Федя, винтовку, идем. Чтоб его . . .

Отец Петр снова поднял указующий и укоряющий перст свой, и Еремей запнулся снова.

— Погоди — сидел твой Потапыч где-то всю ночь, — посидит еще, — наука будет. Бери пока ведро и принеси воды, — горячей, знаешь откуда, нужно этого Степку вымыть.

Минут через десять, пятнадцать Степка был вымыт так, как ему, вероятно, не приходилось мыться ни разу в жизни. Рана была осмотрена, промыта и перевязана — какими-то травами, настойками и прочим. „Все это тибетская медицина, — пояснил отец Петр Валерию Михайловичу. — Напрасно ваша официальная наука так мало всем этим интересуется".

Степка чувствовал бы себя совсем на седьмом небе, если бы ему дали еще и второй стакан — но отец Петр проявил полную неумолимость: „Теперь ты спи, а я буду над тобой молиться. А вы поешьте и идите за Потапычем. Вы мне тут, Валерий Михайлович, тоже не нужны.

— Поесть — успеем, — мрачно сказал Еремей, — чорт нас не возьмет, — и снова покосился на отца Петра, — да только, как его искать?

— Чорта? — перепросил Степка.

— Я знаю направление, а там найдем, — сказал Валерий Михайлович.

— Тут у кельи отца Петра все истоптано, но если направление — найдем, чорт его не возьмет . . .

— Что-то ты, Еремей, больно уж на нечистую силу налегаешь.

— Да вы сами посудите, отец Петр, — сколько мы тут народу напортили.А ведь тоже, — мобилизованные, разве по своей воле? У кого родители, у кого жена, у кого дети . . . А мы тут их как белок на промысле . . .

— А эти-то — о твоих детях стали бы спрашивать? — сказал отец Петр.

— Тут никто ничего не спрашивает, а только и знают, что один другого калечить. Пошли. Вот, прости Господи . . . —

Еремей покосился на отца Петра и сжал зубы. — Страдает народ безвинно, одному чорту ладан курим, пошли. Возьми, Федя, коня. Не то опять тащить, может, придется...

* * *

Валерий Михайлович довольно точно помнил направление, по которому исчез в тайге Потапыч, но дальнейшее для него было неясно. Еремей был мрачен и казался совершенно безразличным. Федя шел впереди с такою же уверенностью, как если бы он шагал по давным давно знакомой улице.

— А ты не собьешся, Федя? — спросил его Валерий Михайлович.

— А это — как же? — удивленно сказал Федя, — ведь тут сразу видно, вот посмотрите сами.

Валерий Михайлович посмотрел, но не увидел ничего.

— Так сразу же видно, — повторил Федя, — вот где трава, где ветки, где вот на бурелом наступил, — сразу видно.

Валерий Михайлович вспомнил объяснение, какое ему давал очень опытный таежник — професор зоологии: для настоящего таежника — тайга, как огромная шахматная доска, в которой все квадратики расположены в законном таежном порядке. И всякое отступление от этого законного порядка таежник видит так же, как вы видите один единственный искривленный квадратик. Повидимому, это объяснение соответствовало действительности: Федя шагал все дальше и дальше, и Еремей не проявлял никаких признаков любознательности или беспокойства.



Некоторую нерешительность Федя показывал только тогда, когда путь взбирался на каменистые взглобья тайги, на которых не росло вообще ничего: голые каменные россыпи. Тогда Федя становился на четвереньки — самый удобный в таких случаях наблюдательный пункт, с которого вся сумма незаконных явлений на почве вытягивается в некую более или менее прямую линию.

Потом путь спускался снова вниз, в поросли в тайгу, и Федя снова шагал, как по давно знакомой улице. Так вышли они на маралью тропу.

— Смотри, батя, так и есть, в манзину яму провалился. Только бы не на кол!

— Ничего, — буркнул Еремей, — чорт его не возьмет.

Однако, Валерий Михайлович почувствовал беспокойство.

То, что Федя назвал „манзиной ямой", были ямы, вырытые пришлыми китайскими звероловами — манзами. Эти манзы перегораживали тайгу десятками верст заборов из валежника, сушняка, ветвей, оставляя только узкие проходы, — а в проходах вырывали ямы — западни для маралов. Этот род охоты истреблял массу дичи, и настоящие здешние постоянные охотники — русские, сойоты и прочие, вели с манзами регулярные войны, пока манзы не были вытеснены вон. Но ямы кое-где еще остались — сверху прикрытые самым тщательным образом. Время, листопады, дожди прикрыли их еще основательнее. Шагах в пятидесяти от Еремея с его друзьями виднелась дыра в земле: черное пятно в зеленой и серой настилке из листьев и валежника.

— Ага-а-! — вдруг рявкнул Еремей так, что Валерий Михайлович чуть не споткнулся от неожиданности.

— Ага-а-а — повторила тайга, но из ямы не было слышно ничего.

— Неужто и в самом деле на кол напоролся?

На дно ямы манзы обыкновенно втыкали заостренный кол.

Все трое бросились бегом.

— Осторожно, Валерий Михайлович, — крикнул Еремей, — а то еще и вы провалитесь.

Федя прощупал ногой почву, наклонился к самой яме.

— Ты тут, или нет?

— Ту-ут, — донесся слабый, глухой загробный голос.

— А давно ты тут?

Ответа не последовало.

— Да что тут разговаривать, — буркнул Еремей, — давай аркан, будем тащить.

— Как бы только нам всем туда не провалиться, — предупредил Валерий Михайлович.

— Это — действительно, — согласился Еремей, — края ямы-то, поди, пообваливались. Давай, Федя, и другой аркан. Держи меня, а я Потапыча тащить буду.

Еремей просунул свои плечи в мертвую петлю одного аркана, конец которого взял Федя, а с другим наклонился над ямой.

— Держи, Потапыч!

Из ямы послышалось какое-то бульканье.

— Да жив ты еще, али нет?

— Жи-и-ив, — донесся загробный голос.

— Можно тащить?

— Тащи-и-и...

Словно из-под земли появилась одна рука. Даже не из ямы, а из-под земли — сквозь наваленное на яму прикрытие. Ломая его ветки и пробиваясь головой сквозь листву, валежник и прочее, на земной поверхности показалась, наконец, верхняя часть Потапыча. Цвета его лица нельзя было разобрать. Давно небритая щетина была плотно замазана грязью. На эту грязь налепились засохшие листья, хвоя и прочая дрянь. Судорожно цепляясь обеими руками за ломающийся валежник, Потапыч пытался выползти на твердую землю. Натягивая левой рукой аркан, правой рукой Еремей выдернул Потапыча, как редиску из грядки.

— Ой, батюшки, не могу, — детским голосом хихикнул Федя и чуть не выпустил своего аркана. Еремей пошатнулся на самом краю ямы, но устоял. Федя дернул за аркан, Еремей свалился на спину. Федя, видя такое дело, поспешил юркнуть в кусты — „ой, батюшки, не могу, ой, батюшки, не могу" . . .

Потапыч грузно осел на землю. Жидкая грязь стекала с головы, плеч, спины, из рукавов и даже из-за ворота рубахи. Он пытался что-то сказать, разинул рот и снова захлопнул его, так ничего и не сказал. Валерий Михайлович протянул ему фляжку с водкой. Потапыч попытался взять ее рукой, но потеряв в этой руке дополнительную точку опоры, совсем свалился на бок. Где-то за кустами жеребенком ржал Федя. Отсутствие отца Петра уже не сдерживало Еремея: Валерий Михайлович никак не подозревал в нем такого основательного знакомства с народной словесностью. Словесность откликалась густым эхом — хорошо еще, что в тайге не было дам. Валерий Михайлович приложил фляжку к губам Потапыча. Опустошив фляжку, Потапыч принял сидячее положение. Снова открыл рот, посмотрел на Валерия Михайловича совершенно осоловевшим взором и, как бы раздумав, снова захлопнул. Еремей, продолжая выражаться, подвел Лыску.

— Ну, давай грузиться, — дальше последовало продолжение словесности.

Еремей поднял Потапыча, как мешок с сеном, и взмахнув им в воздухе, плюхнул его в седло.

— Давай торочить к седлу, тащи аркан . . .

Федя вынырнул из-за кустов, стараясь держаться подальше от Еремея так, чтобы по загривку не влетало, — с другой стороны коня. Потапыч был приторочен к седлу, как вьюк. Грязь продолжала стекать с него на землю. Признаки

жизни были мало заметны — только уже в дороге стал раздаваться густой храп с присвистом.

Еремей даже и ругаться перестал. Свирепо шагая саженными шагами, что-то бурчал про себя и временами плевался. Так путники добрались до пещеры отца Петра.

Потапыч все еще спал. Еремей и Федя стянули его с седла и положили на землю. Отец Петр критически посмотрел на распростертое тело:

— Ничего себе не поломал?

— Никакого чорта с ним не станется...

— Раздеть и вымыть, — кратко приказал отец Петр.

С Потапыча сняли все его обмундирование и, держа его за руки и за ноги, погрузили бесчувственное тело в горячую воду, — тело при этом не проснулось. Потом тело было внесено в пещеру и положено рядом со степкиным. Еремей посмотрел на обоих, плюнул и вышел вон.

— Наш Еремей, — сказал отец Петр Валерию Михайловичу, — человек тихой жизни.

— Как раз сегодня я имел удовольствие в этом убедиться, — засмеялся Валерий Михайлович. — Думал, что сюда слышно — это будет верст пятнадцать, двадцать.

— Нет, слышно не было, но представить себе могу. Вот — попал человек в переделку. И — еще попадет.

Голова Еремея просунулась в дверь.

— Вы, отец Петр, уж простите, что так сказать... только, вот, сами подумайте. Было у меня, значит, ровно сто патронов...

— Да ты заходи...

Еремей вдвинулся внутрь.

— Было, значит, ровно сто патронов. Семнадцать на охоту ушли. А осталось шестьдесят девять. А чтобы промахиваться, такого у меня нету. Людей-то сколько перепортили.

— А это, Еремеюшка, — как на войне. На войне мы. Кто воюет за Бога, кто за дьявола. На войне ты бывал?

— Был, только я — в артилерии. Да и то принимать не хотели.

— Почему не хотели?

— В строй, дескать, не гожусь, весь строй, дескать, порчу. А? Слыхали вы такое? В нестроевую команду зачислили. А? Меня-то? В нестроевую команду?

— Жаль, что не в слабосильную, — засмеялся Валерий Михайлович.

— Отчего нет — бюрократия! Ну, потом служил в тяже-

лой гаубичной. Так это война. Быль царь, были немцы, тут дело ясное. А здесь, хоть сволочь, может быть, да ведь свои! Вот этого — на стене нашли...

— Кого это на стене?

— Чорт его знает. Забрался человек на стену и ни вперед, ни назад — так и стоял, пока мы не подошли. Без оружия, даже без пояса. Военный. Говорил, собирался в Китай бежать, да за ним погоня.

— Вы, Еремей Павлович, опишите его подробно.

— Что тут описывать? Здоровый, толстый, вот вроде нашего Потапыча. Бритый. Лет за сорок.

— Какие погоны?

— Погон не приметил, да и в нынешних не разбираюсь, чорт их знает. По виду начальник. А внизу на полянке, это, действительно, стояли самолеты.

— Да ты толком расскажи с самого начала все, как было. Садись.

Еремей сел и в кратких выражениях (отец Петр время от времени подымал свой предостерегающий перст), изложил все происшествия вчерашнего дня.

— Это, конечно, Медведев, — сказал отец Петр, — но только какой чорт занес его — ... Отец Петр мельком и искоса взглянул на Еремея — но только, что ему было в этой расщелине делать?

— Я так полагаю, что шел он по нашим прежним следам — то есть, почти так, как мы с Валерием Михайловичем лезли, — только под конец малость сбился. Говоря правду, я обещал за ним вернуться, да, вот, Федя отговорил...

— Правильно сделал...

— Потом с горы было видно — этот Медведев снова к самолетам подошел, врал, значит, никто за ним не гнался.

— Правильно сделал, что не пошел, — повторил отец Петр. — Подстрелили бы, а может и еще хуже: живым бы взяли.

— Ну, это, отец Петр, пусть попробуют...

— Могут и попробовать. Они ни о жене, ни о родителях спрашивать уж не будут...

— Трудновато понять, отец Петр, там дело было яснее — немец или австриец. Тут — чорт, простите уж, отец Петр, — кто его разберет, — вот, скажем, Потапыч, он тоже в товарищах ходил. А подвернись он мне вчера-сь — и...

— Мне один раз подвернулся, — сказал Валерий Михайлович.

— Вот то то и оно. А ведь родственник, зять, ничего не разберешь, на заимку надо.

— Видите ли, Еремей Павлович, — сказал Валерий Михайлович, — дело в том, что и заимка не надолго.

— Как это не надолго? Почти тридцать лет тут живем.

— Не надолго, — потвердил и отец Петр. — Мне тоже придется перекочевывать.

Еремей посмотрел на отца Петра, потом на Валерия Михайловича, и на его лице выразилась некоторая растерянность...

— Дело вот в чем, Еремей Павлович, тихо, но ясно продолжал Светлов. — Та территория, на которой вы сейчас живете, уже, собственно, захвачена большевиками. Но есть и еще один вопрос. Отец Петр, дайте мне карандаш и бумагу...

Отец Петр порылся на полке и достал карандаш и бумагу. Валерий Михайлович стал что-то на ней рисовать. Еремей и отец Петр молчали не без некоторого удивления. Закончив свой рисунок, Валерий Михайлович протянул его Еремею.

— Похож?

Еремей внимательно всмотрелся в рисунок.

— Это очень здорово у вас вышло, Валерий Михайлович, портрет, можно сказать...

— Что это? — спросил отец Петр.

— Я попытался набросить медведевсщую физиономию — он или не он был там, в расщелене.

— Как есть этот самый, — сказал Еремей.

— Вот это и плохо.

— Почему плохо, — не без некоторого раздраженния спросил отец Петр...Он, как и Светлов, не любил попадать в загадочные положения.

— Обстановка складывается так, — попрежнему тихо, но ясно продолжал Валерий Михайлович, — Бермана я нейтрализовал...

— Как это вы сказали? — переспросил Еремей.

— Нейтрализовал. Обезвредил. Он у меня в руках, и вашей заимки трогать не будет. Но если Медведев был на перевале, то это значит, что он пытается Бермана обойти. Если, как вы говорите, он шел по нашим следам, то что то он мог найти. Место заимки он приблизительно знает, а остальное установить не трудно. Словом, он может свалиться на вашу заимку, как снег на голову... В грязную историю попали

вы со мной, Еремей Павлович, вот что значит делать добрые дела в наши времена...

— Если бы тут знатье, где добрые дела, а где и нет, а что касаемо заимки...

— То заимку, все равно, придется бросить, — прервал его отец Петр. — Мы уже давно живем под советами, только здесь, в глуши, этого не заметно.

— Как это — под советами?

— Очень просто. Советы все это уже давно прикарманили, — пояснил Валерий Михайлович — и Урянхай и Манжурию — теперь собираются прикарманить весь Китай.

— Куда же податься-то — растерянно спросил Еремей.

— Податься более или менее некуда, — сочувственно сказал отец Петр. — В Персию пока что — да далеко уж очень.

—Как от смерти бежать — так и на край света добежишь... Вот недавно тут тоже бежали — мимо нас, — из Тульской губернии — подумать только... Мы им говорили — оседайте здесь. А они, — нет, уж сразу подальше — хоть на край света... Легко сказать!

— Ничего, Еремей Павлович, место для вас всех у меня есть, — долг платежом красен. Но, пожалуй, нужно бы поторопиться...

— Поторопиться трудно, Валерий Михайлович, — сказал отец Петр, — нашего Степка сейчас никуда везти нельзя. Ему нужно недели две...

— Только? — удивился Валерий Михайлович.

— Думаю, не больше. Я приму все меры — и внушение, и тибетская медицина и медицина просто. В две недели я его на ноги поставлю — организм у него волчий.

— Две недели, — сказал Валерий Михайлович, — это очень мало для раны, но это, может быть, очень много для нас.

— Вы думаете, что Медведев может предпринять что-нибудь очень скорострельное?

— Почти наверняка. Впрочем — до заимки у нас около недели ходу. За это время я кое что узнаю. Может быть, можно будет и что-то предпринять.

— Вот,Господи, — вздохнул Еремей, — сколько лет жили и тихо и мирно. А теперь — куда теперь?

— Куда — это уже вы, Еремей Павлович, предоставьте мне, подходящие места у меня есть. А мира скоро не будет на всей земле. Слава Богу, что вы хоть эти годы мирно прожили. Времена, Еремей Павлович, наступают очень тяжелые...

КАРТОТЕКА

Картотека дома номер тринадцать по улице Карла Маркса занимала несколько огромных комнат, и вход в нее был доступен только для особо посвященных. У входа, закрытого тяжелой стальной дверью, всегда, и днем и ночью, стояло двое часовых. Даже и товарищ Медведев входил в это святое святых не без несколько неуютного чувства. Картотека дома номер тринадцать всегда напоминала ему о том, что где-то в Москве, у самого товарища Сталина есть еще более потайная картотека и что в этой картотеке лежит и досье его, товарища Медведева. А что есть в этом досье?...

Эти досье назывались „личными папками". В каждой из них находилась оффициальная биография данного лица — имя, отчество, фамилия, дата рождения, служебный и прочий стаж, родственники — тут обычно ссылка на другую личную папку, дактилографические оттиски, фотографии, особые приметы, общая характеристика, многочисленные анкеты, заполнявшиеся лицом в самые разные времена и ко всему этому годами и годами накапливались данные доносов, слухов, жалоб и, главное, — шпионажа. Были указаны и имена лиц, которым этот шпионаж был поручен, а также и имена лиц, которым была поручена проверка шпионов. Специалисты этого дела, на основании всех данных досье, вычерчивали то, что официально называлось „профилем": характеристика данного лица со всех точек зрения, — в особенности, с политической. По существу, почти все маломальски культурное, служилое, отчасти и рабочее и крестьянское население вверенного товарищу Медведеву округа было учтено в этой картотеке. Были учтены и некоторые другие люди, не пользовавшиеся непосредственной заботливостью товарища Медведева, но имеющие или могущие иметь какое-либо отношение к делам и территориям, подведомственным товарищу Медеведеву. Данные об этих лицах присылались из других округов. Медведевский округ — в порядке, так сказать, ведомственного товарообмена, снабжал копиями своих досье и другие округа. Так все население СССР, как бы то ни было возвышавшееся над каким бы то ни было уровнем, было учтено, классифицировано и, так сказать, посажено на булавку. И если в округе появлялось новое лицо, внушавшее какие бы то ни было подозрения, о нем сейчас же наводились справки по месту его последнего жительства. Оттуда сейчас же поступала копия тамошнего досье. Так что, если

лицо пыталось что-то утаить, — его попытки были тщетными. Если оно было вооружено фальшивым документом — это устанавливалось немедленно. Если оно особо провиралось в бесчисленных своих анкетах, голая и беспощадная правда одерживала быструю победу. Если лицо внушало особые подозрения, но трогать его почему бы то ни было признавалось нежелательным, — его „словесный паспорт", дактилоскопическая формула, рост вес и прочее и прочее сообщались телеграфно по всем соответствующим картотекам. Это, в частности делало невозможной какую бы то ни было контрреволюционную агентуру из заграницы: прибыл в Неелово человек такой-то и такой-то формулы, указывает на Ахтырку, как на свое последнее местожительство, но по наведенным в ахтырской картотеке справкам, указанный человек в Ахтырке не проживал.

„Указанный человек" попадал в Неелове под шпионаж по всем трем измерениям, а в остальных соответствующих учреждениях СССР производились спешные раскопки в картотеках: кем бы мог быть человек таких и таких-то формул. Иностранная агентура, по опыту товарища Медведева, в среднем „выявлялась" в течение недели. Ее обычно оставляли некоторое время на свободе, чтобы установить все ее связи. Внутренняя контрреволюция выявлялась еще скорее. Все это вместе взятое создавало что-то вроде всемогущества...

***

Даже и товарищу Медведеву было как-то неприятно, когда стальная дверь картотеки бесшумно закрылась за ним. Картотека перегораживалась длинным коридором, в который выходили двери „А", „Б" и так далее до конца алфавита. Товарищ Медведев дошел до двери, на которой стояло „Р", „С" и „Т". В ответ на звонок бесшумно открылась другая стальная дверь. В комнате под тремя буквами работало около десятка людей. Их собственные „личные папки" хранились где-то в Москве. Кто-то из этих людей — и не один — был свирепо засекреченным шпионом над остальными. А, может быть, и над товарищем Медведевым. Это всемогущество было все таки каким-то неуютным.

Товарищ Медведев имел, конечно, все или почти все права в этой картотеке. Взяв передвижную лесенку, он полез на соответствующую полку и достал оттуда плотный картонный ящичек с надписью: „Светлов, Валерий Михайлович". Содержимое ящичка его слегка разочаровало: очевидно, цен-

тральная картотека не считала нужным сообщить все то, что она знала об этом Светлове. А, может быть, не так много и знала? Товарища Медведева интересовал, однако, почерк.

Тут были образцы почерка. К ним был присоединен графологический анализ. Пробегая глазами данные этого анализа, товарищ Медведев иронически усмехнулся — правда, только про себя. Там было сказано о чрезвычайно сильной воле и об огромных „комбинационных умственных способностях" — еще бы! А вот и почерк.

Конечно, это был почерк обрывка записки. Этого обрывка товарищ Медведев вынимать не хотел: пар десять глаз незаметно поглядывали на него не без некоторого интереса. Но и не имея перед глазами этого обрывка, товарищ Медведев видел ясно: ошибки быть не могло, это был один и тот же почерк. Значит, товарищ Берман, действительно, был в каких-то очень таинственных сношениях со Светловым.

Товарищ Медведев грузно поднялся из-за стола:

— Поставьте это на место, — сказал он одному из картотекарей.

Снова одна стальная дверь, потом другая, и из помещения картотеки товарищ Медведев вышел не без чувства облегчения. Усевшись в своем кабинете, он прежде всего позвонил дежурного и заказал ему коньяк. Коньяк и несколько ломтиков хлеба с икрой были принессены через пять минут. Товарищ Медведев стал размышлять.

Общая картина была ему более или менее известна. Группа атомных ученых, которых по ходящему в Москве выражению, товарищ Сталин ценил на вес мировий революции — раскололась. Одни продолжали работать. Как будто вполне лойяльно, но как-то очень уж неторопливо. Впрочем, кто мог бы установить нормальную скорость работы в этой атомной тьме кромешной? Другая группа была заподозрена в саботаже и посажена в нарынский „научный изолятор", где и сидит сейчас... Там же — в качестве заложницы, сидит и жена вот этого самого Светлова. Впрочем, Светлову, повидимому, на это наплевать. Товарищ Медведев очень легко проэцировал на других людях свои собственные отношения к другим людям. Самое неприятное случилось с третьей группой: она просто исчезла. Исчезла так бесследно, что никакие картотеки ничему помочь не смогли: шесть человек наиболее выдающихся исследователей атомной энергии, да еще и с их семьями — словно сквозь землю провалились. Некоторое время существовало предположение, что они сбе-

жали заграницу. Но так как повсюду заграницей у родственного товарищу Медведеву учреждения была своя агентура, то это предположение пришлось оставить. Всяких иностранцев родственное товарищу Медведеву учреждение считало прирожденными болванами, неспособными скрыть какую бы то ни было тайну. Родственное товарищу Медведеву учреждение действовало среди иностранцев, как зрячий среди слепых. Если бы упомянутые шесть человек — да еще и вместе с их семьями, оказались бы где бы то ни было заграницей, — зрячее учреждение их открыло бы в течение двух-трех недель. Но почти за три года ничего открыть не удалось.

Совершенно случайно был задержан человек с перепиской, которая как будто бы указывала на то, что исчезнувшие ученые обосновались где-то в сибирской тайге у каких-то урановых залежей. Человека допрашивали, он не сказал ничего. Человека собирались пытать — но под коронкой зуба у него оказалась какая то микроскопическая капсюлька с каким-то неизвестным ядом. Смерть наступила почти моментально. Случайно попался и этот американец — как его — но он, кажется, непричем; впрочем, можно будет прощупать и его. Совершенно случайно в Москве был замечен Светлов, — повидимому стоящий во главе исчезнувшей группы. К нему было приставлено пять самых лучших филеров учреждения. Двух из них нашли на полотне железной дороги в пределах медведевской территории. Трое пока что исчезли совершенно бесследно. Учреждение имело некоторые основания предполагать, что светловская группа, во-первых, имеет намерение взорвать Кремль, и, во-вторых, — имеет или будет иметь техническую возможность это намерение привести в исполнение.

Именно этими планами учреждение объясняло отсутствие этой группы за границей: иностранные болваны наложили бы свое вето на этот план.

Товарищ Медведев почувствовал нечто вроде легкого озноба — несмотря на коньяк. Ведь, в самом деле: вот взорван Кремль и Сталин и Политбюро. Что будет завтра? Нет, даже не завтра, а через час? Вот эти самые красноармейцы... Через час они будут резать всех — всех стоящих у власти. И уж, конечно, его, Медведева, в одну из первых очередей... Взрыв в Кремле будет детонатором. Взорвется вся страна...

Товарищ Медведев налил стопку коньяку, выпил его и вытер пот со лба. Он не очень старался ясно сформулировать свои мысли — а если бы и постарался, то, вероятно,

не сумел бы. Эти мысли сводились, в сущности, к очень ясному пониманию того обстоятельства, что и Сталин, и Политбюро, и он сам, Медведев, держатся на страхе, — только на страхе. На страхе внутри страны и на страхе и глупости вне ее. Держатся, правда, долго. Но даже и товарищу Медведеву все чаще и чаще приходила в голову навязчивая мысль о том, что вечно это тянуться не будет. Эту мысль товарищ Медведев старался отгонять: на мой век хватит. А вдруг все-таки не хватит?...

Светловская история как-то внезапно расширилась за стены вверенного товарищу Медведеву учреждения и стала личным товарища Медведева вопросом. А что, если и в самом деле? Там — взрыв, здесь — детонация? На мясистом лице товарища Медведева появилось выражение звериной, страшной, испепеляющей злобы. Это он, товарищ Медведев, вот уже двадцать пять лет, нет даже и все двадцать семь, почти на каждом шагу рискуя своей жизнью — и на каждом шагу уничтожая чужие жизни, дошел, наконец, до его нынешнего положения. И какие-то ученые? Какой-то Светлов? Медведев вспомнил свой разговор с Берманом, когда он, Медведев, счел просто смешной мысль о том, что кто-то и что-то может угрожать вот всей этой несокрушимой машине. Оказывается — может. Валерий Михайлович Светлов перестал быть „личной папкой", он стал личным врагом. Врагом ненавистным и страшным. Кто их там знает, этих ученых? Ведь могут взорвать...

Товарищ Медведев не был культурным человеком, но глупых людей в данном учреждении или не было вообще или были только на самых низах, вот вроде этого барана Чиквалдзе с его морской коровой. Товарищ Медведев не умел ясно формулировать своих затаенных мыслей, да и не хотел формулировать их. Но то, что он знал — он знал. Многолетняя практика тайной полиции выработала в нем и много качеств и много знаний. Никаких иллюзий у него, во всяком случае, не было: борьба идет на жизнь или на смерть. И Светлов угрожает смертью.

Но в таком случае Светлов угрожает тем же и Берману? Всякий аппаратчик, всякий член партии понимал достаточно ясно: гибель Кремля есть гибель партии, гибель аппарата, гибель аппаратчиков. Да еще таких, как он и Берман. Медведев закурил папиросу.

Что хотел, что мог хотеть Берман? Возможен был и такой ход мыслей: если кремлевський центр страха будет уничто-

жен — Берман восстановит другой. Недаром Берман почти никогда не бывает в Москве и недаром Кремль так внимательно следит за Берманом. Конечно, историю Ягоды Берман знает достаточно хорошо... Но все кремлевское окружение живет в состоянии вечного страха. И всякому хочется вылезть наверх. Интересно, боится ли сам Сталин? Медведев разговаривал со Сталиным несколько раз и вынес впечатление, что этот человек совершенна чужд всякого страха. Впрочем, также чужд и многим чувствам: машина. И какая машина! Но чего же мог хотеть Берман?

Товарищ Медведев постарался связать в одно логическое целое все то, что ему известно было бесспорно. Итак: Берман и Светлов сидели там, на перевале на камнях, курили и разговаривали. Берман пришел на это свидание по ясному требованию Светлова — следовательно, он был в какой-то от него зависимости, случайной или не случайной, — это пока не было ясно. Было, однако, ясно, что для чего-то Бермана Светлов то ли пощадил, то ли, вероятнее, — приберег. Возможно, что оба оказались, так сказать, попутчиками по борьбе со Сталиным. Возможно, что в распоряжении Светлова имеются какие-нибудь компрометирующие документы. Однако, все это еще совершенно неясно, и нельзя строить на этом каких бы то ни было предположений. Были ясны только два обстоятельства: Берман и Светлов находились в каком-то контакте, и решение всего этого нужно было искать где-то на дубинской заимке: это была единственная путеводная нить.

Товарищ Медведев был несколько раздражен на самого себя: почти никакой информации о светловском деле, кроме самых общих черт. Правда, все это дело начиналось где-то вне территории подведомственной товарищу Медведеву, но все-таки, его, Медведева, должны были поставить в курс дела. Вот теперь на его медведевской территории разыгрываются совершенно непонятные события, а он, Медведев, остается в сущности только посторонним зрителем.

Восстанавливая в своей памяти всю цепь этих событий, товарищ Медведев вспомнил об Иванове. Этот кое-что может знать — недаром его вместе с Кривоносовым послали в Лысково, недаром он первый высказал догадку о Веронике и о Нарынском изоляторе... Товарищ Медведев снял телефонную трубку.

***

Майор Иванов вошел в медведевский кабинет с тем же абсолютно ничего не говорящим выражением лица, какое он себе присвоил уже давно.

— Садитесь, — товарищ Медведев ткнул рукой по направлению к креслу. — Коньяку хотите?

— Спасибо, — ответил товарищ Иванов.

— Спасибо да, или спасибо нет? — рявкнул Медведев.

— Если разрешите . . .

— Так я же вам сам предлагаю . . .

Товарищ Иванов отпил четверть рюмки и поставил ее на поднос. На челе его высоком не отражалось ничего.

— Вот что, товарищ Иванов, — начал Медведев. — Вы ездили с товарищем Кривоносовым в Лысково. Вы высказали очень правдоподобное предположение, что Светлов и еще какие-то там черти нацеливаются на Нарынский изолятор. Каковы ваши соображения по поводу всех дальнейших событий?

— Соображения могут не соответствовать конкретному положению вещей.

— О соответствии мы потом поговорим. Валяйте.

— Я так полагаю, товарищ Медведев, что ближайшей конкретной точкой является Лесная Падь.

— А это — почему?

— Принимая во внимание всю совокупность данных обстоятельств, позволительно прийти к предположению, что бывший егерь был какой-агентурой.

— Какой?

— Позволительно предположение, что наши сотрудники были там не всегда в безусловно трезвом состоянии и что, следовательно, бывший егерь имел возможность собирать некую информацию . . .

— Эта морская корова нашла там какой-то телефонный провод — вы об этом знаете?

— Никак нет, товарищ Медведев.

— Нашла. Но тут ее этот егерь и накрыл. Теперь пропал, как в воду канул.

— Я полагал бы, что необходимо произвести весьма тщательное обследование местности.

— Производили. Ни черта.

— Полагаю, что данный метод производства расследования не совсем соответствовал кокретному положению обстоятельств.

— А вы, товарищ Иванов, вы тут янкеля мне не крутите — говорите прямо: в чем, по вашему, дело?

— Если был телефонный провод, то он куда-то должен был вести.

— Все обыскали . . .

— Я полагаю, что обычный магнитный детектор мог бы обнаружить . . .

— Сгорело же все . . .

— Полагаю, что провод мог бы итти в иной пункт . . . Вероятно, именно в тот, куда скрылся егерь с его беспризорниками . . .

— Допивайте вашу рюмку, — тоном приказа сказал Медведев. — Да, это, конечно, возможно. Вы с детектором обращаться умеете?

— Точно так.

— Поезжайте и пощупайте. Это раз. Второе: вы майора Кузина знаете?

— Точно так.

Товарищ Медведев налил еще по рюмке — себе и Иванову. — Пейте, приказал он еще раз. Товарищ Иванов выпил — не меняя при этом присвоенного ему выражения лица. Товарищ Иванов ждал.

— Однако, — продолжал Медведев, — нужно все-таки найти заимку этого Дубина.

— Полагаю, товарищ Медведев, что никаких поисков не требуется.

— То-есть — как это так?

— Не требуется, — деревянным тоном повторил Иванов. — Заимка этого Дубина так и называется: Дубинка. Таких в Урянхае есть три. Но только одна стоит у речки и озера.

— Что же, чорт вас дери, вы молчали до сих пор?

— Я, разрешите вам доложить, не был по службе поставлен в известность.

Товарищ Медведев посмотрел на Иванова бешеным волком: сотни народа поарестовали, допросы вели, а тут, оказывается, совсем просто: Дубин и Дубинка. А этот идиот сидел и молчал.

— Откуда вы это знаете? — спросил Медведев, кое-как справившись со своим бешенством.

— По делам службы приходилось бывать в Урянхайском крае.

— Так что вы и заимку эту знаете?

— Приблизительно.

— Сколько это километров от перевала?

— Около четырехсот.

—Значит, дня четыре ходу?

— Вероятно, больше: это около двухсот по воздушной линии.

— Ну, тогда мы еще неделю имеем впереди. Так вы, товарищ Иванов, вооружайтесь, чем вам нужно, и двигайтесь пока

в Лесную Падь. Мы ведь уже решили, что вы туда съездите. Теперь как раз во-время. Но только никому ни слова. Поняли?

— Точно так.

НЕЗНАКОМЕЦ

Лесная Падь прельщала товарища Иванова в сущности только из-за его аллюминиего ящика с книгой страшного суда. Все остальное — в том числе и провод — имело совершенно второстепенное значение. Сидя в автомобиле по дороге в Лесную Падь, товарищ Иванов тщательно пережевывал в уме все детали своей беседы с Медведевым и также тщательно взвешивал все могущие произойти последствия ... Основное было, конечно, ясно: Медведев как-то пытается обойти Бермана. Но на вопрос о том, кто и кого съест, — не было никакого ответа. А именно от этого ответа зависело дальнейшее поведение товарища Иванова. А от дальнейшего поведения товарища Иванова мог зависеть, например, такой пустяк, как его собственная жизнь.

Временами товарищу Иванову хотелось бросить все это, заболеть, как-нибудь перевестись в другой округ или раздобыть себе длительную командировку: пусть тут они едят друг друга без меня. Но снова возникал соблазн продвижения, повышения, власти, виллы, собственного автомобиля — и товарищ Иванов снова наполнялся мужеством и рвением. Середины все равно нет: или голодная жизнь в низах населения или сытая и пьяная на верхах. А риск все равно — везде одинаков. Ничего не поделаешь ...

С такими мыслями товарищ Иванов подъхал к пепелищу Лесной Пади. Оставив автомобиль с шоффером у этого пепелища, вооружившись винтовкой и огромной кожаной сумкой со всякой аппаратурой для розысков провода, тов. Иванов описал круг около попелища и нырнул в тайгу. Места шли хорошо знакомые, и через час ходьбы товарищ Иванов дошел до развaленной церковушки. Прежде, чем нырнуть в нее, он обошел ее кругом, тщательно осматриваясь и прислушиваясь: нет, ничего. В церковушке была та же сырость и гниль, что и раньше. Товарищ Иванов подошел к стенке, вынул соответствущие кирпичи и, вместо аллюминиевого ящика с книгой страшного суда обнаружил — пустое место.

Товарищ Иванов почувствовал, что его колени стали подгибаться. Дрожащими руками он стал ощупывать дыру в стене, как будто ящичек мог завалиться в какую-то трещину. Нет,

ящика не было. В мусоре, наполнявшем впадину, еще остался его след. Но, кроме следа, больше не было ничего. Товарищ Иванов почти бессознательно вытер холодный пот, проступивший у него на лбу. Может быть, это была не та дыра? Может быть, он по рассеяности вложил ящичек в какое-то другое место? Может быть... Но товарищ Иванов понял, что это были совершенно праздные надежды: ящичек был украден.

Ноги у товарища Иванова стали подкашиваться. Опираясь о стенку рукой, он уселся на кучу мусора. Ящичек украден. Кто мог его украсть? После пожара вся местность была прощупана сотнями следопытов, кто-то из них мог забраться и сюда. Но как ему могло притти в голову ковыряться в стене? И как он мог найти тайник? И что он сделает с книгой страшного суда? На все эти вопроты никакого ответа не было. И не было никакого ответа на самый основной вопрос: так что же делать дальше?

Не без труда поднявшись на ноги, товарищ Иванов все-таки обыскал все: другие стенки, кучи мусора, песку, какой-то гнили на земле, которая когда-то была полом — нет, ничего. Книга страшного суда исчёзла.

Товарищу Иванову стало как-то жутко — как будто какие-то мертвецы начали шевелиться под этими развалинами, как будто какие-то нездешние руки стали протягиваться к нему из полутьмы. Согнувшись, почти на четвереньках, он выполз из развалин. Поднявшись на ноги, он увидел: шагах в двадцати от него, на стволе поваленного бурей дерева, сидел какой-то незнакомый человек, с виду лет под сорок пять — пятьдесят, и смотрел на него почти что приветливыми глазами. Товарищ Иванов почувствовал, что ему дышать нечем.

Незнакомец продолжал сидеть и даже улыбаться. Когда туман в глазах товарища Иванова несколько рассеялся, он установил, что на коленях у незнакомца лежит маленькая английская винтовка, „Томми-гун", что рядом с незнакомцем на том же стволе лежит аллюминиевый ящичек.

— Сядем, поговорим, — дружеским тоном сказал незнакомец.

Товарищ Иванов, словно лунатик или загипнотизированный, двинулся к незнакомцу. Тот дружеским жестом указал товарищу Иванову на место на том же стволе — метрах в трехчетырех от самого себя. Товарищ Иванов сел. На его привычно-деревянном лице мелко-мелко дрожали какие-то мускулы.

— Как вы видите, товарищ Иванов, — прежним дружеским тоном сказал незнакомец, — ваш архив находится в моем распоряжении.

Товарищ Иванов сделал глотательное движение и сказал: „угу".

— Но это, — продолжал незнакомец, — только временно, позвольте вручить его вам обратно — там все в целости.

Товарищ Иванов хотел было тигром броситься к ящичку, но удержался. Он сделал еще одно глотательное движение и еще раз сказал „угу". Сейчас он пытался рассмотреть незнакомца. Наметанный глаз определил почти сразу, что незнакомец совсем недавно побрился и что до этого он не брился очень давно: лицо было покрыто плотным загаром, а выбритые места были чем-то подкрашены — вероятно, ореховым отваром. Товарищ Иванов не мог бы поклясться, что незнакомца он видит в первый раз в жизни, что-то такое где-то он уже видел.

Товарищ Иванов хотел что-то спросить — но почувствовал, что его голосовые связки отказываются работать. Он протянул руку за спину за фляжкой, но сообразил, что незнакомец может превратно понять это движение.

— Только глоток, — проскрипел он.

— Ах, пожалуйста, пожалуйста, — приветливо разрешил незнакомец, — пожалуйста, хоть три.

Товарищ Иванов не сразу смог открыть фляжку своими дрожащими руками. Однако, три глотка несколько вернули ему, если и не совсем ясность мысли, то некоторую членораздельность речи.

— А зачем вы его взяли?

— Нужно было, — сказал незнакомец. — Мы, видете ли хотим установить с вами некоторый, как это говорится, деловой контакт.

„Мы". Значит, незнакомец говорит не только от себя. Товарищ Иванов хотел было оглянуться — нет ли поблизости сообщников этого незнакомца, но понял, что этого делать не следует. Или, по крайней мере, не стоит.

— Но, прежде всего, товарищ Иванов, имейте в виду, что фотокопии вашего архива у нас имеются.

Туманная и нелепая надежда, мелькнувшая было в сознании товарища Иванова, отцвела, не успевши расцвести. Товарищ Иванов сделал еще одно глотательное движение и еще раз сказал „угу". Мелькнула и еще одна мысль: броситься на незнакомца и как-то ликвидировать его. Но и эту мысль пришлось оставить: винтовка лежала на коленях у незнакомца и ствол ее смотрел приблизительно в сторону товарища Иванова. Кроме того, незнакомец не был похож на человека, с ко-

торым справиться было бы легко. И, еще кроме того, у незнакомца могли быть сообщники.

Как-то внезапно и иррационально товарищ Иванов почувствовал огромное облегчение. Да, конечно, он находится в руках у незнакомца. Это было очень плохо. Но если бы книга страшного суда попала бы в руки Бермана или Медведева, то это означало бы конец. Незнакомец никакого конца еще не означал. Ему от товарища Иванова что-то нужно. Но что?

Как бы отвечая на невысказанный вопрос, незнакомец сказал все тем дружественно приветливым тоном:

— С вами, товарищ Иванов, мы будем обращаться, как с сырым яйцом: бережно и нежно. Чтобы и вас никто не разбил и чтобы вы сами не разбились. Таким образом, в вашем учреждении вы будете стоять хотя и под невидимой вами, но очень надежной защитой. Надеюсь, что всем этим вы злоупотреблять не станете. Нам же от вас нужна вся текущая информация о всех мероприятиях указанного учреждения, касающихся известного вам дела Валерия Михайловича Светлова. Мы, конечно, имеем информацию и помимо вас, — так что вы будете, так сказать, контрольным звеном над иной информацией, но и иная информация будет контролировать вас. Словом, вы понимаете.

— Это довольно просто, — с облегчением сказал товарищ Иванов.

— Ну, не очень, — усмехнулся незнакомец. — У нас несколько иная система... Но это мы пока оставим... Если у вас появятся какие бы то ни было данные по этому делу, — вы понимаете: какие бы-то ни было, даже и такие, которые вам могут показаться несущественными, — вы ставите на ваше окно, выходящее на улицу, — на первое с угла, это ваша рабочая комната, — стопку каких-нибудь книг. И скажете вашей жене, чтоб она этой стопки не трогала. Это, де, вам нужно для работы... Согласны?

Товарищ Иванов молча кивнул головой.

— Так что, позвольте вручить вам ваше сокровище. — Незнакомец протянул товарищу Иванову его аллюминиевый ящичек. Товарищ Иванов хотел было проверить его содержимое, но понял, что это не имеет никакого смысла: он, товарищ Иванов, все равно находится в полной или почти полной власти этого человека. Если даже в ящичке находится не все его прежнее содержание, то поделать, все равно ничего нельзя. Товарищ Иванов протянул руку и взял ящичек без какого бы то ни было облегчения. Но загорелая и как-то по таежному тонкая рука, протягивающая ему этот ящичек, напомнила

что-то знакомое: как будто, где-то он эту руку все-таки видал.

Товарищ Иванов привык ко всяким переодеваниям и перевоплощениям. Теперь, когда прошел его первый шок, — лицо незнакомца стало казаться ему давно знакомым. Степаныч? Нет, не может быть. А вдруг — может быть? Нет, не может быть.

— Скажите, — робким тоном, — спросил все таки Иванов. А вы не этот, как его . . . Степаныч?

— Бывший, — кратко отрезал незнакомец.

Товарищ Иванов почувствовал некоторую растерянность. Совсем не так давно, только на-днях, он, товарищ Иванов, давал ныне бывшему Степаньгчу мелкие подачки за тетеревов, уток и прочее. Теперь этот, ныне бывший, Степаньгч. А, может быть, не он один? . . . Может быть, даже и его, товарища Иванова, жена — она тоже? . . . Как разобраться в этом все таки странном мире, к которому товарищ Иванов все-таки привык и в котором, — как на маскараде. С той только разницей, что на маскарадах никогда не расстреливают . . . А тут, — не разгадаешь маски, и пиши пропало . . .

— Так вот, товарищ Иванов, — спокойно и попрежнему дружественно продолжал ныне бывший Степаныч. — По тем данным, которые мы имеем, ваш начальник — Медведев — собирается проявлять некоторую инициативу, направленную на поиски Светлова. О всех шагах товарища Медведева вы должны нам сообщать немедленно. Если для расходов по этому поводу вам понадобятся деньги, то вот, будьте добры . . .

Ныне бывший Степанич полез в свой карман и протянул товарищу Иванову довольно основательную пачку денег. Товарищ Иванов протянул руку к этой пачке, потом как-то отдернулся. Это, конечно, была просто взятка — не деньги для каких бы то ни было расходов, а просто взятка. Денег этих товарищ Иванов использовать не мог, или почти не мог: и его бюджет и его расходы были совершенно точно известны данному учреждению и малейшее превышение его финансового экспорта над его финансовым импортом было бы сейчас же замечено. Но в судорожном жесте товарища Иванова играло роль не одно это обстоятельство . . .

Ныне бывший Степанич заметил этот судорожный и противоречивый жест и продолжал сидеть, положив локоть на колено и все еще даржа в протянутой руке пачку кредиток.

— Позвольте еще глоток, — сказал товарищ Иванов.

— Ах, пожалуйста, хотя бы и три.

Товарищ Иванов сделал три глотка. Отняв фляжку от губ, он заметил взгляд ныне бывшего Степаныча. В этом взгляде

товарищу Иванову показалось, что ныне бывший Степаныч понимает решительно все: и собачье положение товарища Иванова, и опасность угрожающую ему то ли со стороны Медведева, то ли со стороны Бермана, и значение плюшкинской коллекции его аллюминиевого ящика и даже его, товарища Иванова, ведомственную жену: не даром же Степаныч сделал оговорку о стопке книг. Кроме того, было как-то видно, что этот, ныне бывший Степаныч, не боится решительно ничего. Сам он, товарищ Иванов, дышал воздухом страха, как дышат люди воздухом насквозь прокуренной комнаты. А глаза ныне бывшего Степаныча действовали, как струя свежего ветра: это был воздух без страха.

— Что, — дрянь дела? — сочувственно спросил Степаныч.

— Дрянь, — покорно согласился товарищ Иванов.

— Не только ваши, — подтвердил Степаныч. — Практически, и у Бермана с Медведевым дела не на много лучше. Кто-то кого-то задавит. Потом победителя задавит кто-то другой.

— Верно, — покорно согласился товарищ Иванов.

От глотков, от перехода от полного отчаяния к какой-то еще очень смутной, почти подсознательной, но все-таки надежде, у товарища Иванова мысли прыгали судорожно и несвязно. А, может быть, и в самам деле бросить все это? Положиться на вот этого бывшего Степаныча. Может быть, именно он не станет „давить"? Может быть, из всей этой войны всех против всех именно бывший Степаныч выйдет победителем? Может быть, возможна все-таки какая-то человеческая жизнь? Жизнь без маски на лице и без страха в сердце?

— Верно, — еще раз подтвердил товарищ Иванов. — Разрешите, я папиросу закурю . . .

— Ах, пожалуйста, хоть три, — любезно разрешил ныне бывший Степаныч.

Товарищ Иванов достал коробку папирос. Как это ни было странно — зажженная спичка прыгала в его пальцах. Такого все-таки не было никогда. А кое-какие передряги товарищ Иванов все-таки видал на своем веку.

— Простите, — спохватился он, — позвольте вам предложить . . .

— Нет, спасибо, я не курю . . .

— Я, видите ли, товарищ . . . Не знаю, как вас звать, я видете ли, конечно, вообще говоря, понимаю . . . — Тут товарищ Иванов запнулся.

— Что же, именно, вы понимаете? . . .

— Да, вот, вообще . . . Машина. Аппарат. Я, вот, в машине,

а вы, вот, эту машину хотите . . . с рельс спустить . . . взорвать, ну, вообще, чтобы к чортовой матери.

— Совершенно верно: к чортовой матери. Даже и без рельс.

— Так, вот, я понимаю: вы думаете, что раз я в машине, так я за машину.

— Приблизительно.

— Нет, не совсем. Даже, может быть, и не приблизительно. Я, конечно, в машине. Так что, вы думаете — тут голос товарища Иванова приобрел несколько несвойственную ему ярость — если человек в тюрьме, так значит он за тюрьму?

Степаныч слегка поднял брови, но не сказал ничего.

—Сидит, вот, человек в тюрьме и уйти ему некуда. Так уж лучше быть дежурным по кухне, чем голодать просто в камере.

— Эту точку зрения разделяют все таки не все люди.

— Не все. Я — все. Я — как все. Куда податься? Не нужно мне ваших денег. Вот, сами посмотрите . . . Я еще глоток . . .

— Не хватит ли? — с сомнением в голосе спросил Степаныч.

— Нет. Ах, опять, простите, может быть, вы? . . .

— Нет, спасибо, я и не пью тоже . . .

Товарищ Иванов снова достал фляжку и на этот раз твердо констатировал, что руки у него дрожали — но это было не от водки . . .

— Вот — пока там что, я вам скажу. Товарищ Медведев нацеливается на заимку этого Дубина и вызовет или вызвал к себе такого Кузина, вы его, кажется, знаете.

— Да, знаю.

— Кузин у Медведева в кармане. Медведев думает обойти Бермана. Перехватить инициативу. Я еще мало знаю. Но я — честно. Можете оставить эту коробку у себя. — Я честно. Надоело. Если пропадать — так уж лучше с вами.

— Почему это? — спросил Степаныч.

— Я этого еще не знаю. Не знаю . . . Может быть . . . Если уж пропадать, так за что-нибудь . . .

— За что именно?

— Ну, вообще, за жизнь. За то, чтобы жить. А разве это жизнь? В голосе товарища Иванова снова появились нотки ярости, — разве ж это жизнь, я у вас спрошу?

— Жизнь, конечно, собачья, — согласился Степаныч.

— Собачья? Вы говорите — собачья? А я вам говорю — хуже всякой собачьей жизни. Собак тех, по крайней мере, не расстреливают. Собак, по крайней мере, врать не заставляют. Даже и у собаки своя совесть есть. А вы думаете, что у Медведева или Бермана есть хотя бы собачья совесть?

— Повидимому, решительно никакой.

— Никакой. Я, вот, в Москве в зоологическом саду бывал. там аквариум и рыбы там всякие морские. У Медведева столько же совести, как и у этих рыб.

— А вы давно это заметили? — сочувственно спросил Степаныч.

— Не знаю. Постепенно. А вот у вас совесть есть, — довольно неожиданно констатировал товарищ Иванов. — Так уж, если пропадать, так уж лучше за совесть — вот!

Человек, который перестал быть Степанычем, внимательно и пристально вглядывался в товарища Иванова. Товарищ Иванов, видимо, находился в состоянии крайнего возбуждения. Он довольно нелепо размахивал дрожащими руками, губы у него кривились и дрожали, несколько раз он зажигал уже зажженную папиросу, потом бросал, потом доставал другую, голос у него то срывался, то вдруг приобретал металический тон безграничной ненависти. Так, как будто что-то годами и годами накопленное под прикрытием его деревянной маски, прорвало какую-то плотину. Речь его была довольно бессвязна.

— Я, конечно, понимаю, этот мой справочник, — он ткнул рукой по направлению аллюминиевой коробочки. — Хвастаться нечем. Можете бросить ее к чортовой матери.

— Нет, зачем бросать — там кое-что есть . . .

— Ну, как хотите. А он, то-есть Медведев, сейчас готов на все. Теперь он вцепится в Дубина. Думает, что там, на заимке, этот самый центр.

— Какой центр?

— Да, говорят, какие-то там ученые. Атомы ищут.

— Говоря между нами, товарищ Иванов, никаких там „атомов" нет.

— Ну, все равно. За Светловым будет форменная охота. Я вам, значит, буду сообщать — можете проверять, как хотите.

— Нет, представьте себе, товарищ Иванов, — совершенно спокойно сказал бывший Степаныч, — представьте себе — что я вам верю.

— В самом деле?

— В самом деле .

Товарищ Иванов как-то, как будто размяк, словно из него вынули все кости. Он опустил голову вниз и некоторое время оба собеседника сидели молча. Потом, как бы собрав все свои силы, товарищ Иванов слегка развел руками.

— Вот, как бывает. Судьба. Вот думал: погиб окончательно. А теперь даже и вы верите.

— Почему даже и я?

— Были вы этим . . . егерем. Видали и слыхали. Телефон у вас был. Эта баба его нашла.

— Да, кстати, как с этой бабой?

— В лазарете. Не опасно. Я сказал Медведеву, что поеду сюда провод от телефона разыскивать.

— Не найдете. Нет никакого больше провода. Но можете найти склад оружия.

— Какой склад?

— Есть такой.

Бывший Степаныч достал из кармана блокнот и набросал небольшой чертеж:

— Вот — тут, товарищ Иванов, пожарище, — от него тропинка вот сюда. Потом так, — бывший Степаныч карандашом вел товарища Иванова по тропинке, — потом вправо к берегу крохотного ручья, вот тут поваленный бурей кедр и, вот тут, — яма, а в яме кое-какое оружие. Вам нужно показать Медведеву, что вы не даром сюда пошли.

— Да, это правильно, — подтвердил товарищ Иванов. — А что с этой коробочкой?

—Попадетесь вы с ней, — сказал бывший Степаныч.

— Это тоже правильно. Возьмите ее с собой. Я теперь — по-иному.

ТОВАРИЩ МЕДВЕДЕВ РАСКИДЫВАЕТ СЕТИ

Отпустив товарища Иванова, Медведев предался размышлению и коньяку. Все это предприятие было и рискованным и сложным. Вызвать преждевременные подозрения товарища Бермана — значило подвергнуть себя очень большой опасности. Оставить все дело в руках товарища Бермана, может быть, было еще более опасным: всю цепь всех этих неудач товарищ Берман, видимо, объяснил себе то ли нераспорядительностью Медведева, то ли каким-то заговором, свившим свое гнездо в медведевском отделе НКВД. Кроме всего того, личная, почти физическая, ненависть Медведева к Берману имела, может быть, еще большую двигательную силу, чем все остальные соображения. Факт связи Бермана со Светловым не подлежал никакому сомнению. Эта связь нависла над всеми медведевыми СССР, как петля виселицы. Нет, что-то нужно предпринимать.

Товарищ Медведев позвонил по телефону. Через несколько минут секретарь доложил ему о приходе подполковника НКВД товарища Кузина. Товарищ Кузин, невысокий, плотный, мон-

гольского типа человек, вошел как-то бочком, слегка исподлобья глядя на товарища Медведева.

— Садись, — сказал Медведев. — Коньяку?

Товарищ Кузин был одним из немногих, — может быть, единственным, которому товарищ Медведев кое-как доверял. Когда-то вместе они участвовали в партизанской войне против Колчака, и товарищ Кузин проявлял исключительное знание местности, климата, инородческого населения и всяких трюков лесной войны. Он был полурусский — полусойот, имел какие-то семейные связи с сойотским населением округа и вообще в тайге был, как у себя дома. От этого периода у Медведева остались кой-какие следы чего-то вроде дружбы. Но было и иное: года два тому назад, кто-то вроде сойотов, перебил всю районную партийную верхушку, и Кузин с отрядом был послан для расследования. Во всякого рода следственных и вообще учрежденческих мероприятиях товарищ Кузин никогда не разбирался толком. Он дал возможность убийцам скрыться — и почти попался на этом деле. Во всяком случае, к товарищу Медведеву попали документальные данные, совершенно бесспорно уличавшие товарища Кузина в предательстве, саботаже, в переходе на сторону классового врага. В общем — это, конечно, был расстрел. Но товарищ Медведев предпочел расстрелять некоторых иных людей и, вызвав Кузина, товарищески похлопал его по плечу:

— Так что, вот — влип ты, товарищ Кузин, вот смотри...

Желтоватое лицо товарища Кузина приобрело землистый оттенок. Но товарищ Медведев продолжал:

— Ничего, не беспокойся: пока я буду цел и ты будешь цел — понимаешь?

Товарищ Кузин, конечно, понял: если что случится с Медведевым, то пропал и он, Кузин. Это создавало нечто вроде доверия. Поэтому товарищ Медведев изложил товарищу Кузину все то, что он сам знал о Светлове, атомных ученых, Бермане, Еремее и прочем. Товарищ Кузин, медленно потягивая коньяк, сказал:

— А все это, товарищ Медведев, как-то непохоже.

— Что непохоже?

— Непохоже, чтобы эти твои ученые были на дубинской заимке. Заимку эту я знаю — да и сойоты рассказывали: там новый человек за сто верст виден, тайга слухом полнится. Никого там нет. А Светлов — очень даже просто — идет, вероятно, в Китай, заграницу. Так что может и заимка-то ему вовсе не нужна. Дубина поймать, конечно, можно.

— Ну, этакого медведя...

— Тигров живыми ловят, есть такие специалисты, а человека дело совсем простое.

— Нет, нужно Светлова.

Товарищ Кузин слегка усмехнулся:

— Вот — ловили же...

— Не совсем. Хотели по его следу всю компанию накрыть. Словом — если бы их всех на этой заимке захватить — а?

Товарищ Кузин отхлебнул из рюмки.

— Заимку я знаю. Строения — каменные, кругом колючая проволока, есть там стрелков человек десять. Если послать отряд — то на заимке о нем еще за неделю узнают — у них там в тайге всякая своя сигнализация. Словом, придется брать с бою. Тут можно целую роту уложить...

— Ну, а если по дороге перехватить?

— Это тоже вопрос: по какой дороге? — Прямиком они не поедут.

— Почему не поедут?

— Ясно: будут бояться погони. Тут этот бродяга, да и с тобой... Дубин, — ведь вот не пришел же тащить тебя через перевал, — значит, смекнул, в чем дело...

У товарища Медведева временами, — хотя и сравнительно редко, — возникало несколько неуютное ощущение того, что вот все эти Берманы, Кузины и даже Иванов, как-то умнее его самого. Ведь — вот же: простая мысль, а ему, Медведеву, она в голову не пришла. Ощущения такого рода товарищ Медведев преодолевал довольно быстро: зато у него административные способности, доверие партии, служебный стаж... Но, — тоже сравнительно редко, — мелькало и другое ощущение: а вдруг это все не поможет? Вот — теперь он ввязался в какой-то конфликт с Берманом. А, может быть, у Бермана тоже есть такие мысли, которые ему, Медведеву, и в голову не приходят?

— Еще по рюмке? — сказал он.

Товарищ Кузин молча кивнул головой.

— Прямой, то-есть, ближайшей дорогой они не пойдут. Их там четверо?

— Четверо.

— Ну, этот твой начмил — Жучкин или как его — тот не очень много стоит. А остальные три, — это еще нужно подумать. Я подумаю.

— Подумай, Кузин, большое дело может быть.

Товарищ Кузин как-то презрительно поморщился.

— Дела у нас, товарищ Медведев, все одинаковые...

— То-есть, как это так?

— Да вот так. Без фундамента живем. Вот — поймаешь ты, скажем, этого Светлова, а Берман обвинит тебя в том, что ты все дело испортил — может быть так, или не может быть так?

— Ну, уж это ты извини.

— Я-то извиню. А что Москва скажет?

— Еще по рюмочке? — спросил Медведев. Кузин молча кивнул головой.

— Н-да, — задумчиво сказал Медведев, опрокинув в рот рюмку и закусывая бутербродом. — Без фундамента, говоришь, живем? — Такая мысль ему тоже как-то в голову не приходила.

— Без фундамента, — подтвердил Кузин. — Если в старое время человек подполковником был, так ему на все было плевать. Знал свое дело, знал свой закон. А ты — ты-то что знаешь?

— А знаю я, товарищ Кузин, то, что этот тарантул совсем нацелился меня съесть.

— Так это, по твоему, — фундамент?

— Разговорчики у тебя, товарищ Кузин, мелкобуржуазные. Есть ли фундамент, нет ли фундамента, а дело надо делать. Ты Иванова хорошо знаешь?

— Иванова? Его? — его собственная жена хорошо не знает, не то, что я.

— Я с ним тут по этому вопросу разговаривал...

— Ну, и глупо.

— Почему глупо?

— Потому, товарищ Медведев, что у тебя есть на меня документики — да и у меня на тебя кое-что имеется.

— А у тебя-то что? — Медведев даже приподнялся с кресла.

— Есть. А что, — это уж другой разговор. Словом — ты завалился и я завалился. А если я пропаду, то и ты пропал. Тут уж люб — не люб, а приходится вместе. А Иванов? Почему он не может пойти к Берману и сообщить!

— Ну, я ничего ему не говорил — только спрашивал.

— И спрашивать не стоило. Ты, товарищ Медведев, пока ты в политике там, или в партии — это дело твое. А если в тайге — то помнишь нашу партизанщину? Тут уж я не проморгаю. Нужно только подумать. Тут, в сторонке от ихнего маршрута озерко есть — можно на гидро спуститься. Сойоты приятели у меня там есть — можно коней достать. Конечно, против Дубина они не пойдут, но можно и наврать кое-что. Мне нужно бы человек десять-пятнадцать, я их сам наберу. И два гидро. А как Бермана обойти — это уж твое дело.

— Ты, Кузин, пойми: если мы докажем, что Берман прикрывал всю эту банду . . .

— Это я понимаю. А если Берман тебя еще по дороге ликвидирует?

— Мало ли мы рисковали? . . .

— И много ли мы выиграли?

— У тебя, Кузин, разговорчики не только мелкобуржуазные, а может, и похуже . . .

— Ну, хорошо, бросим разговорчики. Ты что ж это, — тут товарищ Кузин крепко выругался, — что ж ты мне-то станешь еще говорить о мировом пролетариате, что ли?

— К чортовой матери мировой пролетариат — мне нужно Светлова поймать и Бермана ликвидировать. А то пока там до мирового пролетариата, как бы он нас с тобой не ликвидировал? Еще по рюмке?

— Нет, не хочу. Подумать нужно. Говоря в общем и целом, нужно базироваться на гидро, на озеро и на сойотов. Все это — уж мое дело. А Берман — это уж твое дело. Пропаду я, пропадешь и ты. Нужно подумать.

—Подумай, — сказал Медведев, как-то искоса поглядывая на Кузина.

— А этому Иванову — ни слова. Чорт его там знает. Очень уж тихий мальчик.

ПЕТЛЯ

Маленький караван подвигался медленно. Потапыча все время лихорадило: ночь в яме не прошла ему даром. Как это и предвидел товарищ Кузин, Еремей вел караван не по обычной тропе, а всякими обходами. Вечерами раскладывали костер, но для ночлега уходили от кострища на версту-полторы. Валерий Михайлович время от времени извлекал из вьюка свой таинственный радио-аппарат и вел какие-то еще более таинственные разговоры. Еремей был мрачен и молчалив. Только раз — у костра, как то недоуменно поведя плечами, Еремей сказал:

— А, вот, поди ж ты! Жулик человек, шарамыжник, пьяница, бродяга, а, вот, как будто чего-то не хватает.

— Веселый человек, — сказал Валерий Михайлович.

— Да и я веселый человек, пока в тайге сижу.

Потапыч густо откашлялся и сказал хриплым голосом:

— Бесполезная личность . . .

— А ты кому полезный? Только вот дуре Дуньке, да и то. . .

— Что: да и то?

— Разжирел на ворованных хлебах, как боров, а толк то с тебя какой?

Потапыч еще раз откашлялся, но предпочел оставить эту опасную тему в покое. Еремей, снова обращаясь к Светлову, — продолжал тем же недоуменным тоном:

— Такая жизнь пошла, что только в тайге и жить можно, — человеком, а не зверем. Да вот вы, Валерий Михайлович, сказали, что и тайгу придется бросить — куда же податься-то?

— Я еще не совсем уверен, что придется и тайгу бросать. От нас к Медведеву один там человек приставлен, — если будет опасность, он нам сообщит. То-есть, вероятно, сообщит, сейчас ни за что ручаться нельзя. Пока доедем до вашей заимки, что-то выясниться.

— Доехать-то недолго — завтра к вечеру будем уже дома.

— А я, папаша, — сказал Федя, — завтра утром вперед пойду, наперерез через горы, — наши то, поди, ждут там и не дождутся.

— И это можно, — согласился Еремей. — Скажи, пусть баню затопят. Часа на три раньше будешь.



Рано утром, когда караван был уже навьючен, — Федя пошел вперед. Потапыч так ослабел, что с трудом взобрался на коня, его все лихорадило, и даже светловский хинин помогал мало. Еремей был попрежнему мрачен, и даже близость дома его не успокаивала.

— Правда и то, что вся Россия куда-то бежит, — мы то чем лучше?...

— Скоро и бежать будет совсем некуда, — отозвался Потапыч. — Вот все думали-думали: к папаше, на заимку, — вот тебе и заимка...

Часам к пяти следующего дня караван пробирался по вьючной тропе, проложенной через довольно широкую полянку. Валерий Михайлович услыхал какой то крик и, повернув голову, заметил какого то человека, который что то кричал, на ходу размахивая руками и казался в состоянии крайнего возбуждения. Валерий Михайлович почти автоматически схватил винтовку.

— Нет, это свой, — успокоительно сказал Еремей, — сосед, сойот, безвредный человек, да только, что с ним?

Сойот оказался маленьким невзрачным человеком, одетым почти в лохмотья. В руке у него была старая, видавшая всякие

виды, берданка. Он казался в полном изнеможении от усталости и возбуждения.

— Помогай, бачка, приятель приехал, на охоту пошли, упал, ногу сломал, — вот лежит там, версты две, слабый я, не могу нести. Хорош приятель, много помогал.

Еремей сердито плюнул.

— Ввек мы до дому не доедем, словно наколдовал кто, — ну, веди, где там твой приятель лежит.

— Поедем вместе, — сказал Валерий Михайлович, — вдвоем безопаснее.

— Да какая тут опасность — места, ведь, уж свои, а сойот этот — старый приятель. Зря Федьку отпустил, пошел бы с Федькой, с Потапыча сейчас никакого толку нет.

Валерий Михайлович казался в некоторой нерешительности. Ему как-то не хотелось отпускать Еремея одного, и еще менее хотелось оставлять свой таинственный багаж под охраной только Потапыча, который, действительно, стоил немного. Еремей предложил сойоту свободную Федину лошадь.

— Вы тут подождите, мы в полчаса — час смотаемся . . .

Сойот взобрался на лошадь и вместе с Еремеем исчез в тайге. Сойот ехал впереди, указывая дорогу. Еремей, все-таки с винтовкой в руке, трусил за ним в расстоянии шагов десяти. Версты через две, среди заваленной буреломом прогалинки, Еремей увидел лежащего на земле человека. Подъехать верхом было невозможно. Еремей и сойот спешились и стали пробираться к лежащему.

— Нашли, товарищ Кузин, нашли помощь, — радостно кричал сойот.

Товарищ Кузин медленно приподнялся на локте. Шагах в десяти позади Еремея, из-за сваленного бурей кедра поднялась человеческая фигура с арканом в руке. Фигура сделала два, три взмаха над головой и неслышная петля аркана захлестнулась на шее Еремея. Фигура дернула аркан, откинувшись назад всей тяжестью своего тела. Еремей еще успел схватиться за ремень аркана, но петля уже придавила обе сонные артерии. Теряя сознание, Еремей грузно осел на землю. Из-за того же кедра и откуда-то с других сторон сразу выскочило несколько человек. Сойот завизжал пронзительным визгом:

— Друга обманул! Товарища обманул! Ги — и — и —.

— Вяжи! — орал Кузин.

Сойот вскинул берданку. Глухо в тайге стукнул выстрел, и Кузин медленно опустился на землю. Сойот с проворством белки нырнул в заросли.

— Держи его, держи, — слабеющим голосом кричал Ку-

зин. Кто-то кинулся за сойотом, кто-то стал стрелять ему вслед. Остальные целой кучей навалились на потерявшего сознание Еремея. В несколько секунд он был связан ремнями и по рукам и по ногам. Когда он очнулся, почувствовал, что не может пошевелить ни одним членом, даже его чудовищной силы было недостаточно, чтобы разорвать эти ремни. Он лежал на спине, смотря в осеннее прозрачное небо тайги. „Вот взяли таки живым", подумал он . . . Потом мысли перескочили к Светлову и к заимке. „Теперь „они", вероятно, и на заимку бросятся. Хоть бы предупредить своих!" . . .

Не без некоторого усилия, Еремей повернулся на бок. Шагах в семи-восьми от него сидел на земле тот, которого сойот назвал Кузиным. Обеими руками он опирался о землю, а изо рта тонкой струйкой текла кровь. Около него возились два человека в форме пограничников. Кузин посмотрел на Еремея и его лицо исказилось гримасой.

— Вот тебе и фундамент, — сказал он, — но поперхнулся и кровь хлынула изо рта широкой струей.

— Дурак сойот, все-таки — сказал Кузин, — не того поймал. Ну, тащи нас обоих на самолет . . .

ОБЛАВА

Валерий Михайлович сидел на поваленном стволе дерева. Потапыч лежал рядом на земле. Глухо раздался выстрел. Валерий Михайлович по его звуку определил, что это был выстрел из берданки. Потом раздалось еще несколько. Это, конечно, значило, что Еремей попал в засаду. Валерий Михайлович с чрезвычайной стремительностью стал развьючивать одного из своих коней.

— Никак, стреляют, — глухо спросил Потапыч.

— Стреляют. Еремей попал в засаду. Я сейчас туда.

Потапыч крепко выругался.

— Попадетесь и вы, — сказал он. — Выстрелов было много, значит, и людей много, а вы — один.

— Ничего не поделаешь. Вы стрелять еще можете?

— Это я всегда могу.

— Залягте вон за то дерево. Стрелять во всякого, кто подойдет. Если со мной что случится, вот этого вьюка не трогайте никак. Довезете до воды и прямо в воду. А этот — другой — я спрячу.

Валерий Михайлович с такой же лихорадочной стремительностью отнес один из вьюков в сторону и завалил его всякой всячиной. Мысли работали четко и ясно: собственно, во вью-

ках заключались судьбы многих, многих людей, может быть, — миллионов. Но там, где то был Еремей, который очевидно попался, который рисковал своей жизнью из-за него, Валерия Михайловича, и из-за Степки и вот, теперь, из-за совершенно неизвестного человека, который к тому же оказался предателем.

— Пропадем мы тут все, — с трудом подымаясь, сказал Потапыч. — Ну, что ж? Пропадать так пропадать — так я вон там залягу.

Валерий Михайлович закинул винтовку за плечо и взял в руки пистолет — в тайге, при встрече, где сотая доля секунды могла быть решающей, пистолет был рентабельнее. Следы двух лошадей были видны достаточно ясно. Но Валерий Михайлович пошел не по этим следам, а паралельно их направлению, шагах в тридцати справа: так было меньше шансов попасться в засаду. Через минут десять он услыхал топот двух коней: неужели Еремей вырвался? Валерий Михайлович, держа пистолет на прицеле, пробрался обратно к следу. Минуты через две-три из таежной чащобы вынырнул сойот верхом на одной лошади, ведя на поводу другую, — без седока. Значит, Еремей не вырвался.

— Стой! — крикнул Валерий Михайлович.

Сойот круто осадил лошадь. Лицо его было залито кровью и глаза были почти безумными.

— Обманул друга, обманул. Еремея на аркан поймал. — Сойот снова завизжал пронзительным визгом.

— Много там людей? — спросил Валерий Михайлович.

— Много. Двадцать человек. Сорок человек. Больше человек. Солдаты . . . Сойот ничего не знал, сойот поверил другу, теперь сойоту вешаться надо!

Валерий Михайлович пристально всмотрелся в сойота. Нет, сойот не лгал, — нужно было бы быть гениальным актером для того, чтобы разыграть такую роль.

— Ты ранен? — спросил Валерий Михайлович.

— Не знаю, все равно сойоту вешаться надо. А Кузина сойот убил. В живот. Из берданки.

Валерий Михайлович понял, что попытка спасти Еремея совершенно безнадежна. Но если сойот не врал, то надо ожидать нападения и на караван, и на заимку. Пока радио есть в его, Валерия Михайловича, распоряжении, еще остается надежда спасти Еремея путем нажима на Бермана — надежда слабая, но все таки есть. Если же будет потеряно радио, то с ним будет потеряна и всякая надежда.

— Едем к каравану, скачи вперед, — приказал Валерий

Михайлович, вскочив на свободную лошадь и оба поскакали со всей скоростью, какую только позволяли таежные пути.

Навстречу им поднялся Потапыч.

— Ну что, влип Еремей?

— Попался. Может быть, еще выручим. Скорее вьючить опять.

Потапыч как будто сразу отделался от своей лихорадки. Вьюк был навьючен в несколько секунд.

— Теперь во все лопатки к заимке. Боюсь, что они и на заимку нападут.

— Ну, там то уж им не поздоровится.

— Скачут, скачут, — провизжал сойот. — За нами скачут!

— Езжайте вперед и подождите меня через версту. Я буду прикрывать, — сказал Валерий Михайлович.

Потапыч и сойот поскакали вперед. Валерий Михайлович остался один, тщательно вслушался во все приближавшийся топот коней, потом по следу каравана, пробежал метров пятьсот со скоростью, которая сделала бы честь любому легко-атлету и залег за поваленым стволом. Через несколько секунд на тропе показались четыре всадника. Валерий Михайлович выпустил четыре пули. На тропе больше не показался никто. Но откуда то издалека, направления Валерий Михайлович уловить не успел, послышался какой-то сигнальный свист. Почти с прежней скоростью Валерий Михайлович снова побежал по следу каравана. Караван ждал его как было условлено.

— Сейчас нужно как можно скорее, — сказал Валерий Михайлович.

Около часу караван, с предельной при данных условиях скоростью, пробирался по тропе. Через час — дорога привела к открытому берегу горной речки, заваленному галькой. Берега ложа были круты и обрывисты, от них до речки — летом, в период таяния горных снегов широкой и бурной, сейчас узкой и мелкой — было в обе стороны шагов по двести. Караван медленно спустился с обрыва.

— Ох, место плохое, ох, плохое место, шаман тут был убит. Стойте здесь, сойот сам посмотрит.

Валерий Михайлович с Потапычем и конями остался стоять внизу под обрывом. Сойот, проверив свою берданку, поскакал к речке, то и дело ныряя в какие то ямы и вымоины. Минут через пять он исчез в тайге. Еще через минуту послышался его выстрел.

— Нужно залегать, — сказал Потапыч.

Валерий Михайлович с прежней стремительностью снял свой драгоценный вьюк с радио, и оба спутника залегли в вы-

моину гальки, держа на прицеле свои винтовки. Из лесу вынырнул сойот и издали что то кричал. Из того же лесу раздалось три-четыре выстрела. Сойот, прижавшись к гриве коня, вскачь помчался к речке. Выстрелы продолжались. Почти посередине речки сойот как то странно скосился на бок, упал в воду и река понесла его труп куда то на север. Из лесу выбежало несколько пограничников. Трое из них упали сразу, остальные спешно скрылись обратно.

Валерий Михайлович не питал никаких иллюзий: положение было почти отчаянным. От обоих спутников до опушки леса, в котором скрылись пограничники, было шагов триста-четыреста. Из вымоины еще можно было высунуть голову, но выйти из нее было нельзя. Несколько пуль, защелкавших по гальке, дали совершенно излишнее этому доказательство. Дорога вперед была заперта. Дорога назад была под обстрелом. Откуда то сзади каждую минуту могли появиться новые пограничники. Раненый конь галопом помчался по гальке, но был убит очередным выстрелом из леса. Остальные понеслись вдоль берега.

— Нужно по ямам переползти подальше, — сказал Валерий Михайлович. — Только так, чтобы нас не видно было.

— Я ваш вьюк потащу, — сказал Потапыч, у вас винтовка аппетическая, вам способнее стрелять . . .

Вымоины тянулись одна за другой и по ним можно было переползать, не подставляя себя под выстрелы с другого берега. Но скоро это кончилось: очередная вымоина была достаточно глубока и в ней можно было укрыться, но дальше ходу не было, шел какой-то горб. Потапыч быстро высунул голову и, нырнув обратно, пессимистически сообщил:

— Дальше ходу нет, до ближайшей ямы шагов, надо полагать, с тридцать, никак не проползти, подстрелят. Вы только не высовывайтесь, теперь они этот горбик под прицелом держат.

— Придется, видимо, отсиживаться до темноты . . . Нужно только не дать им перейти на этот берег. Давайте укрепляться.

Из валунов и обломков гранита осажденные устроили нечто вроде бруствера, со щелками вроде бойниц. В такую щелку Валерий Михайлович просунул свою винтовку. По противоположному берегу ползком пробирались к речке три-четыре пограничника. Они не успели ни пробраться к берегу, ни отступить в лес. Из лесу посыпались частые выстрелы, и пули стали щелкать по камням бруствера . . .

— Теперь они будут в обход итти, — сказал Потапыч. — Вы, Валерий Михайлович, держите под обстрелом правую сто-

рону, а я левую, авось до темноты мы их задержим. Напрямик они теперь не пойдут.

Валерий Михайлович переконструировал свою бойницу и старательно всмотрелся в противоположный берег. Оттуда, из глубокой опушки леса, все еще сверкали огоньки выстрелов. Но стреляющие были скрыты за кустами и, кроме огоньков, ничего видно не было. Можно было, конечно, стрелять и по огонькам, но запас патронов у Валерия Михайловича был не так велик, чтобы расстреливать его на авось. Валерий Михайлович оторвался от винтовки, взял бинокль и стал взором исследовать каждое место опушки.

— Есть! — вдруг заорал кто-то сзади.

Валерий Михайлович обернулся. У обрыва вымоины, шагах в четырех-пяти от Валерия Михайловича и метрах в двух выше, стоя на коленях, опираясь одной рукой на землю и в другой держа на прицеле пистолет, высовывался какой-то пограничник.

— Ну, а теперь сдавайтесь, сукины дети! — заорал он.

Валерию Михайловичу была ясна вся беспомощность положения. Вытащить винтовку из бойницы не было возможности :пограничник имел полную возможность прострелить оба плеча — или хотя бы одно, и сделать невозможным ни сопротивление, ни даже самоубийство. Рядом с первым пограничником оказался и другой, на этот раз стоя во весь рост, но тоже с пистолетом на прицеле. Потапыч обернулся на крик и то, что он сделал, сделал почти бессознательно: швырнул во второго пограничника горстью гальки и медведем бросился вперед. Ударил выстрел. Потапыч, что-то рыча, успел схватить второго пограничника за ноги, и оба покатились на землю. Первый пограничник продолжал что-то орать — и рядом с ним возник еще кто-то. Валерий Михайлович медленно поднялся на ноги.

— Сдавайся, сук . . .

Пограничник как-то оборвался и комком сырого теста свалился вниз, в выбоину. Третий упал плашмя, выронив из рук свой пистолет. С противоположного берега раздался зычный крик:

— Держись, папаша, выручим . . .

Это был голос Феди. Голос прерывался частой стрельбой — оттуда-же, с другого берега. Валерий Михайлович выхватил из бойницы свою винтовку и вскарабкался на обрыв выбоины. По полянке, тянувшейся от ложа речки до лесу, бежало к лесу несколько человек — сколько, Валерий Михайлович считать не стал. Не добежал никто. Потапыч, одолев своего про-

тивника, сдержанно ругался. Противник лежал полузадушенный. Десятка полтора всадников во главе с Федей мчались к выбоине. Федя еще на скаку кричал:

— Тут сойоты прибежали, сказывали: на ихнее озеро самолеты, спустились, мы, значит, все на выручку, а где папаша?

— Взяли Еремея Павловича, — сказал Валерий Михайлович.

—Как взяли?

—Так — взяли.

Федя медленно слез с коня. По его детскому круглому лицу, потекли молчаливые слезы.

— То-есть — как же это так? — спросил он, как бы еще не веря невероятному сообщению.

—Да вот, — так. Выманили Еремея Павловича и схватили.

Федя продолжал стоять, опустив винтовку, и слезы продолжали стекать с его щек. Где-то вдалеке раздался гул самолета. За грохотом стрельбы и шумом схватки никто этого гула раньше не расслышал. Далеко, далеко, сверкая аллюминием на фоне голубого неба и снежных горных вершин, плыл на север самолет.

— Вот, может на нем Еремея увозят, — сказал Потапыч.

Федя продолжал стоять молча. Несколько мужиков спешившись, стояли рядом, тоже не веря тому, что Еремея Павловича Дубина кто-то в мире мог схватить. Валерий Михайлович коротко рассказал все, что он знал.

— В конце концов, — закончил он свое сообщение, — дело еще не пропало. Вот я сейчас нажму.

— Куда же тут нажать? — недоуменно спросил Федя.

— Ты вот этого раньше свяжи, а потом будешь спрашивать! — Потапыч показал на побежденного пограничника, который уже принял сидячее положение, но еще не вполне успел притти в себя.

Федя молча отобрал от пограничника все его вооружение. Валерий Михайлович распаковал свой вьюк и занялся таинственными манипуляциями с радио . Все остальные стояли и смотрели с почти суеверным уважением. Кончив свои манипуляции, Валерий Михайлович сказал:

— Ну, что можно будет сделать — будет сделано. Еремея Павловича в худшем случае подержат в тюрьме. Что его не расстреляют, за это можно почти ручаться. А там — посмотрим.

Федя вздохнул с некоторым облегчением и рукавом рубахи

вытер себе глаза. Пленный пограничник издал какой-то неопределенный звук. Потапыч обернулся к нему.

— Ах, так это — ты? — сказал он тоном искреннего изумления.

— Действительно — я, как бы извиняясь подтвердил пленный.

— Тебя-то какой чорт сюда понес?

—А тот же чорт, что и тебя носил . . .

Потапыч длинно и сложно выругался.

— А теперь — куда тебя деть?

— Хоть к чортовой матери . . .

— Свой паренек, — пояснил Потапыч, обращаясь к Валерию Михайловичу.

— Видно, что свой, — ощерился паренек. — Вот, кажется, ногу свихнул.

— И благодарите Бога, — сказал Валерий Михайлович, — если бы он не стянул вас с обрыва, вас бы подстрелили как вот этих! — Валерий Михайлович показал рукой на трупы двух пограничников.

— А ведь и правда, — удивился паренек.

— Свой, подтвердил еще раз Потапыч. — И выпито было . . . А вот звать его . . . Вот и забыл . . .

— Петренко, — сказал пленник.

— Ах, да, Петренко, теперь вспомнил . . . Так куда ж тебя деть-то?

— А хоть к чортовой матери, — повторил Петренко.

— Несерьезный адрес, — сказал Потапыч.

— А нельзя ли с вами увязаться? — робким тоном спросил Петренко. — И дезертирства никакого не будет, никто не отвечает. Пропал человек, и конечно. Трупа, дескать, не нашли . . . Да и кто искать будет?

— Вы, товарищ Петренко, — вмешался Валерий Михайлович, — сначала расскажите, что это за отряд, какое назначение — ну и все такое.

Петренко, все еще сидя на земле, пожал плечами.

—А разве я знаю? Собрали две отборных полуроты. Посадили на четыре самолета, командовал капитан Кузин. Задание для нашей полуроты было: перехватить ваш караван.

— А другая полурота?

— Об этом ничего я не знаю. Спустились на каком-то озере, высадились, которым взводным — тем дан был приказ, а нам только сказано взять живьем — вот и взяли . . . — Петренко попытался подняться, но со стоном опустился снова на землю.

— Как есть ногу вывихнул. Вот тебе и приятель . . .

— Это вы при падении, — утешил его Валерий Михайлович. — Мой вам совет: заберитесь в кусты и ждите. Придут ваши и заберут вас. Взять с собою мы вас не можем. Федя, скорее ловить коней и вьючиться. Вторая полурота может напасть на заимку.

Федя с мужиками помчались ловить коней. Потапыч с хмурым видом обошел берег и собрал все оружие убитых пограничников. Валерий Михайлович пытался еще что-нибудь выудить у Петренко, но тот, видимо, и в самом деле, ничего не знал. Потапыч, вернувшись, мрачно сложил в кучу собранное оружие и еще более мрачно сказал:

— Ну, и нахлопали же их! Твое, Петренко, счастье, что я во время тебя стащил. Тут по части винтовки такие мастера, что не дай ты, Господи . . .

Петренко как-то неуютно поежился. Он хотел что-то сказать, но его прервал Валерий Михайлович. Голос у Валерия Михайловича стал каким-то сухим, а глаза недобрыми и колючими.

— Сколько вас тут есть? — спросил он Федю.

— Одиннадцать, Валерий Михайлович, — ответил Федя каким-то субординационным тоном.

— Возьми с собой восемь, ты девятый, скачи к заимке. Вышли вперед двух-трех разведчиков, чтобы не попасть в засаду. Вы, Потапыч, займитесь вьюками.

— Оружие бы хорошо подобрать . . .

— Не нужно. Только патроны. Да и то потом. Действуйте!

Потапыч как-то бессознательно вытянулся и ответил по-военному:

— Слушаюсь, Валерий Михайлович.

— Так, значит, вы и есть тот Светлов, — жалобным голосом сказал Петренко, — за которым нас, вот, гоняли. Взяли бы вы меня с собой, товарищ Светлов, ей Богу.

— А что вы делать будете?

— Землю пахать. Землю пахать хочется.

— Демобилизуют вас — будете пахать.

— В колхозе-то? Там не я пашу, там на мне пашут . . . Взяли бы вы меян с собой, ей Богу . . .

Петренко все еще сидел на земле, поджав под себя поврежденную ногу и снизу вверх смотрел на Валерия Михайловича умоляющим взглядом.

— Позвольте доложить, Валерий Михайлович, — военным тоном сказал Потапыч. — Парень, действительно, свой, попал по мобилизации, ну, конечно, проверяли там, кто папаша, кто

мамаша — меня, ведь, тоже проверяли, а разве проверишь, что у человека на душе делается . . .

Валерий Михайлович еще раз оглядел Петренко.

—Ну, чорт с вами, едем вместе, там посмотрим.

— Вот и спасибо, Валерий Михайлович. Спасибо, что не побрезговали. А, может, и я еще на что, кроме как пахать, пригожусь . . .

Уцелевшие кони были пойманы и навьючены. Федя в числе девяти всадников, указал по направлению к заимке. Светлов, Потапыч, Петренко и еще два мужика тоже двинулись вслед за Федей через речку. На опушке леса валялось несколько трупов. Валерий Михайлович приказал собрать все патроны — винтовок и так было достаточно и с той и, тем более, с другой стороны. Караван медленно втянулся в лес.

Лицо у Валерия Михайловича стало каким-то серым, колючим и почти отсутствующим. Все было очень не хорошо. Точно он, Валерий Михайлович, волочил за собою какую-то бесконечную цепь горя, несчастий, убийств. Вот, — сколько жизней только на один отрезок его жизненного пути от Лыскова до заимки. Не стоит считать. И, кроме того, до заимки еще не добрались, да неизвестно, доберутся ли. И неизвестно, цела ли еще заимка. А если и цела?

— Потапыч, — резким тоном спросил Валерий Михайлович, — как звать жену Еремея Павловича?

— Дарья Андреевна.

. . . Что он, Валерий Михайлович, скажет этой женщине? Вот — приехал дорогой гость с радостными вестями? . . . И как быть с Еремеем?

Челюсти Валерия Михайловича сжались еще крепче. Как много, много раз в прошлом, так и сейчас, вопрос приобретал некоторый принципиальный характер. И, как и в прошлом, осложнялся, так сказать, техническими деталями. В данном случае технические детали сводились к тому, что по всем разумным данным вся эта экспедиция, пока что закончившаяся арестом Еремея, была предпринята по собственной инициативе Медведева, и что, по тем же данным, Берман не имеет никакой возможности освободить Еремея даже и при его, Бермана, почти неограниченной власти над жизнью и смертью миллионов людей. Там, на перевале, Валерий Михайлович пообещал Берману не предъявлять ему невыполнимых требований. Требование об освобождении Еремея было невыполнимым. Или почти невыполнимым. Как это ни было парадоксально, — для дела, для борьбы, для ликвидации этого и в самом деле сатанинского аппарата, олицетворявшего собою по мнению Вале-

рия Михайловича, если и не абсолютное зло, то наибольшее в истории человечества приближение к абсолютному злу, — жизнь Бермана была неизмеримо дороже жизни Еремея. Держа в руках Бермана, — живого Бермана, можно было добиться очень многого. Жизнь Еремея, с точки зрения дела — была почти безразличной. Имеет ли он, Валерий Михайлович, моральное право рисковать интересами дела, то-есть жизнью миллионов людей, в интересах спасения жизни Еремея. Валерию Михайловичу вспомнились горячечные рассуждения Раскольникова о Наполеоне и „твари дрожащей", — рассуждения не только горячечные, но и глупые, как он всегда их оценивал. Теперь они представились в несколько ином свете. У Раскольникова был выбор: можно было убивать и можно было не убивать. У Валерия Михайловича этого выбора не было. Нужно, чтобы погибли — или Берман или Еремей. Если Берман освободит Еремея, что технически было вполне возможно, то, он, вероятно, подпишет себе смертный приговор: Медведев уж сумеет использовать весь клубок событий и — спасая, может быть, самого себя, — сделает все, чтобы погубить Бермана . . .

Валерий Михайлович посмотрел на часы. Было без пяти четыре. Оставалось еще два часа и пять минут. За это время нужно выработать какой-то план . . .

Валерий Михайлович, сидя в седле, закурил папиросу. Потапыч искоса посмотрел на него и какой-то невысказанный вопрос застрял у него в горле: лицо Валерия Михайловича не предрасполагало к вопросам.

. . . Во всяком случае, — пытку и казнь Еремея можно было отодвинуть на неопределенно долгое время. Берману нужно дать понять, что за целость и жизнь Еремея он, Берман, отвечает своей жизнью. Потом эту угрозу, может быть, можно будет и не приводить в исполнение. Но — нужно рискнуть. Валерий Михайлович крепче сжал зубы: мысль, которую он железным усилием воли загнал куда-то в подсознание, — дальше подсознания он загнать ее не мог, — снова прорвалась на свет дневной. Жизнь Бермана означала, в частности, весьма вероятную возможность освобождения Вероники в каком-то не очень далеком будущем. От этой мысли Валерий Михайлович почувствовал нечто вроде физической слабости: пот выступил на лбу, и спичка для очередной папиросы дрожала мелкой дрожью . . . Потом — Еремей с его, так сказать, перманентной готовностью „отдать душу за други своя", — а какой ему, Еремею, друг Валерий Михайлович? Или — Степка? Конечно, уступка Берману означала бы слабость — и Берман эту уступку так бы и учел. Валерий Михайлович знал, какой лу-

кавый инструмент являет собою человеческая логика и как послушно приводит она те доводы, которые желательны подсознанию. „Наука есть служанка богословия" . . . Логика есть потаскуха человеческих эмоций. Основной всепоглощающей эмоцией Валерия Михайловича когда-то было: освобождение человечества. И вот . . .

Валерий Михайлович трясся на своем коне, молчал и курил. Потапыч посматривал на него с чувством все большего перепуга. В пять тридцать Валерий Михайлович лаконически приказал:

— Спешиться, привал. Снять вот этот вьюк.

Потапыч и мужички стали развьючивать. Петренко попытался слезть с седла, но со стоном опустился обратно. Валерий Михайлович, вопреки своему обыкновению, не помогал ничем: стоял, курил и молчал. Когда вьюк был снят, Валерий Михайлович уселся за свое радио, и зеленые огоньки снова запрыгали в таинственной лампочке. Потапыч и мужики снова смотрели на это священнодействие с почти суеверным чувством, а Петренко, почти улегшись на шею коня, обводил недоуменным взором всю эту группу.

Манипуляции Варелия Михайловича продолжались минут двадцать. Когда они были кончены и когда радио-передатчик был снова упакован, Валерий Михайлович так же лаконически приказал:

— Навьючить и теперь поскорее.

Кавалькада двинулась дальше по еле заметной таежной тропе. Уже темнело, и тропу могли разглядеть только очень привычные таежные глаза. Где-то, не очень вдалеке, послышался конский топот и раздался свист.

— Это никак, Федор Еремеевич свистит, — сказал один из мужиков.

У Валерия Михайловича слегка опустилось сердце. Это могло означать, что Федя, вместо заимки, нашел только развалины. Но минут через пять Федя, еще с двумя всадниками, вынырнул из лесной темноты.

— Это мы, Валерий Михайлович, — прокричал он — тамо дома все в порядке, мы навстречу поехали.

— А что Дарья Андреевна? — спросил Валерий Михайлович.

Федя как-то хмыкнул и не ответил ничего.

Темнота все сгущалась, и когда кавалькада доехала до заимки, было уже совсем темно. О встрече с Дарьей Андреевной Валерий Михайлович думал не без трепета: что он ей скажет? Одно, конечно, можно гарантировать: на данный момент жизнь

Еремея, повидимому, можно считать в относительной безопасности. Но как долго продлится данный момент? И что есть относительная безопасность?

Разноголосый собачий лай оторвал Валерия Михайловича от его размышлений. При свете чего-то, вроде смоляной бочки, Валерий Михайлович рассмотрел группу плотно сколоченных изб — каменных, как ему показалось, и заграждение из колючей проволки, кустарника и поваленных деревьев, окружавшее эту группу. Десятка полтора — два человек стояло у прохода через это заграждение. Женщин среди них почти не было, мужчины были все вооружены.

— Приехали, — глухим голосом, но как бы не без некоторого облегчения, сказал Потапыч, слезая с коня.

На шею ему, плача, кинулась какая-то женская фигура, — это была Дунька. Другая женская фигура подошла к Валерию Михайловичу, и тут Валерий Михайлович испытал такое изумление, какого он, может быть, не испытывал никогда в жизни.

— Вы, Валерий Михайлович, вы не убивайтесь, — сказала фигура, — на все Божья воля, Бог не оставит. А вины вашей нет никакой. Вот — это наш батюшка, помолимся Богу, Бог нас не оставит.

Валерий Михайлович слез с коня. Горло у него сжималось как-то судорожно. Он снял шапку, обеими руками взял грубую женскую руку и поднес ее к губам. Другая женская рука мягко легла ему на голову.

— Времена, Валерий Михайлович, истинно говорю вам — антихристовы. Смешал Господь разум человеческий, ибо разум человеческий — безумие перед Господом.

Валерий Михайлович, все еще не выпуская руки Дарьи Андреевны, поднял голову. Перед ним — в неясном дрожащем свете смоляной бочки стоял маленький священник, на груди которого тускло поблескивал крест, — вероятно, медный. У священника была реденькая мочального цвета бороденка, но больше ничего нельзя было разобрать. И ничего нельзя было ответить. Это он, Валерий Михайлович, принес сюда горе, кровь и смерть, и его, Валерия Михайловича, утешают люди, которым он все это принес. Валерий Михайлович стоял, держа в руках крепкую грубую руку Дарьи Андреевны и чувствовал, что его нервы начинают, кажется, сдавать.

Положение спас Потапыч.

— Ну, Бог не Бог, а пока человек жив — человек жив. Вот Валерий Михайлович все что-то по радио распоряжался. Мало ли какие переделки бывают на свете Божьем?

Дарья Андреевна обернулась на него, но не сказала ничего. Священник покачал головой:

— Да — безумие перед Господом. Вот и Потапыч болен безумием разума, — какой уж там у него есть.

Дуня, все еще рыдая, оторвалась от Потапыча и переселилась плакать на шею Валерия Михайловича. Валерий Михайлович продолжал стоять в самом центре этой странной группы и чувствовал, как все больше и больше что-то сжимается в горле.

— Ну, идем пока что в избу, — сказал священник, — что тут на дворе столбами стоять.

Валерий Михайлович со страшным усилием воли вернул себе дар слова.

— Вот только с этим вьюком поосторожнее — там, в самом деле, радио.

— А это уж вы не беспокойтесь, — обрадованным голосом сказал Потапыч, — это уж нам известно, ваш вьюк сейчас в избу внесем. Уж как тютельку, вы уж не беспокойтесь . . . Ты, Федя, там подмогни.

Но Федя уже и сам распоряжался, вероятно, по праву, так сказать, наследника престола. Дарья Андреевна осторожно поцеловала Валерия Михайловича в лоб и освободила свою руку.

— Пойдем, в избе все-таки светлее.

Валерий Михайлович двинулся за ней. Под ногами хрустел лед на лужах, смоляная бочка освещала двор неровным красноватым прыгающим пламенем, свет пламени от времени до времени выхватывал из темноты какие-то неясные человеческие фигуры, издали смотревшие на вновь прибывших. В избе оказалась большая комната, центр которой занимал стол, уже накрытый для какого-то, повидимому, гомерического пиршества: стояли бутылки и у бутылок какие-то явства, накрытые сверху глиняными мисками. По стенам комнаты жалось неопределенное количество разноцветных ребятишек, — и постарше, и с пальцами, все еще засунутыми в рот. Стояла огромная —с Еремея, — русская печка, в которой пылало пламя и от которой по всей комнате шло какое-то особое — русское — тепло, в углу мерцали лампадки у киста, мебель была сколочена тоже по еремеевскому образцу — как у Собакевича, у которого каждый стул, казалось, хотел сказать: „и я тоже Собакевич!" Все было массивно, сколочено на века, но как-то приветливо и уютно. Федя внес в комнату светловский вьюк и спросил куда его поставить.

— А в ту горенку, что для Валерия Михайловича, — ответила Дарья Андреевна.

Валерий Михайлович посмотрел на часы.

— Мне ровно в десять нужно еще раз с Нееловым по радио поговорить.

— Чудеса, чудеса, — сказал священник, усаживаясь у стола, — видимо, на свое уже привычное место. — Чудеса. Вот достиг разум человеческий того, что за тысячу верст люди друг с другом разговаривают. А того, чтобы человек человека за два шага понял, — этого разум человеческий не достиг . . .

Валерий Михайлович не без некоторого неприятного удивления констатировал, что священник прав: за тысячи верст разговаривают, а за два шага истребляют. Но сейчас Валерию Михайловичу было не до обобществлений.

— Вы, вот, сюда садитесь, отдохните, ведь тоже намаялись, — сказала Дарья Андреевна.

Валерий Михайлович уселся в какое-то сооружение, которое оказалось очень комфортабельным креслом, — медвежья шкура, натянутая на какой-то остов.

— Вот, — продолжил свою мысль священник, — кстати, зовут меня Паисием — отец Паисий. А все по Писанию: человек, аки трава и дни его, аки цвет сельный, — так вот и идет. Ждали, вот, Еремея Павловича, а где он сейчас . . . Помолиться надо . . . Знаю, знаю, человек вы образованный в молитву не верите.

Валерий Михайлович и верил и не верил. Ссылки на Божью волю иногда его раздражали — они означали, или он думал, что они означают, отказ от борьбы. Из десятков и десятков миллионов людей, погибших в голоде, в пытках, в казнях — сколько полагались на волю Божью. И как можно было призывать АБСОЛЮТА к вмешательству в дела мельчайшей микроскопической плесени, кое-как рассыпанной по поверхности одной из мельчайших песчинок мироздания? Но, может быть, может быть, было и иное: Абсолют, отраженный в каждой человеческой душе?

Валерий Михайлович уже успел справиться с собой.

— На этот раз вы ошибаетесь, отец Паисий. Я человек верующий и человек православный.

Отец Паисий радостно, недоуменно и слегка недоверчиво развел руками: — Бывает, бывает. Великая радость. Ибо это радость о блудном сыне, прошедшем сквозь искушение разума. Бывает.

Над столом висела громадная, как и все в этой комнате, керосиновая лампа, и при свете ее Валерий Михайлович постарался рассмотреть лицо отца Паисия. Оно, может быть, было необычно тем, что ничего необычного в нем не было. Цвета

глаз Валерий Михайлович рассмотреть не мог. Жиденькая, мочального цвета бородка и такие же усы скрывали линии рта. Чуть чуть вьющиеся волосы открывали высокий и очень упрямый лоб, — он несколько выдавался над надбровными дугами. От отца Паисия веяло таким же внутренним спокойствием, как и от Еремея и от Дарьи Андреевны.

А уж Дарью Андреевну Валерий Михайлович встретил в обстановке, которая, казалось бы, не давала решительно никаких оснований для внутреннего спокойствия. Отец Паисий смотрел как-то вниз на свой крест, который он перебирал, пальцами, который был, действительно, только медным, но который был начищен до золотого блеска.

— Рад, очень рад, — сказал отец Паисий. — Неразумная вера — лучше, чем разум без веры, но сколько веры разрушил ваш разум? . . .

На этот вопрос Валерий Михайлович предпочел не отвечать.

— Царство на ся разделися и человек разделися на ся. Самый, конечно, глубокий раздел — это в душе человеческой. И рече безумец в сердце своем — несть Бог . . .

Валерий Михайлович почему-то вспомнил об отце Петре.

— А отца Петра — отшельника этого, вы, отец Паисий, знаете?

— Знаю. Волшебствует. Бога ищет. Кажется, нашел своего.

— Какого же это, отец Паисий? — спросила робким и недоуменным тоном Дарья Андреевна.

— Самого себя, — грустно ответил отец Паисий.

— Так разве-ж это можно?

— Без Бога, Дарья Андреевна, до чего человек не допрыгается . . . А нужно все-таки, помолиться . . .

Отец Паисий встал и подошел к киоту.

— Помолимся умно — каждый, как может.

Валерий Михайлович вспомнил, что ,,умной" молитвой называется молитва про себя. Сейчас бы подошла молитва о плавающих, путешествующих, недугующих и плененных, но полного текста этой молитвы Валерий Михайлович не знал. Отец Паисий, подойдя к киоту, перекрестился широким русским крестом.

— Господи Владыка живота моего . . .

Все стали на колени. Даже на меднокрасной роже Потапыча, который только что вошел в комнату, не отразилось никакой иронии. Он неловко стал на колени и осматривался кругом. Валерий Михайлович еще раз константировал тот факт, что молиться он не умеет: детское настроение молитвы было забыто давно, а для взрослого чего-то все-таки нехватало.

„Еще не хватало", — подумал Валерий Михайлович. Он попытался концентрировать свои мысли на призыве к Абсолюту, но мысли разбегались по каким-то техническим деталям вопроса о Еремее и Бермане. Выходило все-таки по отцу Паисию — как будто он, Валерий Михайлович, молился самому себе и взывал к своим силам и только к ним.

Когда отец Паисий закончил свою молитву, Дарья Андреевна предложила нерешительным тоном:

— А теперь, может быть, закусить чем Бог послал?

Но закуска была бы чем-то вроде кощунства. Валерий Михайлович еще раз посмотрел на часы.

— Так позвольте мне минут на десять к моему радио, — может быть, хоть узнать что-нибудь удастся.

— А вот Федя вас в вашу горенку проводит, — Федюшка, проводи Валерия Михайловича.

Когда Валерий Михайлович вышел, Дарья Андреевна взяла руку отца Паисия и прильнула к ней. Неслышные слезы потекли по этой руке. Другой рукой отец Паисий так же молчаливо гладил голову Дарьи Андреевны. Потапыч как-то повертевшись, исчез в двери. На дворе начиналась вьюга и ветер бился о ставни избы. Дарья Андреевна положила свою голову на колени отца Паисия.

Минут через десять в комнату с несколько растерянным видом вошел Валерий Михайлович.

— Там, в этом доме номер тринадцать, что-то случилось, еще неизвестно что, через час . . . вероятно что-то . . .

Валерий Михайлович поднял голову и прислушался. Порыв ветра донес гул самолета. Потом порыв затих, и гул как будто прекратился. Обман слуха или, в самом деле, нападение на заимку? Дарья Андреевна и отец Паисий тоже подняли головы. Да, конечно, это был гул самолета — сейчас для Валерия Михайловича в этом не могло быть никаких сомнений.

— Это самолет, — сказал он твердо, — нужно подымать тревогу.

Отец Паисий с несколько неожиданной для него быстротой выбежал на двор. Валерий Михайлович взял свою стоявшую в углу винтовку и из рюкзака вынул карманный фонарь — большой силы света, который Валерий Михайлович экономил на крайний случай.

Валерий Михайлович с Дарьей Андреевной тоже выбежали на двор. Смоляная бочка все еще горела — и ее затухающий огонь кое-как освещал стены соседних домов. Гул самолета сейчас был слышен совершенно отчетливо. Потом как-то сразу прервался — самолет, видимо, пытался снизиться над озером.

Обитатели заимки обладали, видимо, лучшим слухом, чем Валерий Михайлович, ибо все мужское население уже было на дворе с винтовками в руках. Федя старался распоряжаться по праву наследника престола, но какой-то бородатый таежник оборвал его довольно невежливо:

— Ты раньше сопли утри, а потом уж командовать будешь.

Валерий Михайлович ничем командовать не мог, ибо не имел никакого понятия ни о населении заимки, ни об окрестностях, ни об озере. Для него было очевидно только одно: Медведев протянул свою руку и сюда. Где-то, вероятно, на середине озера, раздался гулкий всплеск, потом нечто вроде тяжкого удара и потом замолкло все. Обитатели заимки рассеялись за какими-то прикрытиями. Кто то из темноты закричал:

— От света уходите, по свету стрелять будут!

Это было довольно очевидным. Но куда уйти? Дарья Андреевна потащила Валерия Михайловича куда-то за рукав. Из освещенной светом смоляной бочки двери соседнего дома вышел отец Паисий. К искреннему удивлению Валерия Михайловича, — тоже с винтовкой в руках. Почти бессознательно Валерий Михайлович как-то усмехнулся: молитва — молитвой, а и с винтовкой не плошай. И снова сразу же поймал себя на абсурде: разве меч всегда противоречен кресту? И разве Пересвет и Ослябя были насильниками?

Валерий Михайлович очутился за прикрытием какой-то стенки, которая сказалась каменной. В стенке было что-то вроде бойницы, обращенной к озеру. — Вот тут безопасно, — сказала Дарья Андреевна понимающим тоном. — Этого не прострелят, я тоже за винтовкой сбегаю.

Дарья Андреевна исчезла. Казалось, над озером воцарилась полная тишина: гул вьюги был только звуковым фоном, и на этом фоне не было слышно ничего. Вернулась Дарья Андреевна — действительно с винтовкой, и было видно, что для нее это далеко не первый раз. Да, заимка может оказаться довольно крепким орешком даже и для Медведева с его командами. Валерий Михайлович просунул свою винтовку в бойницу и весь ушел в слух. Но кто-то что-то уже кричал с берега, что именно — разобрать за гулом вьюги не было возможности. Однако тон криков не был тревожным. И вдруг до Валерия Михайловича донесся неясный рык голоса, который во всем мире мог принадлежать только одному человеку, и этим человеком мог быть только Еремей Павлович Дубин.

Дарья Андреевна бросила винтовку.

— Господи, Боже мой, помилуй и помоги! Пресвятая Заступница, Матерь Божия, помилуй и помоги! Это он, как Бог

Свят, это он, — Дарья Андреевна крестилась, молилась и, видимо, не верила своим ушам. Валерий Михайлович поднялся. У самого берега группа мужиков пыталась спустить на воду лодку, которая стояла на берегу и, видимо, примерзла к земле. Из тьмы озера снова донесся рык. На этот раз не было никаких сомнений — это был Еремей.

— Сами доплывем, — рычал он, — здорово, ребята, жив и цел!

Валерий Михайлович достал свой фонарь. Яркая полоса света прорезала вьюгу и тьму. Шагах в пятидесяти от берега, ломая своими медвежьими руками еще тонкий прибережный лед, проламывался к берегу Еремей Павлович. Было еще плохо видно, но как будто бы на его плече что-то виднелось — не то мешок, не то человеческое тело. Лодку, наконец, сдвинули с места, но это было уже поздно: Еремей стоял уже по грудь в воде — или во льду — и проламывался дальше. На его плече висело действительно какое-то человеческое тело. Дарья Андреевна бросилась на лед, он под ней проломался, она бежала дальше, ломая ледяную корку, и через несколько минут на берегу появился Еремей Павлович совершенно живым и, повидимому, невредимым, на шее его повисла Дарья Андреевна, которая рыдала, уже не стесняясь никого; на одном плече у него висела винтовка, на другом бессильно повисло какое-то человеческое тело.

Еремей Павлович победоносно высадился на берег, осторожно снял с себя Дарью Андреевну и так же осторожно положил на землю чье-то бесчувственное тело. Федя и Дунька, плотно обнявшись, плакали тут же в сторонке. Потапыч стоял недоуменным столбом.

— Ну, как вы? Все целы? — загремел опять еремеевский голос. — А баня, Дунька, готова? Эх, сейчас бы попариться, — было бы дело! А это неизвестный мне человек, — а, вот меня выручил. Здравствуйте, Валерий Михайлович, но только я на ваших самолетах больше не ездок: я вам не ворона, чтобы летать. Качает и мутит, я вам не ворона . . .

Дунька, оторвавшись от Феди, тоже бросилась на отцовскую шею:

— Господи Боже мой, Владыка Милостивый, цел ты вернулся и то слава Тебе Господи!

— Какое там цел — видишь какую шишку набил . . .

Да и руки, видишь, в кольцах. У этого человека — тоже. Ты там, Федя, принеси напильник . . .

На левой стороне еремеевского лба, действительно, красовалась довольно основательная шишка.

***

Товарищ Берман от времени до времени, впрочем, очень редко, считал необходимым преподавать своим сотрудникам некоторые основы, на которых зиждилась человеколюбивая деятельность подчиненного ему учреждения. В область высокой политики Берман при этом не вдавался никогда, сотрудники были благодарны ему и за это. Обычно говорилось о товарищеской спайке — сотрудники слушали, молчали и даже не улыбались. Иногда говорилось о железной дисциплине партии и НКВД — тут улыбаться и вовсе не было поводов. Иногда Берман подчеркивал ключевую позицию, которую занимало данное учреждение в общей системе власти, требовал выдержки, спокойствия, стальных нервов и говорил даже и о физкультуре. Сотрудники смотрели на чахлое насекомое тело товарища Бермана, вспоминали его странные папиросы и запах какого-то наркотика, который вечно вносил с собою Берман, — слушали с деревянно внимательными лицами и, как на всяких собраниях и прочем, ждали только одного: конца. К счастью для сотрудников, Берман не стремился пожинать лавров красноречия и редко говорил больше двух-трех минут. Но и от этих двух-трех минут у аудитории оставалось чувство какой-то жути — что, собственно, Берман и имел в виду.

Особенно нелепы были призывы к физкультуре: „нам, чекистам, необходимо железное здоровье". По лицу Бермана трудно было определить, сколько ему лет: может быть тридцать, а может быть и шестьдесят. Он был похож на преждевременно состарившегося тарантула — но кто мог бы сказать, когда именно тарантулу полагается стареть? Во всяком случае для того, чтобы подать сотрудникам личный пример, Берман — не ежедневно, но довольно часто, — отправлялся на прогулку. Ему подавали огромную открытую машину. Рядом с шоффером сидел телохранитель. Остальные пять телохранителей следовали на другой машине, — шагах в двухстах от первой: Берман упорно запрещал лишнюю охрану, учреждение так же упорно не слушало его запретов, и Берман знал, что никто их и слушать не будет: все это входило в рутину ведомства и нарушение этой рутины могло бы иметь для нарушителей очень тяжкие последствия. Раз созданное учреждение, казалось, продолжало жить собственной жизнью, подчиненной каким-то собственным законам и строило свой быт и свои клетки почти органически.

В этот, столь богатый событиями день, Берман решил поехать на прогулку. Была подана машина, оффициальный те-

лохранитель уже сидел рядом с шоффером, неоффициальных пять уже усаживались в свою машину где-то за предполагаемыми пределами взоров товарища Бермана, и физкультурная экспедиция двинулась по улицам Неелова. Маршрут был тоже „установлен навсегда" — не столько по соображениям рутины, сколько по состоянию мостовых и дорог: ни по какому иному маршруту на машине проехать было нельзя, не рискуя рессорами автомобилей. Благодарное население Неелова предпочитало сворачивать с дороги, — кроме беспризорников, для которых никакие законы писаны не были и которые, тоже уже по традиции, завидев любую машину, имевшую особо привиллегированный вид, устремлялись к ней, рискуя попасть под колеса и выпрашивая папиросу.

Так случилось и на этот раз. Когда машина товарища Бермана на повороте замедлила ход, какой-то беспризорник, завернутый в невообразимое даже и для социалистического рая тряпье, — вскочил на подножку машины и протягивая свою грязную руку, больше похожую на высохшую птичью лапу, провизжал:

— Дяденька, дай папироску!

Из птичьих пальцев мальчишки на сиденье рядом с Берманом упал какой-то клочок бумаги. Берман накрыл его правым локтем, левой рукой полез в карман и выбросил на мостовоую пару папирос; это тоже была традиция: так средневековые короли бросали в толпу цехины, дукаты и талеры.

—Спасибо, дяденька! Ая! — беспризорник спрыгнул с подножки и бросился к папиросам, на которые уже насела кучка его сотоварищей. Машина завернула за угол, и уличная идиллия осталась позади товарища Бермана.

Клочок бумажки жег бермановский локоть. Телохранитель, как всегда, смотрел, главным образом, на троттуары, пытаясь определить людей, у которых в их „авоське" или портфеле могла быть бомба. На поворотах телохранитель был особенно внимателен . . . Поэтому бумажка не была замечена никем, кроме товарища Бермана. Поправляясь в сидении, товарищ Берман осторожно переложил бумажку в карман. Машина выехала за город. Берман вышел на шоссе или, вернее, проселок, который только очень отдаленно был похож на шоссе, но который все таки кое-как был подсыпан для автомобильного движения; посидел на обочине дороги, выкурил еще одну папиросу и влез в машину: на этом гигиеническое мероприятия товарища Бермана обычно и заканчивались.

Вернувшись в свой кабинет, Берман достал бумажку. На ней заглавными квадратными буквами стояло:

„условие Дубина перевала будет выполнено".

На своем лбу товарищ Берман почувствовал нечто вроде холодного пота. Это могло означать только одно: Дубин арестован, и Светлов требует его освобождения. Кто-то и где-то железной рукой сжал бермановское кашеево яйцо. Что делать?

Берман достал свой шприц. Сладковатый запах какого то наркотика чуть-чуть заметно повис в воздухе. Покончив со шприцем, Берман всосал в себя сразу, по крайней мере, пол-папиросы.

Повидимому, то ли Медведев, то ли кто-то из его подручных захватили этого Дубина. Как бы то ни было, протестовать против этого захвата он, Берман, не имеет никаких поводов: он сам одобрил медведевский план массовой таежной облавы, — но это одобрение было дано до рокового разговора на перевале. Сейчас Светлов нажимает кнопку. Что им руководит? Только ли то чувство привязанности к людям, которое графологическое исследование установило, как единственный слабый пункт светловской психологии? Или что-то иное? Если только привязанность, то Светлов, может быть, своей угрозы не выполнит — было бы нелепо предполагать, что возможность шантажирования Бермана будет растрачена по такому пустяковому поводу. А, может быть, и будет?

Здесь товарищ Берман вступил в область настолько чуждой ему психологии, что терял всю присущую ему уверенность... или самоуверенность. Товарищ Берман вспомнил холодный спокойный блеск светловских глаз и подумал о том, что этот человек исполнит или постарается исполнить всякое свое обещание и всякую свою угрозу. Реализация данной угрозы, кроме того, была слишком страшна, чтобы рисковать ею на основании очень сомнительных выводов по поводу привязчивости, дружбы, и прочего в этом роде. Угрозу надо принять, как факт, и с ней надо считаться, как с фактом. Но — как?

Товарищ Берман закурил очередную папиросу. Очередная папироса как-то отвлекла его в сторону чисто теоретических соображений. Власть над смертью у него была почти безгранична. А власть над жизнью? — Почти никакой. Вот он, глава почти всемогущей организации, только что прятал бумажку, как невыучивший урока школьник прячет шпаргалку. Вот, стоит перед ним — действительно угроза, и он не может ее отвести, приказав просто-напросто отпустить этого Дубина на все четыре стороны. Ибо если он это прикажет, то Медведев каким-то — не вполне ясными для самого Бермана путями — доложит об этом приказе в Кремль. В Кремле же, кроме гениальнейшего, сидят и еще люди, вот, вроде того же Медведе-

ва, для которых день гибели Бермана будет, может быть и одним из лучших дней их жизни . . .

Во всяком случае, все это возможно оттянуть. Светлов должен же понимать и его, Бермана, положение? Обещал же Светлов не предъявлять ему заведомо невыполнимых требований? Но как об этом дать знать Светлову? Неужели в стенах этого учреждения у Светлова есть своя агентура?

Над Нееловым, над улицей Карла Маркса и над домом № 13 уже спускалась ночь. Берман все сидел и комбинировал. На столе раздался тонкий телефонный писк. Берман нажал ответную кнопку. В комнату вошел секретарь:

— Разрешите доложить, товарищ Берман, — товарищ Медведев хочет вас видеть . . .

В комнате было уже совсем темно, и Берман приказал включить свет. Грузная фигура Медведева показалась в рамке двери. Вид у Медведева был торжествующий и смущенный. Слегка разводя в стороны руками, он сказал:

— Ну и дела, товарищ Берман . . .

— Я уже знаю, — ответил Берман, — вам удалось все таки арестовать этого Дубина.

Товарищ Медведев выругался длинно и витиевато, — но только про себя — откуда этот эфиоп знает об аресте? Ему, Медведеву, только что сообщили по телефону с аэродрома. Что этот эфиоп знает еще?

— Точно так, товарищ Берман. Это — капитан Кузин с его отрядом. Действовал, так сказать, по собственной инициативе. Обошлось, правда, дороговато.

Берман не проявил никакого интереса к цене.

— Десятка два человек выбито из строя и сам Кузин ранен пулей в живот. Сейчас их всех доставят сюда. Хотите посмотреть?

— Все это было бы очень хорошо несколько дней тому назад. Теперь, я думаю, мы только вспугнули гнездо. Сорвали след.

— Ну, товарищ Берман, — лучше все таки живой Дубин, чем мертвый след. Следы, ведь, все были потеряны . . .

Медведев все еще стоял перед бермановским столом, и Берман скупым движением руки показал ему на кресло. Медведев с грузной осторожностью уселся, почти не сводя испытующего взора с товарища Бермана.

— Замечательно запутанная история, — как бы соболезнующим тоном сказал он. — Впрочем, для вас она, может быть, яснее, чем для меня, — я не был посвящен в курс дела. Какую то нить мы все таки имеем . . .

— Очень сомнительная нить, — сказал Берман. — было дано распоряжение следить за Светловым, еще в Москве, и не арестовывать его. Иначе он был бы уже давно арестован.

— Лучше Дубин в руках, чем Светлов в небе, — попробовал пошутить Медведев, но осекся. — Лучше что-нибудь, чем ничего . . .

— Вы, товарищ Медведев, пока оставьте этого Дубина в моем личном распоряжении — я займусь им сам.

Товарищ Медведев почувствовал нечто вроде разочарования. Не то, чтобы он был садистом по природе, но после приключения в расщелине у него остался какой-то осадок, — товарищ Медведев и сам не мог бы определить, какой именно. Может быть, ощущение какой то силы, очень большой силы, но силы как то абсолютной враждебной и ему, Медведеву, и его, Медведева, учреждению и всему тому складу жизни, в котором он, Медведев, был устроен так хорошо. Это было то же ощущение, какое возникло у него при изучении папки с делом Светлова: это сила, которая собирается отправить его, Медведева, на виселицу. Никаких симпатий к этой силе Медведев питать не мог. Но было бы очень утешительно увидеть эту силу у своих ног. И в своем распоряжении. Жаль, что это удовольствие перехватывает Берман.

На столе опять раздался тонкий телефонный писк. Опять вошел секретарь.

— Дежурный по комедатуре с докладом.

— Пусть войдет.

В кабинет вошел товарищ Иванов.

— Разрешите доложить: доставлен арестованный гражданин Дубин и раненый капитан Кузин, и еще шесть раненых. Как прикажете?

Медведев искоса посмотрел на Бермана и не приказал ничего.

— Арестованного — в верхнюю комендатуру, — приказал Берман. — Раненых, конечно, в госпиталь, — впрочем, я сам сейчас приду . . .

***

На самолете, куда с великим трудом пограничники взгромоздили огромную, тяжелую массу Еремея Павловича, — лежали рядом оба: и побежденный и победитель. Побежденный — Еремей — не мог пошевелить ни одним суставом. Победитель — капитан Кузин — от времени до времени слизывал кровь со своих пересыхавших губ и тихо стонал. Оба смотрели в одно и то же ясное небо. Самолет, пролетая над хребтами, то

проваливался в воздушные ямы, то качался, как щепка, под порывами горных ветров. При каждом провале вниз, Кузин сжимал зубы и старался не стонать. Еремей молчал, и мысли его были заняты, главным образом, заимкой: как пить дать, — дорвались и туда. Может быть, Светлов все-таки успел на выручку? А, может быть, он лежит также связанный в другом самолете? Как Федя, как Дарьюшка? Впрочем, обо всем этом лучше не думать совсем . . .

Подпрыгнув несколько раз на площадке аэродрома, самолет стал. Кузин казался в полузабытьи. С большим трудом шевеля губами, он все таки приказал конвою:

— На этого — две петли и наручники. Раньше петли . . .

Трое пограничников привели Еремея в сидячее положение и надели на его шею две скользящих петли из тонкой стальной проволоки. Конец одной шел вперед, другой — назад. Еремей понял: малейшее движение с его стороны, его сонные артерии будут перетянуты двумя стальными петлями — и шабаш. Надев петли, пограничники, к которым присоединилось еще человека три, видимо, достаточно опытных в такого рода манипуляциях, осторожно развязали ремни и надели на руки Еремея сразу два наручника. Посмотрев на них, Еремей, с какой-то слабой надеждой неизвестно на что, убедился в том, что цепи наручников были не одинаковой длины. Потом Еремею развязали ноги и приказали спускаться.

Спускаться было трудно. Ноги затекли от ремней. Нащупывая скованными руками стенки самолета, Еремей спустился по лесенке. Кузина уже перекладывали на носилки. Тут же стояло еще около полдюжины носилок, на которые перегружали с самолета раненых пограничников. Метрах в десяти стоял черный ворон с раскрытой для добычи пастью — тюремный автомобиль.

Еремей, пошатываясь на своих затекших ногах, двинулся к этой пасти. Один пограничник с концом проволоки в руках, шел вперед, пятясь задом, другого — сзади, не было видно. Захлопнулась стальная дверь ворона, и Еремей подумал о том, что отсюда то уже не сбежать: очень уж обстоятельно все это устроено. Но, уж как там Бог даст . . .

Дверь ворона раскрылись на дне глубокого каменного колодца. По всем четырем сторонам двора подымались шестиэтажные стены с окнами, заделанными тяжелыми решетками. В прежнем порядке Еремея повели куда-то наверх. Лестницы, корридоры, повороты. Наконец, большая квадратная комната, на полу которой стояли носилки, а на носилках лежал капитан Кузин. Около него стоял Берман, тот самый Берман, с ко-

торым таким повелительным тоном и еще так недавно разговаривал на перевале Валерий Михайлович. Рядом с Берманом стоял тот человек, которого еще так недавно Еремей Павлович спасал со стенки расщелины. Может быть, и Валерий Михайлович не так уж всесилен? И, может быть, этого толстого совсем не стоило спасать?

— Ну, что, товарищ Кузин? — совершенно безразличным тоном спросил Берман.

Кузин облизнул свои запекшиеся губы и сказал:

— Ранен. В фундамент.

— Какой фундамент? — удивился Берман.

— Фундамент, — уже бредя, ответил Кузин. — Вот, один был фундамент, и тот прострелили. Теперь вовсе без фундамента . . .

— Отнесите его в госпиталь, — приказал Берман. — А это тот Дубин?

Берман обернулся и осмотрел Еремея Павловича. Так несколько секунд стояли они друг против друга. Впрочем, сам Берман Еремея Павловича как-то не интересовал. Обстановка интересовала больше.

„Верхняя комендатура", куда приводили наиболее важных арестованных, была большой квадратной комнатой. У стен стояли тяжелые дубовые скамейки, почти посередине комнаты стоял такой же тяжелый дубовый стол и перед ним — тоже скамейка. На стенах были развешаны портреты вождей, к которым Еремей не проявил решительно никакого интереса, и была растянута огромная карта, которую Еремей мельком но внимательно сфотографировал своими глазами: а, вот Нелово, вот — это Лысково, — а вот тут должно быть и есть заимка — что-то делается сейчас там? По своей старой артиллерийской службе Еремей Павлович умел разбираться в картах.

Из комнаты вели три двери. Сквозь одну из них, выходившую в какой-то коридор, входили какие-то, видимо, очень высоко стоявшие люди, на лицах которых отражалась смесь любопытства и робости: любопытно было посмотреть на такого таежного зверя, каким они уже знали Еремея Павловича, а присутствие Бермана вызывало некоторую робость, и как-то отбивало всякое любопытство. У этой двери стояла стойка с оружием. Над ней висела распределительная доска электрического освещения. Окна были забраны тяжелыми решетками. Двое пограничников все еще стояли с концами стальных петель в руках: один спереди, другой сзади.

Товарищ Медведев не хотел вмешиваться в планы и наме-

рения товарища Бермана, но все это было как-то слишком уж глупо: арестованный был уже в доме № 13, из которого по своей собственной воле не выходил еще никто.

— Я полагаю, товарищ Берман, что петли можно снять.

— Да, пусть снимут. Держать оружие наготове.

Человека два из присутствовавших вытащили из кобур свои пистолеты. Двое пограничников не без некоторой робости сняли с еремеевской шеи стальные петли.

— Разрешите сесть, ваше благородие, — дрожащим голосом попросил Еремей, — ноги совсем затекши, потому что, как ремни . . .

— Садись, садись, — покровительственным тоном, сказал Медведев. — Так что вот как дела-то меняются. А?

Как это ни странно, Медведеву только сейчас пришла в голову мысль о том, что если Берман самолично будет допрашивать этого таежного медведя и узнает о романтической встрече у стены расщелины, то ему, Медведеву, не очень легко будет объяснить, как он туда попал и что он там делал. Эх, лучше было бы оставить этого Дубина в покое!

Берман обошел и Дубина и стол и уселся в кресло за столом. Еремей, шатаясь и пытаясь опереться скованными руками, с трудом сел на скамейку перед столом.

— Я — что-ж, сказал он все тем дрожащим и как бы умоляющим голосом, — я что-ж, таежный мужик, кому помочь . . . Так вот и вам помог . . .

Берман посмотрел на Медведева с плохо скрываемым удивлением.

— Была такая история. Я вам потом расскажу, — сказал Медведев, и сам себя поймал на неизбежном контрвопросе Бермана: а почему вы этого раньше не рассказали? Нехорошо выходило, — лучше бы этого Дубина выпустить ко всем его таежным чертям. Такого же мнения придерживался и Берман — по несколько иным соображениям. Такого же мнения придерживался и Еремей Павлович, — по соображениям совершенно ясного порядка. Но все таки все три единомышленника были только щепочками в зубчатке одной и той же машины.

Товарищ Медведев стоял над Еремеем и смотрел на него сверху вниз. Чувства у товарища Медведева были несколько смешанными. Ему как то импонировала та сверхчеловеческая сила Еремея, которая видна была в каждой черте его могучей фигуры. Но эта сила была враждебной силой. „Вот так кулак", подумал Медведев. Было и какое то, как бы общепартийное удовлетворение в том, что вот эту кулацкую силу, в данный момент олицетворенную в Еремее, удалось захватить, заковать

и получить над ней право жизни и смерти. „Вот, сволочь, кулак", еще раз подумал Медведев. На товарища Бермана даже и физическая сила Еремея, если и производила впечатление, то только отталкивающее, что-то враждебное не только политически, но и биологически. „Ну, и зверь", подумал Берман.

Чувства робости и растерянности, проступившие на лице Еремея Павловича, внесли какое то успокоение в напряженную атмосферу комендатуры. Один из сотрудников не без некоторого облегчения закрыл предохранитель своего пистолета. Другие сотрудники довольно плотно набившиеся в комендатуру, как будто вздохнули с тем же облегчением, но все таки предпочитали держаться от Еремея подальше. Отошел чуть-чуть и Медведев.

— Помогал, — сказал он насмешливо, — а сколько наших пограничников перестрелял? Сколько, ну, говори . . . все равно, заставим говорить . . .

— Да, что же тут заставлять, — тем же дрожащим голосом сказал Еремей, — я и сам все расскажу, как перед Истинным, а что касается вас, то, вот, иду и вижу: на скале человек прилип, высоко, сажен этак с десять . . . — Еремей Павлович поднял вверх руки, как бы желая показать, на какой именно вышине прилип к скале товарищ Медведев. Все остальное совершилось с такой потрясающей быстротой, что в памяти товарища Медведева осталось только одно воспоминание — оно осталось на всю жизнь, правда, недолгую: изумление и ужас перед тем, что тяжелая дубовая скамейка может просвистать в воздухе как легкий стальной прут . . .

Опуская вниз свои руки, Еремей сразу рванул их в стороны. Неравные цепи наручников лопнули одна за другой. Дубовая скамейка просвистела в воздухе и ахнула по распределительной доске. На доске вспыхнула дюжина синеватых огоньков, и верхняя комендатура провалилась в тьму, наполненную свистом скамейки, хрустом костей, стонами и криками. Выстрелов не было — никто не решался стрелять во тьму; может быть, никто не успел ничего сообразить

Медведев успел сообразить только то, что нужно спасаться. Кого то из близ стоящих он охватил в свои объятия и прикрылся им, как щитом. Это было сделано во время: страшный удар сбил с ног и Медведева и его щит, и острая боль пронзила его левую руку. Больше Медведев не помнил ничего.

Товарищ Берман проявил почти такое же присутствие духа и сразу нырнул под стол. На верхнюю доску стола обрушился очередной удар, и Берман, теряя сознание, судорожно и бесцельно хватался за какие то щепки. Умнее всего поступил де-

журный по комендатуре, товарищ Иванов: он бросился в угол комнаты, почти инстинктивно расчитав тот геометрический факт, что полукруг, описываемый скамьей, не может задеть угла. Но и у товарища Иванова не осталось ясных воспоминаний об этих секундах. Что то свистело, что то хрустело, что то стонало. Однако, верхняя комендатура интересовала Еремея Павловича очень мало. Он со всей силы швырнул скамью в противоположную стенку, бросился к стойке с оружием, наощупь схватил винтовку и патронташ и также ощупью ринулся к двери, — которая уже была запружена людьми и телами.

Еремей топтал их, как муравьев, и прорвавшись сквозь эту баррикаду, бросился в корридор. Там стояла такая же непроницаемая тьма, как и в верхней комендатуре. Кроме того Еремей Павлович не совсем точно расчитал свой порыв и ширину корридора. С разбегу от так стукнулся лбом о противоположную стенку, что из его глаз посыпались все звезды небосклона. Кто то все таки прорывался сквозь дверь и наталкивался на Еремея, и Еремей кого то комкал своими железными пальцами, кого то ломал, кого то топтал. Все это длилось едва ли больше трех-пяти секунд. И справа и слева стояла полная тьма, а направление налево или направо могло давать больше или меньше шансов на спасение. Вдруг шагах в десяти по коридору вспыхнула спичка и раздался чей то голос:

— Что это тут такое?

У открытой в корридор двери стоял человек в форме. Свет спички на одно мгновение осветил: дверь из верхней комендатуры, запруженную воющими людьми и уже не воющими телами, другую дверь, у которой стоял человек со спичкой, и длинный корридор, тянувшийся шагов на тридцать-сорок и упиравшийся в какой то поворот. Но спичка горела только одно мгновение. Еремей одним прыжком очутился около человека со спичкой, труп человека ударился о стенку, спичка упала и погасла. Еремей бросился вдоль корридора, расчитывая свою скорость так, чтобы снова не трахнуться лбом еще об одну стенку. Но стенка, которой заканчивался корридор, вдруг осветилась бледным светом. Добежав до угла, Еремей завернул за него сразу и увидал снова: открытую дверь в корридор, у двери еще какого то человека в форме, но на этот раз не со спичкой, а со свечкой, и услышал тот же вопрос:

„Что это тут делается?"

Ответа человек не получил. На его голову свалилась какая-то железная глыба. Еремей заглянул в открытую дверь и увидел:

Это была довольно просторная комната с окнами, заделан-

ными все той же решеткой. Почти посредине комнаты стоял стол, на столе горела, видимо, только что зажженная керосиновая лампа со стеклянным абажуром, у стола сидел какой-то человек с невероятно изможденным лицом. Руки этого человека лежали на столе и были скованы наручниками. Но, главное, в окно комнаты лился какой-то свет от наружных фонарей: комната могла выходить на улицу.

Еремей втащил труп внутрь комнаты и запер за собою дверь: это была массивная двойная дверь — в нее толкнутся не сразу.

— Ты — что здесь? — довольно глупо спросил Еремей человека у стола.

— А вот — сижу, — сказал человек. Еремей одним прыжком очутился около него. Оказалось, что цепь наручников была прикреплена к верхней доске стола. Еремей кратко выругался.

— Давай сюда, — Он просунул свои длани между обоими запястьями наручника и сжал эти длани в два кулака: цепь лопнула, как нитка.

— Это очень замечательно, — спокойным тоном сказал человек. Он встал со стула, но видно было, что ему трудно стоять. Другим прыжком Еремей бросился к окну. Оно было расположено, повидимому, очень высоко, — трудно было сказать, куда оно выходило: на двор дома № 13 или на улицу вроде Карла Маркса. Еремей поставил винтовку к стене и впился в решетку обеими руками. Решетка не поддавалась никак. Еремей выругался еще раз. Потом отойдя на шаг от окна, тяжело вздохнул, перекрестился, взялся обеими руками за угол решетки, уперся обеими ногами в стенку у решетки. Чудовищный ком мускулов гигантской пиявкой прирос к железным прутьям. Из кома неслось все учащающееся дыхание. Решетка не поддавалась. Но поддалась стена . . .

Вместе с решеткой и кирпичами, с грохотом и пылью Еремей вылетел почти на середину комнаты, но еще в воздухе перевернулся, как кот, и упал на все четыре лапы. Он схватил винтовку и бросился было к окну.

— Подождите, — каким то деревянным тоном сказал неизвестный человек. — Я посмотрю, вам нельзя рисковать.

— Почему нельзя? — слегка возмущенно спросил Еремей, но тон неизвестного человека был не только деревянным, но и как то внушительным. Еремей почти автоматически протянул ему винтовку. Высунув из окна раньше винтовку, а потом голову, неизвестный человек сказал все тем же деревянным тоном:

— Это не улица, это двор. Кроме того, это четвертый этаж. Но на дворе нет никого.

Неизвестный человек вернул винтовку Еремею и, наклонившись над убитым чекистом, вытащил из кобуры его пистолет. Обстановка не была утешительной.

Внизу, на глубине четырех этажей, расстилался довольно большой двор. Со всех четырех сторон он был окружен стенами, окна которых были частью освещены. Только одна сторона замыкалась чем то вроде гаража. Сквозь другую — уходили ворота — из за которых лился какой то неясный, вероятно, уже уличный свет. Под окном, из которого выглядывал Еремей, шли вниз одно за другим еще три окна. Над двумя верхними было что то вроде очень узких карнизов.

— Ну, давай попробуем, — сказал Еремей.

Неизвестный человек равнодушно пожал плечами.

— Я не могу. Ноги испорчены. Я просто застрелюсь

— Пошел к чортовой матери, — зашипел Еремей.

— Вы мне не поможите, а сами погибнете.

— А я тебе говорю — пошел к чортовой матери! За шею держаться можешь?

Неизвестный человек посмотрел на еремеевскую шею.

— Впрочем, и у вас нет никаких шансов.

— Пока человек жив, шансы всегда есть; держись, я тебе говорю. Впрочем, постой!

Еремей взял со стола лампу, разбил ее резервуар об пол и собирался было свалить в огонь все бумаги, которые были на столе.

— Одну минуту, — сказал неизвестный человек, — эти бумаги лучше взять . . .

Сложив вдвое одну из папок, он засунул ее за пазуху.

— Что-ж, попробуем.

Неизвестный человек обнял Еремея за шею.

— Держись крепко, пальцы сплети, оборваться могут, — прошипел Еремей.

Еремей Павлович, с винтовкой и неизестным человеком, вылез из окна. Ближайший карниз тускло вырисовывался метрах в двух ниже. Это, собственно, был даже и не карниз, а просто кирпичная каемка над окном, шириной, вероятно, сантиметров в пять. Стоя на подоконнике, Еремей согнулся в три погибели. Схватился за подоконник левой рукой, и оба повисли в воздухе. Неизвестный человек равнодушно посмотрел вниз и пожалел о том, что там, наверху, в комнате следователя, он не пустил себе пули в лоб. Если при падении не убьешся

на смерть, — то и пулю пустить будет поздно: все кости будут переломаны.

— Ну, теперь держись крепче, — снова прошипел Еремей, — сигать буду.

Неизвестный человек не понял, — куда именно собирается сигать эта невероятная туша: если прямо вниз, то и костей не соберешь. Еремей, вися в воздухе на пальцах левой руки, слегка раскачался. Оба тела скользнули вниз. Нога Еремея на какую-то долю секунды уперлась в карниз и затормозила падение. В следующую долю секунды железные крючья еремеевских пальцев зацепились за тот же карниз. Даже и у Еремея мелькнуло сомнение: выдержат ли пальцы, — все-таки прыжок и все-таки вместе пудов с двенадцать будет. Но пальцы выдержали. Неизвестный человек понял, что они выдержали, но не мог понять, — как они могли выдержать.

— Это — в самом деле . . . — прошептал он все тем же деревянным тоном.

Отсюда было только два этажа. Оба тела опять скользнули вниз, еремеевская нога опять на какую-то долю секунды зацепилась за очередной карниз, потом опять прыжок и опять — у обоих мужчин одна и та же мысль: выдержат ли пальцы. Пальцы опять выдержали.

—Ну, теперь прямо на дно, — прошипел Еремей, — подожми ноги, а то поломаешь.

Неизвестный человек поджал ноги и хотел было даже зажмурить глаза. Еремей обхватил его свободной правой рукой.

— Ну, теперь с Богом, — совсем тихо сказал Еремей.

Оба тела оторвались от карниза и стены. В воздухе Еремей вытянулся как нитка — даже и носки ног вытянулись в струнку. Толчок о каменное дно двора был тяжелым, но каким то неожиданно для неизвестного человека эластичным. Но человек все таки глухо застонал, — как он ни поджимал ноги, — толчок дал себя знать. Держа неизвестного человека попрежнему подмышкой, Еремей стремительно скользнул под ворота.

За ними была, конечно, улица. Но они кончались чудовищной железной решеткой с брусьями в дюйм — полтора толщиной. Еремей положил неизвестного человека на землю и освидетельствовал решетку. Она была совершенно безнадежной даже и для сверхчеловеческой силы Еремея. Он вцепился было в ее угол, но скоро оставил.

— Ну, теперь, кажется, пропали и в самом деле, — сказал он.

Неизвестный человек с трудом поднялся на ноги.

Вверху, по всем этажам дома номер 13 кто-то кричал, что-то

звонило, ревели какие то сигнальные гудки. Но двор оставался пустым.

— Этого я еще не могу утверждать, — повторил неизвестный человек. — Вы подождите тут. Может быть, вы меня подхватите, когда я буду прыгать. Стойте вот на этом месте.

Еремей Павлович не понимал ничего. Неизвестный человек, пошатываясь и хромая, пошел вглубь двора. Тяжелые двери гаража были не заперты. Через минуту или две Еремей Павлович услышал тяжелый гул автомобильного мотора. Еще через несколько секунд из тьмы гаража стремительно вынырнул „черный ворон", может быть, тот же, на котором Еремея Павловича доставили в этот дом. На подножке ворона одной ногой стоял неизвестный человек, держа, очевидно, другую ногу на рычаге газа и свободной рукой правя машиной. Огромная, вероятно, пятитонная машина, рванулась мимо Еремея. Неизвестный человек почти упал на его руки. Страшной своей тяжестью машина въехала в решетку ворот и вынесла их на своих плечах.

— Вот — это да! — сказал Еремей неизвестному человеку, но неизвестный человек был без сознания. Перекинув его через левое плечо и взяв в правую руку винтовку, Еремей проверил ее затвор и осторожно высунулся: это была, конечно, улица. Черный ворон, как взбесившийся конь, несся куда-то на противоположную стену, до которой было, вероятно, шагов пятьдесят. Слева и справа от ворот тянулась изгородь из колючей проволки и между изгородью и стеной дома № 13 стоял в беспокойстве часовой, смотря куда-то вверх. Грохот прорвавшейся из ворот машины заставил его повернуть голову. Он хотел было вскинуть винтовку, но не успел. Следующими двумя выстрелами Еремей разбил два соседних уличных фонаря. Черный ворон врезался в какую-то стену, раздался глухой взрыв, и у стены вспыхнул огромный бензиновый костер.

Еремей Павлович, поправив лежавшее на его левом плече тело неизвестного человека и перекинув винтовку за спину — со всех ног бросился наискосок улицы, нацеливаясь на ближайший ее угол. Несмотря на неизвестного человека, на винтовку и полутьму — он сделал метров сто, вероятно, не больше, чем в одиннадцать секунд. Дом номер тринадцать гудел, звенел, кричал. Неслись какие-то выстрелы. Где-то по городу всему этому отвечали какие-то сигнальные гудки и звонки. Еремей Павлович круто завернул за угол. И в тот же момент также круто, визжа всеми своими тормозами, шагах в пяти от Еремея Павловича остановился какой-то автомобиль. Из него пу-

лей выскочил человек в военной форме — в руках у него был пистолет.

— Руки вверх! — заорал он.

— Кричите, — газы! — тихо прошептал неизвестный человек.

— Газы, газы! — заорал Еремей во всю свою медвежью глотку.

— Какие газы? Где газы? — несколько обалделым тоном спросил человек в военной форме, подбегая ближе к Еремею. Почти рядом с ним бежал тоже выскочивший из автомобиля шоффер.

— Газы, газы! — продолжал орать Еремей, как бы в припадке безумия, — вон там газы! — Еремей поднял правую ладонь, показывая ею, где именно находились газы, потом быстрее, чем человек в военной форме мог бы нажать на спуск пистолета, та же ладонь спустилась ему на голову. Человек в военной форме свалился, как сноп. Шоффер стремительно схватился за кобуру своего пистолета, но все та же ладонь схватила его за локоть и мягкий бас пророкотал.

— А ты, паря, не ерепенься, вези нас, куда полагается.

На человека в военной форме Еремей даже и не посмотрел. Шоффер левой рукою схватил правую руку Еремея, но сейчас же сказал:

— Брось, сломаешь, куда везти?

— Вот это интеллигентный разговор, — одобрил Еремей. — Идем в машину. А пистолет то твой я уж себе возьму.

— Я знаю, кто ты — сказал шоффер положительно, — ты этот самый Дубин.

— А ты почем знаешь?

— Больше некому. Я сам — чемпион Неелова. Больше, как тебе, — некому. Идем, чорт с тобой.

— Интеллигентный разговор — еще раз сказал Еремей Павлович, завладевая пистолетом. — Вот, я только этого парнишку в машину запихаю.

— Я, кажется, уже могу сам, — слабым, но ясным голосом сказал неизвестный человек.

— И слава Тебе, Господи, — согласился Еремей. — Ты, значит, назад полезай, а мы уж вдвоем впереди посидим. Айда!

Неизвестный человек, видимо, с большим трудом, все таки влез в машину. Шоффер полез на свое место, придерживая левой рукой свой правый локоть.

— Ну и ну, — сказал он, усаживаясь за руль, — тебе бы к нам в „Динамо".*)

„Динамо", — спортовое общество ОГПУ — НКВД.

— Ничего, паря, Бог даст и до Динамы доберемся . . . Будет ваша Динама на всех столбах висеть.

— Чорт с ней, — согласился шоффер, — а везти-то вас куда?

— На аэродром, — тем же слабым, но ясным голосом сказал неизвестный человек.

— Ну да, на аэродром, — обрадованно повторил Еремей, — шпарь-ка, паря, на аэродром.

Шоффер дал газ.

— А ты, как я вижу, человек понимающий, — продолжал Еремей, обращаясь к шофферу, — так ты понимать-то должен: наше дело . . .

— Тут и понимать нечего.

— Словом, если уж пропадем, так втроем — все-таки веселее будет.

— Спасибо за такое веселье. Но опять же, жаль, чтоб такого медведя, как ты, расстреляли — быть бы тебе чемпионом.

— Мне это, братишка, ни к чему.

Машина вылетела на широкую и прямую улицу. Шоффер поддал газу. На одном из перекрестков вспыхнул какой-то сигнальный свет и из-под уличного фонаря, висевшего посередине улицы, вынырнуло четыре человека с винтовками в руках.

— Дело — дрянь, — мрачно констатировал Еремей.

— Ничего, — бодрым тоном ответил шоффер. — Проедем. Я их обложу.

К этой системе Еремей отнесся скептически, но возражать не стал. Люди с винтовками перегораживали дорогу, и винтовки были более или менее на прицеле. Шоффер несколько замедлил ход и высунулся из окна.

— Машина товарища Бермана, не видете, что ли? — дальше, действительно, следовала брань.

При упоминании имени товарища Бермана, люди с винтовками отскочили от машины, как от раскаленной змеи. Машина промчалась мимо.

— Самое разлюбезное дело, сказал шоффер. Так и на аэродром проедем. Я, когда в Москве был шоффером на автобусе, подал заявление в Бриз*), чтобы, значит, все автобусные гудки переделать, — чтобы сразу крыли бы матом, а то гудишь-гудишь, — ни черта!

— Ты, я вижу, — улыбнулся Еремей — веселый человек!

— Стараюсь, — ответил шоффер. — Сам знаешь, жизнь

*) Бюро рабочего изобретательства.

наша становится все веселей, скоро начнем массово вешаться от веселья. Однако, — подумать надо.

— Что подумать?

— Насчет аэродрома.

Машина уже выехала за город. Шоффер совсем замедлил ход.

— Нет, тут на ругани не проедешь. У ворот караулка, — там пять человек, телефон, сигнал, ну и все такое. — Внутри — команда, человек с сорок. Вы, ясно, улететь хотите. А только, кто править-то будет?

— Я могу, — сказал неизвестный человек.

— Тогда — другое дело. Только вот — ну, караулку-то можно обставить. Да только из караулки сейчас позвонят в команду, те выбегут сразу, — нет, тут нужно подумать, Аэродром то весь обнесен проволокой и караульные ходят. Проволоку-то можно одолеть — столбы машиной вырвать.

— Как машиной?

— Да вот так, — у меня тут цепи есть на случай аварии мотора. Прицепиться за столб и пустить машину — вырвет, как тютельку . . .

— Ну, столб-то и я сам, пожалуй, смогу выворотить.

— А караульный? Если, выстрелить — команда услышит. В городе тревогу дали. Конечно, и на аэродроме тревога. А не лучше ли вам, ребята, просто в лес? Дело вот еще такое . . . — шоффер совсем остановил машину.

— Какое?

— Аэродром не военный, но есть на нем четыре бомбовоза, — деревни бомбить. Сам видал, как они это делают, — кулаков усмиряют. Так вот, есть у меня такая мыслишка: вы, значит, летите себе к вашей чортовой матери, а я этот аэродром подожгу, — все равно на вас подумают.

— Гм, — сказал Еремей, — мысли у тебя, паренек, правильные, только поставят тебя к стенке.

— Не поставят, выкручусь, меня Медведев очень любит. А что я вас вез, — сам признаюсь, а по дороге скажу, сбежал, — что мне было делать? Вас двое, я один, а руку ты мне, браток, чуть в котлету не раздавил, должно быть вся в синяках.

— Бывает, — сказал Еремей.

— Мы, вот что, свернем машину с дороги за полверсты до аэродрома. Тут в заднем сиденьи у меня еще и винтовка спрятана. Вы, ребята, меня не бойтесь, — никого еще не подводил — разве что тех, кого следует. Очень мне эти бомбовозы чешутся . . .

— Парень ты, видимо, подходящий, давай что-ли вместе лететь?

— Не выходит — семья на учете.



Вдали показались огоньки аэродрома. Машина свернула на какой то проселок.

— Ну, давайте вылезем и посмотрим.

— Вы можете итти? — спросил Еремей неизвестного человека.

— Трудно.

— Ну, я вас потащу, там видно будет.

Еремей посадил неизвестного человека себе на шею. Шоффер достал свою винтовку и еще раз сказал:

— Говорю вам, ребята, не бойтесь: не подведу. Катимся.

— А нет ли у тебя там еще и веревки? — спросил Еремей.

— Есть и веревка. Все есть. Как на корабле. И водка есть.

— Давай веревку сюда, веревка всегда пригодится.

Шоффер пошел вперед, пробираясь сквозь освещенный лунным светом лес. Через несколько минут показался бесконечный забор из колючей проволоки, перед забором такая же бесконечная дорожка и на ней часовой, скучно шагавший вдоль забора.

— Лежите тут, — сказал Еремей, — я этого часового сейчас прикручу — только ты ему не показывайся.

— Это я понимаю, — сказал шоффер.

Еремей змеей пополз от куста к кусту. Неизвестный человек, оставшись с шоффером, все таки вытащил из кармана пистолет.

— Брось, — сказал шоффер, — я же говорил — не подведу.

Еремей дополз до куста, от которого до дорожки часового было шагов с десяток. Когда часовой прошел мимо куста, Еремей, — бесшумно и быстро, как огромная кошка, скользнул к нему. Какой-то шорох часовой все таки услыхал. Он повернулся, но перед его лицом возникла чья то борода и какие то стальные тиски сжали ему горло, — больше часовой не помнил ничего.

— Ну, вот, — сказал Еремей, вернувшись назад и кладя связанное и бесчувственное тело на землю. — Теперь ему какой нибудь кляп в рот — и пусть себе лежит — найдут, волки не съедят. Накрыть его только чем нибудь, а то застудится парень.

Когда дело с часовым было окончательно урегулировано, группа подползла к забору. Еремей испытующе потряс столб.

Столб стоял прочно. Еремей накинул цепь на его верхушку. В конец цепи вцепились оба, и Еремей и шоффер. После нескольких рывков, столб зашатался и свалился на землю.

— Теперь по нем можно перейти. как по мостику, — сказал Еремей, — айда!

Он взял на руки неизвестного человека, и все трое очутились на территории аэродрома. Вдали стояли ангары.

— Вот там — две скоростные машины, — сказал шоффер. — Однако, нужно поскорее — как бы кто нибудь не увидал.

Неизвестный человек уже не имел сил подняться на машину. Еремей поднял его, как котенка и посадил на место.

— Ну, теперь, ребята, такое дело: как только вы заведете мотор, команда выскочит сейчас же, — пропали тогда мои бомбовозы. Вы малость погодите, минуту или две — и я это все устрою культурно. Ну, давай вам Бог. Больше не попадайтесь.

Еремей протянул ему руку.

— Ну, ты только не сломай, — шоффер потряс еремеевскую лапу, — может, где и когда еще повстречаемся, мало ли что бывает на этом свете. Когда я свистну — пускайте самолет.

Еремей уселся в машину.

— А куда лететь? — спросил неизвестный человек.

— Я по звезде покажу.

— Далеко?

— Это как сказать . . . Пёхом — недели 2-3. А по воздуху — я не ходок. Думаю, что по карте — верст с пол-тысячи.

Неизвестный человек покачал головой.

— Постараюсь выдержать. А каков спуск?

— На озерко.

— Машина на колесах, — утопим машину, да и сами, вероятно, утонем.

— Машина — чорт с ней. А чтобы мы утонули — так этого не бывает. Выплывем.

Недалеко раздался тихий свист. Мотор загудел, и машина рванулась вперед. Уплыла земля, стал уплывать аэродром, верхушки сосен плыли назад. Минуты через три-четыре снизу донесся взрыв. Потом — другой. Потом весь аэродром вспыхнул, как куча целлулоида, и тяжкие взрывы покатились над тайгой. Неизвестный человек, со смертельно бледным лицом вел самолет в направлении звезды, на которую ему указал Еремей.

Конец первой части.

ОГЛАВЛЕНИЕ: